

аси
Стефан Гейм

ЗАДЛЮЖНИЦИ

Г 29

Р 32763

огиз
гослитиздат
1944



W

СТЕФАН ГЕЙМ

ЗАЛОЖНИКИ

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО
Н. ВОЛЖИНОЙ
и Н. ДАРУЗЕС

32763.



О Г И З

Государственное издательство
художественной литературы
Москва 1944

J 22 + 0.001

STEFAN HEYM

HOSTAGES

1942

ГЛАВА ПЕРВАЯ

— Яношек! Яноше-ек!

Пронзительный голос сморщенного, как стручок, кельнера эхом отдался в узком коридоре.

Яношек не спеша открыл дверь и проворчал:

— Ну, что там ещё?

Кельнер перевёл дух. Сейчас он покажет этому Яношеку.— Когда не надо, ты всегда здесь торчишь, а чуть какое дело, так кричи, ищи его, где знаешь. Ну, поворачивайся! Да захвати с собой ведро и швабру.

Яношек недовольно хмыкнул и захлопнул дверь.

Внизу было тихо, и Яношек любил эту тишину. Всякий раз, когда кто-нибудь из гостей открывал дверь и проходил мимо него в уборную, он сердился: сверху долетал шум, громкие голоса и обрывки граммофонной музыки.

Внизу было хорошо, тихо. Яношеку нужна была тишина, чтобы поразмыслить на досуге, потому что он во всём любил порядок и медленно осваивал свои и чужие впечатления и мысли, поворачивая их и так и сяк, прежде чем припрятать на положенное им место в мозгу. А уж если там что-нибудь было припрятано, ему не стоило труда в нужную минуту извлечь это оттуда и использовать с толком и с умом.

Яношек не торопился. Торопливость была не в его привычках. Те, кто его знал, подтвердили бы, что он не любит спешить. Даже в Кладно, в тот день, когда в шахте завалился ствол и все кричали и метались, как мыши в мышеловке, Яношек не торопился. Он собрал свои инструменты, так как они могли понадобиться, и убавил свет в лампочке, чтобы подольше сохранить батарею. Потом стал ждать. Когда же в наступившей после обвала тишине в мозгу обезумевших людей встал вопрос: „Что же делать?“— Яношек выступил вперёд и стал руководителем.

Яношек не торопился. Кельнер снова позвал его.

Он достал из шкафчика швабру, тряпку, ведро, налил в него воды из-под крана и тяжёлыми, размеренными шагами медленно направился вверх по ступенькам.

К счастью, ноги Яношека привыкли ступать твёрдо, иначе ему бы не сдобровать, потому что навстречу по лестнице загромыхал какой-то человек в форме немецкого офицера. Глаза у него были мутные, лицо позеленевшее. Ища опоры, он вцепился в широкое плечо Яношека.

— Осторожнее, осторожнее!— сказал Яношек.— Вот уборная—прямо.

Но у пьяного были, повидимому, какие-то другие намерения. Цепляясь за Яношека, он опустился на нижнюю ступеньку, закрыл лицо руками и захныкал, громко, по-бабьи всхлипывая.

Офицер был жалок, но Яношек не почувствовал к нему жалости. Он пожал плечами и зашагал дальше.

— Тебя не дождёшься,— накинулся на него кельнер.— Прощу прощения, господа!— и он умоляюще поднял руки.

Гости, стоявшие у стойки, посторонились, и Яношек увидел лужу. Пьяного, с которым он столкнулся на лестнице, стошнило прямо на пол.

Яношек неодобрительно покачал головой.

— Ну, живо, подотрите!— сказал чей-то резкий голос.

Яношек поднял глаза и посмотрел в лицо нацистскому офицеру.

Но тот уже заговорил со своим соседом:— Ленивый народ эти чехи. Грязные, недисциплинированные. Взять хотя бы этого уборщика!

Второй офицер не заинтересовался наблюдениями первого.— Не надо было связываться с этим Глазенапом,— пробормотал он.— Какая от него радость. Выпил две рюмки и уже раскис и всё кругом заблевал.

Но первый стоял на своём.— Пусть его блюёт. Хотел бы я посмотреть, как эти чехи посмеют нас отсюда вывести. Подумаешь, какие выдержанные, воспитанные! Хоть бы шикнул кто или встал и ушёл. Нет, бояться! Боятся, как бы нас не обидеть. До чего же они стали ручные, а, Маршман?

Он истерически захохотал, трясаясь всем телом.

Чехи, сидевшие за столиками и стоявшие у стойки, сразу перестали разговаривать. Как почти все пражские интеллигенты,— а завсегдатаи кафе „Манес“ принадлежали именно к этой среде,— они понимали по-немецки.

Высокий, стройный молодой человек, сидевший за угловым столиком, поднялся с места.— Официант, дайте счёт!— Повернувшись к своему соседу, он сказал:— Прокош, пойдёмте отсюда. Мне здесь не нравится.

Офицер, только что философствовал на политические темы, вскочил с места. Подойдя к столу молодого человека, он вытянулся во весь

рост.— Я — капитан Патцер 431-го пехотного полка. А вы кто такой?

Молодой человек молчал.

— Кто вы такой?— громко повторил Патцер.

— Меня зовут Петр Лобковиц.

— Так вот, герр Лобковиц, вы, случайно, не потому ли уходите, что вам не нравлюсь я, или не нравится лейтенант Маршман, или лейтенант Глазенап, пострадавший от здешнего мерзкого шнапса?

— У меня деловое свидание,— уклончиво сказал Лобковиц.

Патцер ухмыльнулся.— Но вы только что сказали, что вам здесь не нравится.— Он подступил к Лобковицу вплотную.— Если мне и лейтенанту Маршману здесь нравится, то вам, чехам, и подавно не следует жаловаться. Вы меня поняли?

— Вполне,— сказал Лобковиц.

— Ну, вот это уже лучше, гораздо лучше.— Патцер подобрел.— Ради такого случая давайте выпьем. Видите ли, в чём дело...— и он широко повёл рукой, обращаясь ко всем присутствующим,— если вы, чехи, будете с нами сотрудничать, мы прекрасно столкнемся... прекрасно столкнемся.— Схватив Лобковица под руку, капитан, пошатываясь, потащил его к стойке.

Яношек, подтиравший пол, с опаской наблюдал за этой сценой. Кто может сказать, что получится, если распоясавшимся немецким офицерам втемашится в голову учить чехов уму-разуму.

А здесь, среди прочих гостей, сидит Бреда, с которым ему надо поговорить,— Бреда, который должен благополучно выбраться отсюда. Что если уход каждого гостя будет восприниматься капитаном Патцером как личная обида?

Бреда стоял в самом дальнем конце стойки. Он спокойно потягивал пиво.

Яношек взял ведро. Когда он выпрямился, его глаза встретились с глазами Бреды. Воспользовавшись этим, Яношек незаметно мотнул головой в сторону двери.

Спускаясь по ступенькам, Яношек вдруг вспомнил, что пьяный офицер всё ещё торчит в уборной. Он тихо выругался. Бреда спустится вниз, и им нельзя будет поговорить. Сегодня всё идёт не так, как надо!

Но, к удивлению Яношека, внизу никого не оказалось. Он посмотрел всюду,—этого пьянчуги нигде не было. Наверно, ушёл куда-нибудь. Может быть, на дамбу через маленькую боковую дверь?

Пойти посмотреть? Дамба здесь не очень широкая, перил нет—ничего не стоит свалиться в Влтаву.

Когда Яношек поступал на должность сторожа и уборщика в кафе „Манес“, одним из самых веских доводов за это место была для него маленькая боковая дверь, выходившая на дамбу. Умный человек, думал Яношек, всегда заранее позаботится подготовить себе путь к отступлению.

Многое в кафе „Манес“ привлекало его. Яношеку требовалось такое место, где к нему могли бы незаметно приходить для деловых разговоров. А сколько всяких планов можно обсудить с посетителем, пока начищаешь ему башмаки и даже когда на ходу смахнёшь пылинку с его воротника, разве это не удобный случай шепнуть два-три слова—сообщить адрес или предостережение для дальнейшей передачи.

В свой выходной день можно оставлять записки в маленькой аптечке, где хранится бутылочка с

иодом, марля, вата, спирт. Вместе с бельём можно незаметно отправлять или получать небольшие свёртки. Мальчишка из прачечной вполне свой. Это он надоумил Яношека взять место в кафе.

Но самое главное—выход к реке. Кафе „Манес“ стояло на дамбе, глубоко вдававшейся в Влтаву. Само кафе занимало нижний этаж; верхний, до вступления нацистов в Прагу, сдавался под выставки. Теперь, конечно, о таких вещах, как молодое чешское искусство, не могло быть и речи.

Яношек служил здесь уже больше четырёх месяцев, и это было самое спокойное время за всю его жизнь. В прежние годы, когда Яношек работал среди шахтёров или моравских батраков, у него не было ни минуты покоя: приходилось всё время менять фамилию, менять квартиру, а иногда и отсиживать в тюрьме. А теперь? Он еле заметно улыбнулся. Теперь у него тёплое, безопасное логово с запасным выходом, а власти, как чешские, так и немецкие, или забыли о нём, или ещё не успели доискаться.

Яношек не дурак. Он понимает, что это не надолго. Когда-нибудь его арестуют. Песенка его будет спета. Но он этого не боится. На войне—а Яношек провёл на фронте четыре долгих года—всегда знаешь, что тебя может ранить, убить. Солдат с этим не считается. Яношек снова стал солдатом—но на этот раз он доброволец.

Дверь открылась. Вошёл человек, который потягивал пиво у стойки.

— Дайте мне мыло,—сказал Бреда.

Яношек дал ему мыло и полотенце. Он наблюдал за Бредой, пока тот мыл руки—большие, красивые руки, невольно внушавшие чувство уверенности в этом человеке.

— Здесь можно поговорить,— начал Яношек,— только давай цокороче. Тебе надо поскорее уйти отсюда.

Бреда вытер руки досуха и вернул полотенце Яношеку.

— Ну, так,— сказал он.— Всё готово. Сегодня четверг. Баржи придут во вторник, самое позднее в среду. Простоят здесь день или два. У какого причала — в точности не известно. Это разузнают грузчики. Что касается моей группы, то мы своё дело сделали, свёрток готов. Грузчиков предупредили, что им надо кончить до того, как снаряды начнут грузить с барж на товарные поезда. Теперь запомни адрес: Вацлик, Смиховская шестьдесят четыре. Повтори.

— Я не забуду,— медленно сказал Яношек.

Они посмотрели друг на друга. Их волновали одни и те же мысли. Но слова не шли с языка. Они просто пожали друг другу руку.

— Если что-нибудь понадобится, я загляну,— сказал Бреда и тихо прикрыл за собой дверь.

В ту же минуту на лестнице слышались торопливые шаги. Кельнер просунул голову в дверь.— Слушай, где этот офицер? Скажи, чтобы поторапливался да не забыл бы штаны застегнуть.

— Стану я говорить немецкому офицеру, чтобы он застёгивал штаны,— сухо заметил Яношек.— Это не полагается.

— Скажи, что капитан Патцер так велел,— настаивал кельнер.— Он собирается уходить, и слава богу. Я рад, что им надоело тут околачиваться.— Это признание сопровождалось глубоким вздохом.

Яношеку нужно было оттянуть время. Ему было нужно это, чтобы самому поразмыслить и дать Бреду возможность скрыться.

— А вы знали такого Отто Круппачку? — спро-

сил он кельнера.— У него был кабачок „Золотой ангел“ в Жижкове.

— Какое мне дело до твоего Крупачки,— ответил кельнер.— Надо назад бежать. А ты передай офицеру, что было приказано.

Но Яношек удержал кельнера за руку и продолжал как ни в чём не бывало:— У этого Крупачки была молодая жена, мастерица делать тефтели. Тефтели, и к ним соус с перцем. Соус, наверное, был какой-нибудь особенный, потому что Крупачка с женой не справлялся— понимаете?

— Пусси же. Мне надо итти,— взмолился кельнер.— Не тяни ты, ради бога!

— Ну вот,— продолжал Яношек,— как-то раз посылает Крупачка мальчишку из кабачка сказать жене, что он придёт домой рано, пусть, мол, не запаздывает с ужином, потому что он голодный. Мальчишка ушёл и запропастился, а потом приходит назад в „Золотой ангел“...

— Завтра доскажешь,— торопился кельнер.— Там надо пиво подавать. И капитан Патцер ждёт.

— Поди рассказывай вам, когда вы всё время перебиваете,— не сдавался Яношек.— Я давно бы кончил, если б вы молчали да слушали.

— Так вот я и говорю: мальчишка вернулся. Крупачка его спрашивает: „Что она тебе ответила?“ А мальчишка ему: „Ничего она мне не ответила. И на вашем месте, пан Крупачка, я бы где-нибудь в другом месте поужинал, потому что ваша жена убежала с Людвигом Полачеком, а он очень приятный молодой человек и студент-медик...“

Наконец кельнеру удалось вырвать руку из цепких пальцев Яношека.

— С какой это стати,— строго спросил он,— ты меня задерживаешь своими глупыми рассказами?

— А вот с такой стати, что тут, можно сказать, совершенно такой же случай,— терпеливо пояснил Яношек.— Как у бедного Отто Крупачки жена сбежала, так и ваш офицер сбежал. Нет его здесь. Исчез без следа.

— Не может этого быть!— В голосе кельнера послышался ужас.

— Обследуйте сами.

И кельнер обследовал. Он распахнул одну за другой двери уборных; выглянул в ночную темь на дамбу — лейтенанта Глазенапа нигде не было.

— Пресвятая дева!— застонал он.— Вот ужасно!— И рывкнул на Яношека:— Ты понимаешь, что это значит?

— Нет,— честно ответил Яношек,— не понимаю.

Кельнер побелел, как полотно. У него даже голос пропал, он мог только прошептать:— Болван! Убить тебя мало!

Стоя над поникшим от страха старикашкой, Яношек жалостливо спросил:— За что?

Но кельнер не стал терять времени на ответ. Он ринулся вверх по лестнице.

Дверь осталась открытой, и внизу было слышно, какой шум поднялся в ресторане. Сочиня историю про Крупачку, Яношек напряжённо думал. Он никак не мог понять, что же случилось с офицером. Однако тревожиться об этом сейчас не имело смысла— надо сообразить, как себя вести, что делать. Может быть, лучше всего придерживаться истины и говорить, что ему ничего не известно? Последний раз он видел офицера, когда тот сидел на ступеньках,— вот и всё. Больше он ничего не знает. Больше он ничего и не скажет. И что сейчас сделаешь? Офицер, должно быть, давным-давно у себя в казарме.

Только бы Бреда успел уйти!

На лестнице загромыхали чьи-то тяжёлые

сапоги. Яношек увидел спускающегося по ступенькам немца,— сначала сапоги, потом бриджи и, наконец, всего, во весь рост. Зрелище было не из приятных. В правой руке немец держал револьвер.

— Где лейтенант Глазенап?— спросил Патцер.

— Откуда же мне это знать?— ответил Яношек на вопрос вопросом.— Разрешите со всей почтительностью доложить, что до сих пор я не имел чести быть знакомым с лейтенантом.

— Рассуждать будешь после,— зловещим тоном осадил его Патцер.— Ты прекрасно знаешь, что я говорю об офицере, который был здесь, в уборной. Где он?

Яношек с беспомощным видом развёл руками.— Честное слово, не знаю, господин офицер. Разве за всеми, кто сюда приходит, уследишь. Я то и дело выхожу.— Он повернулся и стал доставать из шкафчика чистые полотенца. Поскольку дело касалось Яношека, их беседа была окончена, и Яношек хотел, чтобы офицер понял это.

— Ступай за мной!— скомандовал капитан Патцер.

В ресторане царило всеобщее волнение. Большинство гостей стояло у столиков. Те, кто посмелее, осаждали лейтенанта Маршмана:

— Скоро нас отпустят?

— Мне надо позвонить жене, она ждёт меня... можно поговорить по телефону?

— Почему меня задержали? Я тут совсем ни при чём. Сидел всё время за столиком. Ведь правда, доктор Валлерштейн?

На все эти вопросы лейтенант Маршман отвечал молчанием. Он напустил на себя крайне значительный вид. Пусть знают, что он тоже не

последняя спица в колеснице. Револьвер лейтенанта был вынут из кобуры, как и у капитана Патцера. Гости старались не смотреть на страшное чёрное дуло.

Вернувшись, капитан Патцер полностью овладел положением. Он взобрался на стул, подбоченился и приготовился ждать. Через несколько минут ему стало ясно, что его поза не произвела сколько-нибудь заметного впечатления на окружающих. Все были слишком взволнованы и не могли молчать. Тогда капитан Патцер крикнул самым властным тоном, на какой только был способен: — Тише!

Тишина водворилась немедленно. Капитан Патцер оглянулся по сторонам. Кругом лица — много лиц; откровенно говоря, слишком много. Некоторые двоились у него в глазах и вдобавск расплывались. Такие странности бывали с ним и раньше.

Капитан Патцер знал, что сейчас у него закружится голова.

Он спрыгнул со стула и схватился за его спинку.

— Событие, имевшее здесь место, — медленно начал он, стараясь совладать со своим непослушным языком, — событие, имевшее здесь место, вынуждает меня прибегнуть к самым суровым мерам. Лейтенант Глазенап, третий из нашей компании, исчез. Исчез самым таинственным образом, не сказав ни слова, не оставив ни малейших следов.

— Времена сейчас трудные. Мы, немцы, стараемся навести порядок в вашей стране. Наши старания не всегда оцениваются, как они того заслуживают. Часто тот или иной из нас вдруг бесследно исчезает.

— Заметьте, — я никого из вас не обвиняю. Во всяком случае сейчас.

— А разве он не мог просто уйти в казарму?— перебил его чей-то голос.

— Кто это сказал?— резко спросил Патцер.

— Я,— ответил тот же голос.— Я, Лев Прейсингер, главный директор Чешско-моравского угольного синдиката.

Яношек, незаметно стоявший в углу, бросил быстрый взгляд в ту сторону. Прейсингер, которого он до сих пор знал только по имени, был прежний его хозяин. Ему принадлежали все шахты в Кладно. Яношек увидел грузного, чуть сутулого человека с коротко подстриженными седыми волосами, маленькими подслеповатыми глазками и красной физиономией.

— Да?— воинственно начал Патцер.— Так, может быть, вы видели, как лейтенант Глазенап вышел в эту дверь?— Он показал на главный выход.— Когда именно вы это видели?

— Простите,— ответил Прейсингер,— но я был занят разговором с моим другом, доктором Валлерштейном.— И, повернувшись к доктору, добавил:— Не правда ли?

— Видно, все здесь были чем-то заняты,— продолжал Патцер, довольный тем, что ему удалось осадить Прейсингера.— И мы постараемся узнать, чем именно. Поэтому вам придётся посидеть здесь до прихода полиции. Заявляю об этом совершенно официально.

Патцер повертел револьвером так, чтобы сталь блеснула на свету.

В ресторане наступила тревожная тишина, нарушаемая только позвякиванием стаканов, которые без всякой надобности мыл и вытирал кельнер.

Яношек прислонился головой к стене и закрыл глаза.

О себе Яношек не беспокоился. При нём не было никаких документов, в уборной он тоже не держал ничего подозрительного, а если полиция вздумает произвести обыск в квартире на Кротовской улице, где Яношек ночевал, там она и вовсе ничего не обнаружит.

Вообще вся эта история сплошная нелепость. Глазенап мог подлезть под паранет и выйти на улицу дамбой. Он отыщется или в казарме, или где-нибудь в канаве.

Полиция, которую вызвали эти пьяные дураки, запишет адреса всех присутствующих, и тем дело и ограничится. Вряд ли кого заинтересует личность какого-то Яношека, простого уборщика, который, повидимому, не больно умён и своими разговорами способен довести до отчаяния любого полицейского.

Яношек улыбнулся. Он вспомнил одного сержанта в Моравской Острове... Неплохой был парень, но когда допрос кончился, сержант повалился грудью на стол и закричал: — Уведите его отсюда! Уведите! Чтобы я больше не видел этого человека!

Хорошие были времена!

Гестаповцы совсем другое дело. У них нервы покрепче, и ни малейшего чувства юмора... Но, может быть, с такими шулки плохи?..

Яношек читал как-то одну книгу о жизни насекомых. Некоторые насекомые лишены средств самозащиты. Но они умеют менять свою окраску и маскироваться под сухой листок или сухую ветку, так что никому и в голову не придёт обратить на них внимание. Вот и я так же, подумал Яношек. Единственная неприятность, которая может случиться с таким насекомым, это если на него кто-нибудь нечаянно наступит. Но это почти невероятно — один случай из миллиона.

На улице послышался стук кованых сапог. Дверь в ресторан с шумом распахнулась.

Вошли эсэсовцы в чёрных мундирах, предводительствуемые краснощёким юнцом, который смахивал на ученика боксёрской школы.

Юнец быстро огляделся по сторонам и сразу же понял, что оба армейских офицера вполне справились с выпавшей на их долю задачей. Он знаком приказал одному гестаповцу стать у входа, а сам направился к капитану Патцеру.

— Моя фамилия Грубер, капитан. Я адъютант рейхскомиссара Рейнгардта, которого, к сожалению, сегодня вечером нет в штабе. Согласно приказу его заменяю я. Что здесь произошло?

Патцер постарался придать своему голосу как можно больше уверенности.

— Капитан Патцер 431-го пехотного полка, — отчеканил он. — Произошёл крайне прискорбный инцидент. Один из наших товарищей, лейтенант Глазенап, повидимому, похищен... весьма возможно, убит.

— А что это за люди? — Грубер показал на гостей, которые, неловко переминаясь с ноги на ногу, стояли у столиков.

— Мы с лейтенантом Маршманом сочли нужным задержать их здесь до прихода полиции. Каждый из присутствующих может быть причастен к преступлению. Подозреваю, что тут действовало несколько человек.

Грубер многозначительно склонил голову. — Отлично, капитан, отлично. Вот если бы полиция всегда встречала такую помощь со стороны! А теперь расскажите, как было дело.

Но прежде чем Патцер приступил к рассказу, один из задержанных выступил вперёд. Это был Лев Прейсингёр.

— Вы начальник полицейского отряда? — спро-

сил он Грубера.— Да? Почему вы нас не отпускаете? Я имею в виду моего друга, доктора Валлерштейна, и себя. Я — Лев Преисингер, главный директор Чешско-моравского угольного синдиката, и, разумеется...

Грубер кивнул одному из своих людей. Эсэсовец сделал шаг вперёд и с такой силой оттолкнул Преисингера, что тот упал бы, если б доктор Валлерштейн не поддержал его во-время.

Преисингер побагровел. Он силился что-то выговорить.

Не глядя на тех, к кому были обращены его слова, Грубер сказал:— Следующему будет ещё хуже. Не смей открывать рта, пока к вам не обратятся.— И снова к Патцеру:— Виноват, нас прервали. Когда и при каких обстоятельствах исчез лейтенант Глазенап?

— Около одиннадцати часов,— ответил Патцер.— Он почувствовал себя плохо, спустился вниз, в уборную... и больше не вернулся.

— А когда вы его хватились?

— Минут через пятнадцать, может быть, через двадцать я послал туда вот этого человека...

Кельнер побелел, почувствовав на себе холодный взгляд Грубера.

Патцер продолжал:— Я послал этого человека за Глазенапом. Он вернулся и заявил, что лейтенанта не нашёл. Тогда я сам спустился вниз. И тоже не обнаружил никаких следов. Он исчез самым таинственным образом.

— Понимаю,— с многозначительным видом сказал Грубер.— Энциндер! Вальтерс!— скомандовал он.

Эсэсовцы выступили вперёд.

— Спуститесь вниз и обыщите помещение.

Энциндер и Вальтерс вышли из ресторана.

— Ну-с, так,— сказал Грубер.— А вы не пом-

ните, капитан, не выходил ли кто из ресторана, после того как лейтенант Глазенап удалился в уборную?

Патцер задумался.— Откровенно говоря, это вполне возможно,— сказал он.— Ведь ни мне, ни лейтенанту Маршману и в голову не могло прийти, что здесь замышляется такое гнусное преступление. Но я помню, что двое — вот этот молодой человек и его сосед — явно намеревались уйти. Однако я их задержал.

— Это очень интересно! — воскликнул Грубер.— Подойдите сюда! Вы!

Петер Лобковиц выполнил приказание.

— Так вы хотели уйти? — насмешливо спросил Грубер.— Почему?

— У меня было деловое свидание,— спокойно сказал Лобковиц.

— С участниками? — крикнул Грубер.

— Я вас не понимаю. Разрешите мне заявить, что я не причастен к исчезновению немецкого офицера.

Энцингер и Вальтерс вернулись из своей экспедиции в уборную и стали перед Грубером, дожидаясь, когда можно будет рапортовать.

— Мы займёмся вами позднее,— сказал Грубер Лобковицу и повернулся к эсэсовцам.— Ну, нашли что-нибудь?

— Никаких следов лейтенанта Глазенапа не обнаружено,— сказал старший, Энцингер.— Но мы выяснили одно важное обстоятельство — внизу есть второй выход, который ведёт на дамбу и к Влтаве.

Грубер так и загорелся.— Ага! Не трудно представить, как все это было. Вы понимаете? — он повернулся к капитану Патцеру.— Ваш товарищ ушёл, не совсем владея собой... Какие-то люди или поджидали его внизу, или отправились за ним

следом. Они напали на него исподтишка, как это всегда делают трусы, убили или же привели побоями в бессознательное состояние и потом бросили тело в реку.

Патцер вздрогнул. Такая участь могла постичь и его.

— Гнусный заговор!— продолжал Грубер.— Но мы разыщем преступников!— И вдруг он спохватился.— А разве при уборной не было служителя?

Яношек вышел вперёд.

— К вашим услугам, господин офицер,— сказал он.— Это как раз моя должность. Я, конечно, знал лучшие дни. Раньше побрезговал бы такой работой. А работа как работа—честная; да, по правде говоря, жизнь сейчас такая трудная, что...

— Молчать!— крикнул Грубер, оправившись от удивления, вызванного таким потоком слов.

Яношек покорился. Но на лице Яношека было написано, что его чувствительная, отзывчивая душа уязвлена таким суровым отпором.

— Вы видели, как лейтенант Глазенап прошёл в уборную? Отвечайте: да или нет,—поспешно добавил Грубер, заметив, что Яношек готовится к обстоятельному ответу.

— Да как сказать...— начал Яношек.— И видел и не видел.

— Он что, придурковатый?—сердито спросил Грубер. Ему никто не ответил, так как этот вопрос ни к кому в отдельности не относился. Наконец послышался голос кельнера:

— Разрешите заметить, господин офицер, он у нас глуповат.

— Как же это так?—продолжал Грубер свой допрос.—Если видел—значит, видел. А ты не мог его не видеть.

Яношек радостно улыбнулся.— Вот именно! Вот это вы правильно сказали, господин офицер. Сей-

час мы во всём разберёмся. Его самого-то я видел, а как он вошёл в уборную, не видел.

Глаза у Грубера сузились. В нём зашевелилось опасение, не дурачат ли его.— Куда же он пошёл?

— Куда же, как не в уборную,— уверенно ответил Яношек.— Уж очень с ним плохо было. Смотреть жалко. Сколько я пьяных на своём веку видал, а хуже этого не было... если дозволено так выразиться. Прямо на меня, бедняга, повалился. Плачет. Слёзы так градом и катятся.

Капитан Патцер не выдержал.— Герр Грубер! Этот паршивый чех говорит о немецком офицере! Я требую...

— Мне его болтовня тоже особенного удовольствия не доставляет,— хриплым от сдерживаемой злобы голосом ответил Грубер.— Но надо выяснить всё до конца. Этот человек заявляет, что он видел, как лейтенант Глазенап прошёл в уборную...

Яношек замотал головой.— Нет, господин офицер, я этого не говорил.

Грубер крикнул:— Только что сказал, чорт тебя подери!

Яношек в отчаянии воздел руки к небесам. Кое-кто из гостей не удержался и фыркнул.

Грубер побагровел и судорожно проглотил слюну.

Опыт полицейской работы был у Грубера небольшой. Но он уже видел, что здесь, на месте, ему в этом деле не разобраться. Конечно, можно было бы продолжать допрос и некоторых задержать, других отпустить. Однако Грубер не хотел брать на себя такой ответственности. Нацистская воспитательная система, построенная на пренебрежении к отдельной человеческой личности, рождает в самих нацистах страх перед личной ответственностью.

— Собирайтесь!—крикнул он.—Всех доставить в штаб!

Понукаемые и подталкиваемые гестаповцами, гости собрали свои вещи. Их построили у двери и по одному вывели из ресторана. Грубер стоял в дверях и считал — восемнадцать человек. Последними вышли Лобковиц, Прокош, кельнер и Яношек.

Но двое из гостей продолжали сидеть за столиком. Это были Лев Прейсингер и доктор Валлерштейн.

Прейсингер спокойно попыхивал сигарой, Валлерштейн наблюдал за флегматичной физиономией своего соседа.

Грубер подбоченился и подошёл к ним.

Прейсингер, не вынимая сигары изо рта, сказал:— Вы, я думаю, не собираетесь включать меня в эту маленькую комедию?

Товарищи Грубера иногда нежно называли его „Младенцем“. Сейчас круглая физиономия Младенца расплылась в самой что ни на есть ребяческой улыбке. Он занёс правую руку и с такой силой ударил Прейсингера по щеке, что его сигара отлетела в дальний угол комнаты.

На лбу у Прейсингера верёвками вздулись синие вены.— Вы ещё пожалеете об этом!— сказал он надтреснутым голосом.— Меня знает сам Геринг...

— Энцингер!— крикнул Грубер.

Энцингер, собравшийся было выйти из ресторана, поспешно вернулся.

Грубер пояснил своему подчинённому:— Этот господин утверждает, что он знаком с его сиятельством рейхсмаршалом Герингом. Мы не заставим такого человека шагать по улице вместе с остальными. Возьмите его, свяжите ему руки и доставьте в штаб на машине. Если он сделает хоть одно лишнее движение, вы знаете, что делать.

Энцингер имел немалый опыт в таких делах. Главного директора Чешско-моравского угольного синдиката рывком подняли со стула. Он почувствовал вдруг острую боль в ключице и потерял сознание.

Доктор Валлерштейн видел, как бесчувственного Прейсингера выволокли за дверь. Он повернулся к Груберу.—Ловко это у вас получается. Прейсингеру такой урок только на пользу.

— А вы кто такой?—огрызнулся Грубер.—Здесьний философ?

— Нет, не совсем,—деловито ответил Валлерштейн.—Я врач. Моя специальность психоанализ, если вы имсете представление о том, что это такое.

— Ни малейшего,—признался Грубер.—И кто бы вы ни были, вам это не поможет. Вставайте!

Валлерштейн склонил свою массивную голову и направился к выходу, неуклюже волоча ноги.

— Эй, вы!—сказал Грубер.

Валлерштейн остановился.

— Может быть, вам известно, что тут произошло?—не совсем уверенным тоном спросил Грубер.

Доктор посмотрел на Младенца, и его тонкие губы растянулись в улыбке.—Нет, мне это не известно,—сказал он.—Хотя, должен вам признаться, что с научной точки зрения всё это начинает сильно интересовать меня.

ГЛАВА ВТОРАЯ

— Что ещё прикажете?—спросил Младенец.

Рейнгардт небрежно перелистал папку, озаглавленную: „Старший лейтенант Эрих Глазе-

нап". Потом он поднял голову и увидел, что Младенец смотрит на него с обожанием. Мундир, как всегда, сидел на Грубере плохо. Крупное молодое тело выпирало из узкой одежды. Розовые щёки Младенца так не вязались с серебряным черепом и скрещёнными костями на лацкане тулужки.

— У меня что-нибудь не в порядке?

— Нет, нет, герр рейхскомиссар! — смутился Младенец.

— Тогда нечего на меня глазеть. И сколько вам раз повторять, что карманы мундира должны быть всегда застёгнуты. Вы, вероятно, не отдаёте себе отчёта, что здесь в вас видят представителя Германии.

Младенец вспыхнул, отчего щёки у него покраснели ещё больше, а всядянисто-голубые глаза стали ещё светлее.

— Вы свободны. Хайль Гитлер! — Гельмут Рейнгардт умел выпаливать слова так, что они били, словно хлыстом, особенно, когда это была команда. Здоровенный детина подтянулся, щёлкнул каблуками и вышел из кабинета.

Дверь за ним закрылась бесшумно. Оставшись один за большим столом, Рейнгардт откинулся на спинку кресла и с удовольствием потянулся всем телом предвкушая возможность спокойно подумать. Перед ним лежала тонкая папка, озаглавленная „Глазенап“. Что сказал про Глазенапа этот преисполненный мальчишеского высокомерия Грубер? „Мокрая курица“!

Рейхскомиссар Рейнгардт сердито оборвал свои размышления. Он встал и подошёл к окну.

Внизу, перед входом в здание, взад и вперёд, взад и вперёд ходили часовые в железных касках. Прохожие торопились поскорее миновать их, никто не осмеливался остановиться здесь,

посмотреть по сторонам, поговорить. С чувством удовлетворения Рейнгардт отметил мысленно: нас бояться.

Он вернулся к столу и начал просматривать папку с делом Глазенапа.

Анкетные сведения были скудные. Родился в 1909 году в Майнце. Школа и гимназия там же. Университет в Кёльне и Гейдельберге — филологический факультет. Потом преподавание в женском лицее в Майнце. Член национал-социалистской партии с 1934 года. Офицерская школа. В 1938 году произведен в младшие лейтенанты. В действующей армии с 1939 года. Был в Чехословакии, Польше, Норвегии, Франции. На передовую линию никогда не посылался — слабое зрение, плоскоступие.

Вероятно, сказался недостаток кальция в первую мировую войну, подумал Рейнгардт.

Женат? Нет. Внебрачных детей тоже нет. Впрочем, в этом редко кто сознаётся, хотя людям всячески внушают, что дать миру будущего солдата большая честь.

Посмотрим, что тут есть ещё. Воинский билет. Деньги — 2 марки 45 пфеннигов, несколько чешских крон — несчастье случилось незадолго до выплаты жалованья. Газетная вырезка — заметка о выпускных экзаменах в майнцском женском лицее. Какое убожество! Не много же оставляет после себя человек на земле...

А вот письмо, о котором говорил Младенец. Письмо незаконченное и неотправленное — может быть, единственный ключ к загадке.

Рейнгардт внимательно прочёл его.

Дорогая Милада!

Если я пишу Вам после всего, что между нами произошло, значит, я дошёл до полного отчаяния.

Вы, вероятно, сами это понимаете. Знаю, как Вам тяжело, но верьте мне — я действовал с самыми лучшими намерениями. Что же было делать? Ведь я не мог вернуть его.

Мне больно было чувствовать Ваше горе. Как же я был глуп, не сознавая, что когда-нибудь Вы узнаете правду. Нет, если Вы спросите меня начистоту, я признаюсь, что создавал это даже тогда.

Но я поддерживал в Вас надежду — это было моим единственным оправданием для встреч с Вами. Трудно выразить, что Вы значили для меня. Моя жизнь стала не так пуста...

А теперь всё это кончено. Я не имею никакого права просить Вас...

Рейнгардт нетерпеливо забарабанил пальцами по столу. Письмо ему совсем не понравилось. Дело пахло самоубийством.

Он взял в руки фотографию лейтенанта Глазенапа, затребованного Младенцем из главного штаба, и, полузакрыв глаза, стал вглядываться в каждую чёрточку этого теперь уже мёртвого лица.

Но снимок был плохой. По недосмотру фотографа очки Глазенапа блеснули в свете яркой электрической лампы — самих глаз не было видно, вместо них остались два пустых, отсвечивающих круга. И, может быть, такая ирония была здесь вполне уместна, потому что лицо принадлежало к тем, которые никак не запоминаются. Серенькая физиономия серенького человека. Козырёк фуражки закрывал почти весь лоб. Самое выразительное, что было в лице Глазенапа, это щёки — худые, впалые, со следами прыщей. Губы бескровные, неопределённые, зато подбородок резко очерченный.

Что же могло случиться с таким человеком? Почему кому-то понадобилось убрать его? Почему?

Рейнгардт решил позвонить в глазный штаб. Его соединили с майором Граутгофом и после обычного обмена вопросами о здоровье и самочувствии он спросил:

— Псслушайте, майор, мне нужны кое-какие сведения. Всё эта дурацкая история с Глазенапом. Что он у вас делал? Какие у него были обязанности? Приходилось ли ему сталкиваться с местным населением?

Голос на другом конце провода, такой бодрый секунду назад, вдруг изменился и стал сердитым.

— Вы, рейхскомиссар, вероятно, знаете, что нас здесь не очень-то любят и ценят.

— Знаю!— Рейнгардта раздражала эта армейская обстоятельность.— Мы пришли в Прагу не для того, чтобы брататься со здешними жителями. Но разве Глазенап был на какой-нибудь особенно неприятной работе?

— Насколько мне известно, нет. Дела обычные: разгонял очереди за хлебом, нес ночные дежурства, дневные дежурства. Занятие довольно нудное.

— Что же он, проявлял... ну, скажем, чрезмерную строгость?

Майор Граутгоф забормотал что-то. Потом его опять стало хорошо слышно.— Стrogость?.. Вы подразумеваете, излишнюю? Нет, вряд ли. Скорее наоборот. Его тозарищи говорят, что он скорее грешил в обратную сторону.

Рейнгардт колебался. Спросить ещё о чём-нибудь? Нет. В штабе столько же знают о Глазенапе, сколько и он сам.

— Ну, благодарю вас, майор. Если вам что-нибудь понадобится, звоните. Хайль Гитлер!

Он услышал, как на другом конце провода трубка звякнула о рычажок. В главном штабе, кажется, считают, что, чем скорее предать забвению случай с Глазенапом, тем лучше. Поднимешь целую историю, а в результате ещё десяток-другой чехов проникнутся бредовой идеей, что нет ничего проще, как убрать того или иного немецкого офицера.

Неужели эти дураки в главном штабе не видят, что признаки слабости только увеличивают упорство чехов? Бить их, придавить к самой земле так, чтобы они головы не могли поднять,— вот единственная правильная политика по отношению к ним.

Рейнгардт взял лист бумаги и начал рассеянно строчить:

1. Кто такая Милада?— Опреснить офицера.

2. Что произошло между Миладой и Глазенапом?— Милада явно чешское имя. Отношения между ними, каковы бы они ни были, противоречат уставу. Угроза шантажа? Невероятно, так как женщина сама бы заперлась. Кроме того, он действовал „с лучшими намерениями“. Как это понимать?

3. Хотел вернуть „его“? Кто такой „он“? Каким образом „он“ исчез? Был ли Глазенап в какой-то мере ответственен за „его“ исчезновение? Глазенап или другой немец?

4. Когда-нибудь она должна была узнать правду. Правду о „его“ исчезновении? Весьма вероятно, но этого недостаточно, чтобы сделать какие-то выводы.

5. Остальное рисуется довольно ясно. Г. действует с лучшими намерениями, с тем чтобы увидеться с М. Новый смысл в жизни...

Рейнгардт отложил в сторону листок бумаги, исписанный сверху донизу его чётким угловатым почерком.

Какая чепуха! Будь Глазенап настоящим мужчиной, а не жалким щенком, разобраться в этом было бы не трудно. Но разве трудности действительно так уж велики?

Взвесив все эти доводы и противопоставив их один другому, Рейнгардт пришёл к выводу, что уход Глазенапа из этого мира был делом его собственной воли и его собственных рук.

Он совершил самоубийство.

Или же был пьян, упал в реку и не стал бороться за жизнь, потому что она надоела ему и потеряла для него всякий смысл.

Отвратительно!

Отвратительно просто!

Рейнгардт был разочарован. Не во что запустить зубы. Дело, которое скоро затеряется в пыльных архивах. Две-три заметки в газетах. Кроме того, позор для Германии. Немецкие офицеры, кончающие жизнь самоубийством! Как будто мало таких мест, где они могут умереть ради более высоких целей...

Надо последить за его родственниками в Германии. Такие истории всегда имеют нежелательные отклики в стране. Надо замять дело.

А почему бы не выставить Глазенапа героем? Почему бы ему не умереть геройской смертью в борьбе с врагом?

Рейнгардт выпрямился.

Да, для этого есть все основания.

В конце концов враг у нас вполне реальный. Он близко, он таится в темноте.

Кто знает, что в действительности дело обстояло несколько иначе? Только Младенец и эта женщина, Милада. Младенец не станет задавать

лишние вопросы. А Милада — она, вероятно, обрадуется, если её оставят в покое, и будет молчать, будет молчать, как убитая. Пусть только посмеет открыть рот!

Вот теперь есть над чем поработать! Он устроил головоломку Младенцу за то, что тот арестовал без разбора всех, кто сидел в четверг вечером в кафе „Манес“. Тогда это было излишним усердием, а теперь оказалось весьма кстати. Этих людей можно считать не только заподозренными — пусть будут заложниками.

Одного или нескольких выставим сообщниками убийц Глазенапа. Кого-нибудь — убийцей! Щиты для афиш на всех углах города — пообещать тридцать тысяч... нет, пятьдесят тысяч крон тем, кто будет способствовать аресту гнусных преступников, убивших лейтенанта Глазенапа вечером 9 октября 1941 года в кафе „Манес“ или поблизости от кафе „Манес“ в Праге.

Если в течение недели убийца или убийцы не окажутся в руках властей или не объявятся сами, двадцать заложников будут расстреляны.

Рейнгардта словно подменили. В нём не осталось ни следа прежней вялости. Весь красный от волнения, он ходил по кабинету взад и вперёд, прищёлкивая пальцами, разговаривая сам с собой. Потом он схватил другой лист бумаги, наклонившись над столом, набросал вчерне объявление и позвонил.

Младенец вошёл в кабинет, громко стуча сапогами.

— Немедленно напечатать и расклеить на стенах домов и на щитах для афиш, — приказал Рейнгардт.

Младенцу явно не терпелось прочесть то, что было написано на бумаге.

— Прочтите!—благодушно разрешил Рейнгардт.

Он наблюдал за Младенцем, медленно водившим глазами по строчкам.

— Какой вы умный человек, рейхскомиссар!—с почтением в голосе сказал Младенец.—Как это вы догадались, что его убили? Когда мы расшифровали письмо, я готов был прозакладывать свою лучшую пару сапог, что это самоубийство.

Рейнгардт улыбнулся, обнажив жёлтые зубы.

— Вам ещё многому следует поучиться, Грубер. В нашей работе важна конечная цель. Подумайте над этим. И дайте мне список задержанных по делу Глазенапа.

— Их расстреляют?—спросил Младенец.

— Не сразу. Я хочу посмотреть, что из всего этого выйдет. Мне самому любопытно. А теперь дайте мне список.

— Слушаю, г-рр рейхскомиссар!—Младенец пулей вылетел из кабинета и так быстро вернулся, что Рейнгардт не мог не спросить его:—Список был у вас под рукой? Вы ждали, что он мне понадобится?

Младенец медлил с ответом. Вид у него был растерянный.

— Ну, в чём дело?

— Лучше уж признаюсь,—сказал Грубер, переминаясь с ноги на ногу.—К несчастью, один из арестованных большая шишка. Всё время честно с нами сотрудничал. Я выяснил это, когда их всех записали в участке. Ему здорово попало от наших людей за то, что говорил лишнее. Но как я мог это знать?

Рейнгардт глубоко перевел дух.—Ну что вы мямлите! Говорите сразу, кто такой?

Младенец боязливо положил перед Рейнгардтом список и пальцем показал фамилию.— Я хотел отпустить его... а потом вы сами занялись этим делом, и тогда я решил, что вам лучше знать, как с ним быть...

Рейнгардт отстранил короткий, толстый палец Младенца и прочёл:

— Лев Прейсингер, главный директор Чешско-моравского угольного синдиката.

— Чорт вас возьми!— рявкнул он.— Я бы вас просил ничего без меня не решать. Ведь вам было сказано, что забирать всех скопом глупо. Вы, должно быть, совсем обалдели. Теперь всё испорчено! Буквально всё!

Рейнгардт замолчал. Глядя, как здоровенный детина дрожит и испуганно смотрит на него, он невольно сравнил своё худощавое тело с могучей корпуленцией Младенца.

— Что вы трясётесь?— резко спросил Рейнгардт, стараясь скрыть разбиравший его смех.

— Герр рейхскомиссар,— умоляюще захныкал Младенец,— не отправляйте меня. Я хочу работать здсь. Я буду стараться. Я хочу здесь...— и не закончил.

Рейнгардту всё стало ясно. Этот рослый, здоровенный парень боялся, безумно боялся смерти. Он боялся, что его отошлют на фронт, что он погибнет там, как погибли многие.

— Я подумаю, как с вами быть,— небрежно проговорил Рейнгардт.— Вы свободны.

Грубер, подавленный, побрёл прочь.

Мысли Рейнгардта вернулись к тому печальному факту, что среди задержанных по делу Глазенапа попался крупный чешский промышленник. Подробными сведениями об этом человеке Рейнгардт не располагал, но ему было хорошо известно, что Лев Прейсингер частенько ездил в

Берлин на поклон к немецким стальным и угольным магнатам. Ему приходилось даже читать в газетах о выступлении Прейсингера на конференции по вопросу о новом экономическом порядке в Европе или ещё о чем-то. Председательствовал на конференции министр экономики Функ, а Рейнгардт знал, что в этих делах слово Функа — закон. Мало того, Чешско-моравский угольный синдикат выполнял немецкие заказы.

Какая получилась чепуха! В угольном синдикате, должно быть, все с ног сбились — ищут своего главного директора. Засыпают Берлин телеграммами. Хорошо, что он не давал в прессу никаких сведений.

Если Льва Прейсингера отпустить втихомолку, с извинениями, к которым будут искусно примешаны скрытые угрозы, чехи замолчат.

Но Рейнгардт не был уверен в этом. По всей вероятности, придётся изложить это дело протектору. Рейхскомиссар недостаточно авторитетная фигура, чтобы разговаривать с таким человеком, как Прейсингер. Но протектор Гейдрих, действующий от имени германского правительства, и сам один из высших чинов гестапо, может заставить любого Прейсингера плясать под свою дудку.

Рейнгардт посмотрел на часы. Ещё нет пяти. Если поторопиться, то протектора можно будет застать у него в кабинете. Гейдрих редко уезжал из Градчан раньше шести. А если даже его нет там, Рейнгардт знал, какая актриса пользуется в данный момент благоволением протектора и где находится её квартира.

Рейнгардт снял с вешалки свой пояс и аккуратно затянул им тужурку. Потом оправил глянцево поблескивающую кобуру. Он всегда держал револьвер наготове и без него никуда не

показывался. Этого принципа он придерживался и в Германии, а здесь, в Праге, и подавно. Ему слишком часто приходилось замечать, какие взгляды бросают люди на его чёрный мундир.

Рейнгардт надел перед зеркалом фуражку, приладив её так, чтобы череп и скрещённые кости приходились как раз на середине лба, и потом чуть сдвинул набекрень — вид получался одновременно и строгий и щеголеватый. Потом он вышел из кабинета.

Внизу за углом его ждала машина. Шофер Менкеберг стал навывтяжку.

Рейнгардт потянул ноздрями свежий октябрьский воздух. Он вдруг почувствовал, что Прага чудесный город — разумеется, если жить здесь в мирное время.

— Градчаны, — сказал он, — дворец протектора.

— Слушаю, герр рейхскомиссар! — Менкеберг открыл дверцу огромного чёрного лимузина. Рейнгардт с удовольствием опустился на удобные мягкие подушки.

Несмотря на предстоящий неприятный разговор с Гейдрихом, он чувствовал себя прекрасно. Может быть, это действие воздуха, совсем весеннего, хоть сейчас и осень? Может быть, это потому, что он любит своего расторопного, хорошо дисциплинированного Менкеберга, одного из тех немногих, на кого можно полностью положиться?

Поездка доставляла удовольствие Рейнгардту. Из-за широкой спины Менкеберга на него неслись старинные пражские дома. Менкеберг всегда ездил быстро и ухитрялся почти не пользоваться полицейской сиреной, так как Рейнгардт не любил её пронзительного завывания. Маленького флажка, трепыхавшегося на носу лимузина, было вполне достаточно, чтобы другие автомобили

почтительно уступали ему дорогу, а пешеходы разбегались в разные стороны.

Они подъезжали к Карлову мосту.

Машина пронеслась под высокой готической аркой и выехала на расположенную по левому берегу Влтавы Малую сторону, узкие улицы которой извилисто и круто поднимались к замку, собору и правительственным зданиям.

Менкеберг хорошо знал дорогу, и через несколько минут они уже миновали ставшего невытяжку часового и остановились у широкого портала замка в стиле барокко, где работал и жил протектор.

Медленно поднимаясь по лестнице, Рейнгардт напряжённо думал. Изложить Гейдриху дело Глазенапа будет нелегко — раздражительность протектора была ему хорошо известна. Гейдрих любил решать быстро. Если даже принятые им решения были неправильны, он настаивал на строжайшем выполнении их. Чужие ошибки Гейдрих карал безжалостно и ничьего мнения, кроме своего собственного, не признавал.

Рейнгардт ждал недолго. Появившийся в приёмной щеголеватый адъютант провёл его в кабинет протектора.

Из окон кабинета открывался великолепный вид на город со множеством старинных башен и блестящих крыш. Гейдрих — высокий, поджарый, весь в чёрном — стоял на фоне озарённого вечерним солнцем окна.

Рейнгардт щёлкнул каблуками и вытянулся. Протектор стоял не двигаясь. Адъютант вышел из кабинета, бесшумно прикрыв за собой дверь.

Актёрство, подумал Рейнгардт. Хочет произвести впечатление. Ладно, подождём.

И вдруг Гейдрих заговорил низким, монотонным голосом.

— Подойдите сюда, рейхскомиссар,— сказал он.— Я хочу кое-что показать вам.

Рейнгардт угодливо кинулся к протектору.

Гейдрих протянул руку, как школьный учитель, и широко повёл ею, показывая на город.

— Я часто стою здесь и смотрю,— прогудел он.— Что вы об этом скажете?

Рейнгардт не ожидал такого вопроса. Что ему от меня надо?

Чтобы не попасть впросак, он решил ответить как можно неопределённое.— Прекрасный вид, герр протектор... прекрасный вид.

Гейдрих отвернулся от окна и впервые посмотрел на Рейнгардта. Потом покачал головой.

— Эх, вы, полицейские! Ничего они не видят, никакого у них воображения. Неужели вы не понимаете, что это зрелище символическое? Всё самое замечательное в этом городе построено немцами. Мы требуем только того, что создано нашими предками, создано их потом и кровью. Эти готические церкви, указующие шпилями в небеса, вздымающиеся до звёзд! В них дух Германии! Вы меня понимаете?

Рейнгардт с трудом удержался от улыбки.

— Да, герр протектор,— отчеканил он.— Понимаю. Если б мне сразу пришло в голову, что вы имеете в виду архитектуру, я с того бы и начал.— А сам подумал: „Господи боже! Неужели он со всеми так держится? Охота ему вальть дурака!“

Потом Рейнгардт вспомнил, что Гейдрих принадлежит к ближайшему окружению Гитлера. Может быть, они развлекаются таким манером? Может быть, это действует, как алкоголь? Кто их знает?

Рейнгардт испугался собственных мыслей. Они были явным нарушением дисциплины.

— Ну, хорошо — перейдём к делу,—сказал вдруг протектор. Его голос зазвучал совсем по-иному, почти резко. — Ведь вы пришли сюда не для того, чтобы любоваться видом из окна. Садитесь и докладывайте, что у вас там.

Рейнгардт почувствовал облегчение, когда тон разговора изменился.

— Мне хотелось поговорить с вами относительно дела Глазенапа,—начал он.

— Я о нём слышал,—перебил его Гейдрих.— У меня был майор Граутгоф. Он не хочет, чтобы из-за этого поднимали шум.

— Вы придерживаетесь того же мнения?—ядовито осведомился Рейнгардт.

— Я своего мнения ещё не составил. Хочу сначала послушать, что вы скажете. Дело довольно серьёзное, надо всё обдумать.

— Да, дело серьёзное,—веско проговорил Рейнгардт.— Во всяком случае убийство немецкого офицера нельзя оставить безнаказанным.

Гейдрих покачал головой.— Вы уверены, что его убили?

Рейнгардт ответил не сразу.— Я действую на основании этого предположения.

— Тогда в чём же дело?—спросил протектор.— Всё остальное ясно. Найдите убийцу, а если не сможете, постарайтесь преподать населению благой урок, так чтобы в дальнейшем эта волна террора и саботажа прекратилась.

— Я очень рад, что мы с вами одного мнения. Но тут возникает один вопрос... и мне нужна ваша помощь.

Протектор стал слушать внимательнее.— А почему этого Глазенапа убили?—спросил он.— У вас есть свои соображения на этот счёт?

— Почему! Почему!—сердито сказал Рейнгардт.— Наших людей убивают просто потому,

что они носят славный мундир империи! Здесь есть такие элементы, которые пойдут на самое подлое преступление, лишь бы навредить нам. Стоит ли доискиваться других мотивов? Разве факты не говорят сами за себя?

Гейдрих молчал. История с Глазенапом мало интересовала его. Тем не менее, думал он, дело это отнюдь не простое. Прежде всего: чем объяснить телефонный звонок майора Граутгофа? И почему этот Рейнгардт не поленился явиться к нему в кабинет?

Рейнгардт счёл молчание протектора за разрешение продолжать. — Один из моих подчинённых арестовал всех, кто оказался в кафе „Манес“, где, повидимому, и было совершено преступление. Они всё ещё в тюрьме. Желательно оставить их заложниками. Возможно, что среди заложников окажутся и убийцы.

— Но мой подчинённый вскоре же выяснил, что в числе прочих арестован и главный директор Чешско-моравского угольного синдиката, Лев Прейсингер.

Рейнгардт старался прочесть мысли протектора. Но физиономия Гейдриха была попрежнему непроницаема: он даже глазом не моргнул.

— Если мы отпустим этого человека, — у него, кажется, есть связи в Берлине, — если мы отпустим Льва Прейсингера, как бы он не стал болтать. Испортит нам всё дело. Заложники есть заложники. Если здесь узнают, что некоторым из них удаётся вырваться на свободу, тогда вся эта система потеряет свой эффект.

Протектор кивнул. — Я уже получил письмо из Угольного синдиката. Спрашивают, где Прейсингер.

— По-моему, его надо незаметным образом препроводить сюда к вам, — сказал Рейнгардт. — Вы

поговорите с ним. Воздействуйте на него всем своим авторитетом. Велите держать язык за зубами. Скажете, что стоит ему только пикнуть, и его дело кончено.

Гейдрих молчал, и это молчание показалось Рейнгардту мучительно долгим. Наконец протектор спросил:

— Почему вы хотите отпустить Прейсингера?

Такой вопрос привёл Рейнгардта в замешательство. Он твёрдо знал, что всюду, даже в оккупированных странах, люди делятся на две категории: на мелочь, с которой можно и должно обращаться так, как сочтёт нужным гестапо, и на тех, кто поважнее,—этих принято оставлять в покое и привлекать к сотрудничеству, если они не суют носа туда, куда не следует.

— Разве Прейсингер в чём-нибудь провинился?—спросил он.

Протектор благосклонно улыбнулся.— А что вам известно о господине Прейсингере?

— Да, признаться, немного,—промямлил Рейнгардт. Он боялся попасть в ловушку.—Прейсингер, кажется, занимал когда-то министерский пост в чехословацком правительстве...

— Видите ли, в чём дело,—все тем же покровительственным тоном продолжал Гейдрих,—прежде чем принимать решительные шаги, надо всегда навести кое-какие справки. Отпустив Прейсингера, вы сделали бы неприятность, большую неприятность и мне и некоторым другим лицам. Наш друг Прейсингер — человек очень неглупый. До нашего прихода он был одним из заправил Чешского угольного синдиката. В те времена синдикат принадлежал семье Петчек. Это богатые евреи — очень богатые. Когда мы пришли, Петчеки выехали, и контрольным паем синдиката завладел господин Прейсингер.

В мозгу у Рейнгардта что-то забрезжило.

— Мы, конечно, никогда его не спрашивали, как это получилось,— продолжал Гейдрих.— Нас такие мелочи не интересуют. Когда нам приходилось вести дела с Угольным синдикатом, мы обращались к Прейсингеру, зная, что он человек надёжный.

— Вы не ошиблись: господин Прейсингер занимал пост министра в чешском правительстве. Вернее, он был членом кабинета во время Мюнхена. Мы знаем, что при обсуждении вопроса об отношении Чехословакии к мюнхенскому пакту его голос имел решающее значение. Он произнёс тогда небольшую речь и сказал: „Кого вы предпочитаете увидеть здесь — нацистов или Красную Армию?“ Из этого вы можете заключить, что господин Прейсингер — разумный человек.

— Так,— сказал Рейнгардт,— но, принимая во внимание прошлое этого человека, я всё-таки не догадываюсь, почему вы хотите держать его в тюрьме... и расстрелять.

— Терпение, мой друг.— Протектор был само благодущие.— Чешско-моравский угольный синдикат выполняет крупные заказы германского правительства. Доходы у него прекрасные. Но некоторые влиятельные лица в Германии считают, что такие капиталы отнюдь не должны попадать в карманы господина Прейсингера. Надо подумать о более достойных людях, о немцах. Не так ли?

— Безусловно,— подтвердил Рейнгардт.

— Следовательно, в наших интересах освободить господина Прейсингера от его обязанностей, и освободить раз и навсегда. Поздравляю вас с большой удачей, рейхскомиссар. Если вы уладите это и всё сойдёт гладко, я постараюсь,

чтобы ваши заслуги были должным образом отмечены.

На душе у Рейнгардта стало легко и весело. Всё обошлось как нельзя лучше! Он окажет услугу протектору и его анонимным друзьям в Германии. Дело Глазенапа пойдёт, как по маслу. Он, Рейнгардт, получит повышение... Надо бы пожать руку протектору.

Но Гейдрих, высокий, поджарый, с ледяным видом сидел за столом. Рейнгардт не решился выйти из официальных рамок.

— Мне кажется,— сказал он,— нам представляется прекрасный случай продемонстрировать широту взглядов фюрера. Мы докажем, что перед нашим законом все равны—и капиталисты и рабочие. И воздадим всем поровну—конечно, если убийцы лейтенанта Глазенапа не будут обнаружены.

Протектор встал. Аудиенция была закончена.—Мне бы хотелось надеяться,—сказал он,— что вы отнесётесь к возложенной на вас задаче со свойственной вам вдумчивостью и старательностью.

Рейнгардт вытянулся во фронт.—Хайль Гитлер!—крикнул он почти ликующим голосом. Эти слова слабым эхом отдались в большой высокой комнате.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Из тех пятерых, кто сидел в этой камере, доктор Вальтер Валлерштейн первый понял, что всех их ждёт смерть.

Эта мысль пришла к нему внезапно, среди ночи—второй ночи в тюрьме,—когда он лежал на нарах рядом с Лобковицем. Сон у него, если

это можно назвать сном, был тревожный, мучительный, нездоровый.

В маленьком зарешеченном окне забрезжил бледный свет нового дня. Их камера находилась в подвале штаба гестапо, и окошко было вровень со двором, по которому размеренными шагами ходил часовой. Стук сапогов по булыжнику отдавался у Валлерштейна в мозгу. Лежа в темноте, он старался представить себе путь часового — слева направо, потом по диагонали через весь двор, потом вдоль противоположной стены и назад — в этом узоре было что-то одуряющее.

Секунда, и перед ним мелькнули сапоги — вот он. Это всё-таки лучше, чем только топ-топ-топ.

И тут в мозгу у него молнией пронеслась эта мысль.

Никаких логических оснований для неё не было. Никого из них — ни самого Валлерштейна, ни его соседа по нарам, Лобковица, ни Прейсингера, ни актёра Прокоша, ни Яношека — не вызывали на допрос. Они не знали, какую роль им готовят, об этом им никто ничего не говорил.

Валлерштейн не хотел примириться с этой мыслью. Его разум восставал против неё. Но мысль не уходила, она навалилась на грудь, тяжёлая, жаркая.

Он спорил с ней. Пункт первый: Что мы такого сделали? Ничего. Пункт второй: Если нас убьют, что это даст? Ничего.

А непрощенная гостья отвечала: Не спорь. С ними спорить нельзя. Твоя логика для них пустой звук. Если б это было не так, они сидели бы у себя дома, в Германии.

Правильно, думал доктор Валлерштейн. Значит, нас ждёт смерть.

„Нас“ значило „меня“. Меня ждёт смерть.

Для Валлерштейна другие люди существовали лишь постольку, поскольку они отражались в его сознании. Он всегда был одинок, хотя чувствовал, что в этом одиночестве есть величие.

Близость смерти огорчала его главным образом потому, что такой чувствительнейший, тончайший инструмент, как доктор Валлерштейн,— продукт тысячелетней работы человеческой мысли, человеческого дерзания,—будет сброшен со счетов. Сброшен со счетов вместе со всеми прочими. Как это бессмысленно с их стороны, как глупо! Как оскорбительно! Заключённый номер такой-то, и под этим номером его поведут на казнь, и он умрёт, не оставив после себя сколько-нибудь заметного следа.

Лежать было неудобно. Валлерштейн повернул голову и посмотрел на молодого Лобковица, который спал крепко, чуть разомкнув полные и такие живые губы. Вот этот юноша тоже умрёт... Но что будет значить его смерть в великой книге итогов?

А он, Валлерштейн, словно скальпелем вскрывающий человеческую душу?.. Надо что-то сделать.

Его размышления прервал Лобковиц, который повернулся во сне на другой бок и забормотал что-то невнятное.

С нижних нар у противоположной стены донёсся голос:— Тише, вы!— Это был Прейсингер. Потом Прейсингер начал откашливаться, старательно, громко, словно он сидел у себя дома, в ванной.— С добрым утром,—недовольным голосом буркнул Прейсингер и с трудом приподнялся на нарах. Деревянные доски охнули.

Он потянулся, зевнул.— У меня отчаянная головная боль, доктор. Что вы мне посоветуете?

Валлерштейн решил не отзываться. Этот чело-

век воображает, что все должны быть к его услугам в любом месте, в любой час. Пусть думает, что я сплю.

Но от Прейсингера не так-то легко было отвязаться.—Доктор Валлерштейн!—громко прошептал он.—Вы спите? У вас нет при себе аспирина?

Лобковиц тоже проснулся. Он смотрел остекляневшими глазами на нары у себя над головой, на которых лежал Прокош.

Валлерштейн решил нарушить своё молчание, так как теперь, наверное, все проснулись.—Мои приёмные часы от трёх до пяти дня, господин Прейсингер. Вряд ли ваша головная боль требует специального визита. Если б у вас хватило благоразумия не пускаться в споры с нашими хозяевами, вас не избили бы.

Яношек свесился с верхних нар и ухмыльнулся, глядя вниз на Прейсингера. Его густые волосы смешно взъерошились за ночь, он пригладил их пальцами.

— Я знал одного человека, звали его Рудольф Голуб,—сказал Яношек, обращаясь ко всей аудитории.—Жил он в Нусле и тоже каждое утро мучился головными болями. Вот он и решил: попробую-ка я лупить жену, авось поможет. Иной раз, верно, помогало. Потом уж он стал такое нести, что все от него шарахались. Говорит: я министр земледелия Блачек. Раз его кто-то спросил: что же ты не у себя в министерстве, а он отвечает: там самозванец какой-то засел. И почему ему далось министерство земледелия, одному богу известно.

Валлерштейн заинтересовался.—А что с ним было потом?

— Об этом я лучше умолчу,—ответил Яношек,—а то Прейсингер расстроится.

— Рассказывайте, рассказывайте, — вмешался Лобковиц. — Я этого Блачека терпеть не мог. Болван надутый.

— Ну так вот, в один прекрасный день увезли его всё-таки в санитарной машине. По нём сми-рительная рубашка плакала. А когда умер, мозги у него, говорят, были, что твой кисель — бултых-бултых в голове. Зато похороны ему устроили знатные — жена постаралась.

Прокош, не обмолвившийся до сих пор ни единым словом, издал солидный смешок. — На-тошак такие зверские истории! — сказал он. — Инте-ресно, чем нас сегодня будут кормить?

— Тем же, чем и вчера, дражайший Про-кош, — провозгласил Лобковиц. — Яичница, кофе со сливками, чудесные горячие булочки с маслом и с мёдом. Единственное, что мне здесь не нравится, это однообразие меню. Гестаповцы страдают полным отсутствием воображения в области кулинарии.

— Замолчите вы! — крикнул Прейсингер, ко-торого голод мучил больше всех, потому что ему никогда ни в чём не приходилось себе отка-зывать даже при нацистах.

За последние тощие годы — годы оккупации — разговоры о еде охотно поддерживались всеми. Яношек подхватил Лобковица на полуслове: — В Злата Гуса знавал я одну кухарку. Здоровен-ная была тётка, другой такой задницы во всей Праге не сыщешь, а это, сами знаете, дело не шуточное! Добрая была, жалела бедных, а меня так прямо полюбила.

— Бывало, прибережёт тебе к завтраку от вчерашнего обеда какие-нибудь ножки фри. Так сами в рот и просятся! Или гуляш с соусом из красного перца. С него потом как встрёпанный ходишь.

Прейсингер негодовал. С тех пор как Младенец арестовал его, он всё время был вне себя от злости, если не считать нескольких часов беспамятства. Все словно сговорились унижать его. Нацисты постарались больше всех, но и соотечественники, сидевшие вместе с ним в камере, совершенно не считались с тем высоким положением, которое он занимал.

Прейсингер поклялся отплатить за каждую обиду, за каждое проявление непочтительности к нему. Подождите, дайте ему только выбраться из этой мышеловки... Будь они там все прокляты в Угольном синдикате, неужели до сих пор нельзя было что-нибудь сделать? Сегодня-то его, конечно, отпустят, и тогда он им покажет!

Единственный человек, к которому Прейсингер относился более или менее терпимо, был спокойный и чуть напыщенный Прокош. Если б только он поменьше говорил о своей жене, тем более, что та умерла. Вчера Прокош твердил о ней весь день. Прейсингеру, как человеку, полному жизни, не было никакого дела до мёртвых. Мёртвые покоятся в земле, а жизнь идёт своим чередом. Поэтому он посоветовал Прокошу заняться подысканием другой жены, как только их выпустят отсюда. Вряд ли первая жена Прокоша хотела бы, чтобы её муж до конца дней своих оставался одиноким. Вот только, стоит ли Прокошу жениться вторично, это большой вопрос. Он, Прейсингер, женат, и его супружеская жизнь есть не что иное, как нескончаемая цепь всяческих неприятностей.

Прокош спокойно улыбнулся. — Когда бы вы знали мою Мару, господин Прейсингер, вы не стали бы так говорить.

— Нет, стал бы! — не сдавался Прейсингер. Если б не жена, разве он очутился бы в этом

вонючем гестаповском подземельи? Ни в коем случае! Он пришёл в кафе „Манес“ — будь оно проклято! — только для того, чтобы посоветоваться с доктором Валлерштейном относительно своей жены.

Но Прокош не проявил особенного интереса к психике госпожи Прейсингер. Он снова заговорил о своей Маре.

— Да, — согласился Прейсингер, — этой женщине не повезло. Умереть во время родов и оставить мужу беспомощную крошку!..

День начался, в этом не могло быть никаких сомнений. Сквозь массивную дверь в камеру доносились шаги часовых в коридоре. Потом слышался чей-то голос: — Не надо! Не надо! Перестаньте... умоляю!.. — Остальное потонуло в хрипе.

— Утренняя зарядка, — сказал Лобковиц.

Он слез с нар, которые разделял с Валлерштейном, и стал ходить по камере, стараясь хоть немного размяться. От окна до двери было четыре с половиной длинных шага или шесть коротких. Вдоль боковых стен поднимались в два ряда нары. Их было пятеро, и Лобковиц с Валлерштейном, как самые худые, легли вместе.

Чтобы не мешать друг другу, они старались больше лежать на нарах. Ходить или стоять посреди камеры мог только кто-нибудь один, самое большее — двое.

Воздух здесь был спёртый, от пятерых человек, не мывшихся два дня, пахло потом; их лица, покрытые небритой щетиной, уже приняли тюремный оттенок.

Лобковиц шагал взад и вперёд. — Как вы ду-

маете,—спросил он,—кто это там кричал? Один из тех, кого арестовали вчера?

— Почём я знаю!— буркнул Яношек.

Прокош откашлялся, готовясь провозгласить что-то весьма важное.— Такие мрачные вопросы, дорогой мой Лобковиц, ни к чему не ведут,— сказал он наконец.— Не воображайте, что только у вас одного мороз подирает по коже. Давайте лучше не думать об этом.

Лобковиц продолжал шагать по камере.— О чём же нам ещё думать? О чём думают цыплята, когда их тащат в кошёлках на рынок?

— О том, как бы покопаться в земле. И о том, что земли нет и копать негде,— высказал своё предположение Яношек.

— Совершенно правильно!— подтвердил Прокош.— Жизнь! Думайте о жизни. Она ещё ждёт нас. Жизнь начинаешь ценить только тогда, когда столкнёшься лицом к лицу со смертью. Я знаю это по себе. Когда Мара умерла,— а вы помните, Лобковиц, сколько в ней было жизни,— когда она умерла, я столкнулся со смертью. Смерть была необъятной пустотой, серой пустотой, без конца и края. Я хотел умереть, хотел стать песчинкой на этой безграничной серой равнине.

Валлерштейн, с наслаждением разлёгшийся во всю ширину койки, спросил сонным голосом:— Почему же вы не умерли?

— Потому что Мара в меня верила. В её глазах я был олицетворением жизни. Такую веру нельзя обмануть. Я должен был жить ради неё. Жить. Продолжать творить. Если роль мне удавалась, я говорил: это для тебя, Мара.

Лобковиц хрипло рассмеялся.

— Вам это кажется банальностью?— спросил Прокош.

— Да, ужасной.— Лобковиц повернулся к нему.— А ребёнок Мары? О ребёнке вы не думали?

— Конечно, думал. Ребёнок был частью её самой. Но он и был причиной её смерти. Он убил её. Любить ребёнка больше Мары я не могу.

Глаза Лобковица как-то странно вспыхнули.— Вы любили не столько её, сколько себя. Для вас она была эхом, которое повторяло ваш голос. Она была зеркалом, в котором отражалось ваше самовлюблённое я—будь оно проклято!

Валлерштейн приподнялся и сел на койке. Разговор начинал интересовать его. Он за милом чуял назревающую ссору и мгновенно настораживался.

Прокош беспокойно завожился на верхних нарах. Потом перед самым носом Валлерштейна повисли длинные ноги актёра. Прокош спрыгнул вниз.

Лобковиц остановился. Они стояли лицом к лицу.

— Вы лжёте,—сказал Прокош, почти не повышая голоса.

Яношек, лежавший на нарах, уже приготовился разнимать их. Он был бы непрочь посмотреть на настоящую драку, но его тюремный опыт говорил ему, что в тесной камере это может плохо кончиться и для зрителей. К тому же на шум прибежит охрана, а от неё лучше держаться подальше.

Однако Лобковиц одумался.— Хорошо,—сказал он,—как вам будет угодно. Я сегодня не в своей тарелке. Простите.

Прокош молча залез на нары.

Прейсингер отнёсся к их стычке с полным безразличием. Ему было решительно всё равно, чем она кончится. Что ему эти люди? У него нет и не будет с ними ничего общего. Горя-

читься из-за женщины, к тому же давно умершей! Эти людишки и их мелкие горести заслуживали только его презрения. Он всегда чувствовал, что они неизмеримо ниже его,—их принимаешь в расчёт только, когда дело касается выплаты жалованья, найма, увольнений. Это — избиратели, читатели газет, солдаты,—все те, кто существует не поодиночке а группами или в массе. Их ставят туда, сюда — в зависимости от обстоятельств. Стало быть, жена Прокоша верила в него, и Прокош любил её, а тот, другой, сказал, что всё это чепуха. Ну и что же?

Жена Прейсингера, Карола, иногда рассказывала ему за обедом подобные истории. Она вычитывала их из книг. Если б Карола не так много читала или читала то, что следует, с ней ничего бы не было. Истеричка. И ему не пришлось бы обращаться за советом к Валлерштейну, и сейчас он собирался бы ехать в дирекцию, а не слушал бы этих людишек.

— Я больше не хочу здесь сидеть! — Он сам удивился, что это вырвалось у него так громко.

— А мы хотим? — спросил Валлерштейн, вытягиваясь на нарах. Наступило молчание. Повидимому, ни у кого не было охоты разговаривать.

Валлерштейн снова отдался своим мыслям, прерванным жалобами Прейсингера и стычкой между Прокошем и Лобковицем. Он вдруг открыл, что поведение его соседей по камере необычайно интересно. Все они, за исключением Прейсингера, были для него незнакомцы. Но то, что он подмечал за Прейсингером, могло в равной степени относиться и к остальным.

С Прейсингером происходили какие-то перемены. Валлерштейн не знал более толстокожего существа. А сейчас Прейсингер начинал проявлять необычную для себя чувствительность к

окружающей обстановке. Пока что признаков этой чувствительности было ещё мало, но со временем они безусловно умножатся. Люди, сидевшие здесь, были похожи на камни, которые сбило течением в узкий поток. Они сталкиваются, трутся друг о друга. Идеальная лаборатория, где подопытным материалом служат человеческие существа, — вот что представляет собой эта камера.

Валлерштейн с тревогой подумал о себе. Он тоже будет подвержен здешней атмосфере, и его душа может оказаться уязвимой. А что если и эти мысли только симптомы зарождающегося страха смерти? Нельзя распускаться, надо взять себя в руки. Что ему нужно? Освободиться от чувства страха. Найти какой-то способ, чтобы вынести предстоящее испытание и не сойти с ума.

Послышался звон ключей; все поднялись с мест. Солдат в чёрном мундире стал в дверях и равнодушно оглядел заключённых. Повидимому, это был обычный осмотр. Их волнение немного улеглось.

Следом появился второй надзиратель — чех, подчинённый немца; он внёс в камеру ведро. Кроме ведра, в руках у него было пять кусков хлеба. Чех быстро вышел и вскоре вернулся с кувшином, наполненным какой-то горячей жидкостью, и пятью оловянными кружками. Он повторил вчерашнее наставление: — Для того чтобы справить свои дела и позавтракать, вам даётся пятнадцать минут. Когда мы вернёмся, кто-нибудь один вынесет ведро.

Немец ничего не сказал, вид у него был скупой. Это придало храбрости Прейсингеру, и, подойдя к нему, он скромно спросил: — Простите, пожалуйста. Я хотел бы знать, не справля-

лись ли обо мне из Чешско-моравского угольного синдиката?

Яношек не мог не заметить кротости тона, с которой Прейсингер обратился к нацисту. Он решил оказать ему моральную поддержку.

— Этот господин, — сказал Яношек, — главный директор Угольного синдиката, и ему хочется узнать, как там идут дела. Сколько угля отправили за последние два дня в Германию, довольно ли ваше правительство этими поставками? Он для войны много делает и рад бы ещё больше сделать, даже сейчас, сидя в тюрьме.

Старший надзиратель был изумлён. Слова Яношека, казалось, произвели на него впечатление. Он привык к упорному молчанию и враждебности заключённых или же к дрожи и страху, а Яношек говорил так вежливо, дружелюбно.

— Я не знаю, — сказал немец. — Об этом надо спросить у рейхскомиссара Рейнгардта. Здесь он главный. — И вдруг спохватился. Разговаривать с заключёнными, как с людьми!

— Это не ваше дело! Смирно! — накинулся он на Прейсингера и вышел из камеры в сопровождении своего тщедушного помощника-чеха.

Дверь за ними захлопнулась.

Прейсингер повернулся к Яношеку, готовый вцепиться ему в горло. — Кто вас просил вмешиваться! Неужели я сам о себе не могу позаботиться? Вы хотите, чтобы я застрял здесь, чтобы я сошёл с ума!

— Идите лучше к ведру, — посоветовал ему Яношек. — Облегчитесь, голова не будет болеть. А даётся вам на это всего три минуты. Слышали, что надзиратель сказал?

Прейсингер понял, что ему не остаётся ничего

другого, как последовать совету Яношека. Он отошёл к ведру, бормоча какие-то ругательства.

Остальные принялись за то, что носило пышное название завтрака. Им хотелось хоть чем-нибудь наполнить желудок. Хлеб был, как вата, а жидкость, именуемая кофе, отдавала жжеными перьями,—и всё же они надеялись, что эта еда подкрепит их.

Жуя свой кусок хлеба, Валлерштейн сказал:—Сегодня я понесу ведро. Вчера выносил Яношек,—давайте уж по очереди.

— Ваше предложение принято,—провозгласил Прокош.—Налейте мне ещё этой бурды, а потом я сменю Прейсингера на троне.

Лобковиц поставил пустую кружку на пол.—Хотел бы я знать,—начал он,—что с нами будет? Даже нацисты не способны на такой идиотизм. Неужели нас засадили сюда навечно только потому, что мы оказались в ресторане, откуда исчез какой-то офицер? Да его, наверное, уже нашли.

— Может быть, про нас забыли?—сказал Яношек.

— Всё-таки, что же нам делать?—жалобно проговорил Лобковиц.—Нельзя же так! Надо выяснить, за что нас здесь держат? Время идёт час за часом, день за днём. Мы заживо похоронены...

Яношек готовился занять место у ведра.—Что касается меня,—заявил он,—то я пошёл в гору. Раньше мне самому приходилось убирать за другими, а теперь моё дерьмо понесут, да кто понесёт—доктор, человек образованный.

Лобковиц не обратил внимания на слова Яношека.—Мы слишком долго ждём!—крикнул он.—Пора действовать.

Яношек знал, какая лихорадка треплет Лобковица.

Ему нравился этот юноша, и он боялся, как бы он не наделал глупостей.

— Я знал одну старушку во Вршовице,— с обычным спокойствием начал он.— Старушка была бедная, продавала газеты на углу. Когда пришли нацисты, она это дело бросила. Говорит, не хочу брать с людей деньги за бесчестную ложь. Как видите, старушка правильно рассудила. Её, конечно, арестовали. Вот уже третий год сидит в концлагере. Терпеливая старушка—ждёт! А ведь у неё времени впереди меньше, чем у вас.

— Откуда вы это знаете?— настороженно спросил Прейсингер.

— Знаю. Люди рассказывают.

Лобковиц затих.

У Валлерштейна созрел план действия. Он старался ничем не выдать своего волнения. Выйти из камеры с ведром— вот единственная возможность прорваться сквозь стены тюрьмы и приступить к тому необычайному и дерзкому опыту, который, может быть, оправдает и овеет славой его смерть.

А если нацисты не пойдут ему навстречу? Нет, об этом даже думать нельзя. Надо во что бы то ни стало произвести впечатление на этого Рейнгардта, каков бы он ни был. Вот что важно.

Немец и чех вернулись. Валлерштейн поднял ведро и, неуклюже волоча ноги, поплёлся за обоими надзирателями.

Он впервые вышел из этой тесной, узкой камеры, в которую его втокнули два дня назад. Массивная дверь захлопнулась. Ведро было тяжёлое, ручка врезалась в пальцы. Но Валлерштейн не замечал боли. Он быстро оглядывал новые для него места. Длинный, тёмный коридор

дор освещался тусклыми электрическими лампочками. Валлерштейну казалось, что он где-то глубоко под землёй, в непонятном и страшном мире, у преддверия ада, которого ему не миновать. В коридор выходило много дверей; на них виднелись номера, а под номерами списки обитателей камер. Некоторые фамилии были зачёркнуты, новые вписаны карандашом. Поминальные списки — краткие и выразительные, подумал Валлерштейн.

Навстречу по коридору проходили какие-то людские тени. Сапоги немца громко стучали по каменным плитам. Чех ступал неслышно. Валлерштейн прибавил шаг и поравнялся со старшим надзирателем.

Он кашлянул, прочищая горло. — Я хочу дать показания по делу Глазенапа.

— Назад! — рявкнул немец. — Держитесь подальше со своим ведром.

Валлерштейн покорно отстал. Пройдя шагов десять, он крикнул: — Мне нужно дать важное показание. Я вас очень прошу, отведите меня к рейхскомиссару Рейнгардту.

Немец молчал. Чех оглянулся и посмотрел на Валлерштейна не то удивлённо, не то подозрительно.

Коридор кончился. Немец распахнул двойные двери в какое-то большое помещение, повидимому, котельную. У дальней стены стояли два потухших котла и печь для сжигания мусора. Однако котельная была оборудована для иных целей, а для каких — Валлерштейн понял не сразу.

В углу стоял письменный стол, на нём машинка, закрытая футляром, рядом со столом несколько кресел. Посреди комнаты он увидел два длинных стола с кожаными ремнями по бокам. У стены были две стойки, похожие на те, куда ставят

биллиардные кии, но вместо киев там был целый набор стальных прутьев, резиновых дубинок и палок. Валлерштейн разглядел прутья с толстыми наконечниками, прутья прямые и длинные, прутья изогнутые спиралью — полный ассортимент! На полу стояли вёдра с водой. Рядом с ними валялась груда тряпья.

Валлерштейну, теперь уже прекрасно понимавшему, где он находится, вдруг захотелось спросить немца, для чего служат тряпки — для кляпов, для подтирания пола или же для того и другого?

— Ну, — крикнул ему немец, — что же вы стали? Выливайте ведро в печь.

Валлерштейн повиновался. Он обжёг руки о горячую дверцу, но почти не ощутил боли.

Чех уселся на стол посреди комнаты, закурил, машинально взялся за ремень, свисавший со стола, и тут же бросил его, почувствовав на руке что-то липкое, мокрое.

— Заключённый хотел видеть рейхскомиссара Рейнгардта, — сказал он немцу. — Интересно бы узнать, зачем?

Немец сел в кресло и потянулся всем телом.

— Что вы там говорили? Зачем вам понадобилось видеть рейхскомиссара?

— Я хочу дать показания по делу Глазенапа. Он знает, — ответил Валлерштейн.

— Ну что ж, моё дело маленькое, — немец зевнул. — Только предупреждаю, начальник у нас строгий. Плохо вам будет, если вы попусту отнимете у него время. — Он встал и скомандовал: — Вперёд! Ведро оставьте здесь.

Им не пришлось долго ждать перед кабинетом Рейнгардта. Валлерштейна провели к рейхскомиссару, не дав ему даже времени собраться с духом. Но, очутившись лицом к лицу с человеком,

державшим его судьбу в своих руках, Валлерштейн немедленно овладел собой. Для этого потребовалось только одно: посмотреть на рейхс-комиссара так, как он смотрел на своих пациентов — холодным, испытующим взглядом.

Рейхскомиссар сидел за столом, удобно развалившись в кресле; его тёмные, узкие глаза смотрели мимо Валлерштейна. Увёртлив, как уж, и честолюбив, подумал тот. Необузданной жестокостью хочет преодолеть внутренний страх и неуверенность. Что ж, подходящая фигура для такого поста.

Пронизывающий взгляд остановился теперь на нём.

— Вы доктор Вальтер Валлерштейн, возраст пятьдесят четыре года, ариец, холост, адрес Виноградская триста восемьдесят?

— Он самый.—Валлерштейн слегка поклонился.

— Как вы, повидимому, догадываетесь, я рейхс-комиссар Рейнгардт.

— Считаю за честь...—Валлерштейн снова поклонился.— Правда, мне очень жаль, что мы встретились при таких обстоятельствах.

— Почему? Я стараюсь быть любезным даже при исполнении служебных обязанностей.—Рейнгардт улыбнулся, отчего его скошенный подбородок стал ещё меньше.

Валлерштейн тоже ответил улыбкой.— Почему? Потому что наше знакомство будет мимолётным.

— Не обязательно,— сказал Рейнгардт.

Минуту Валлерштейн колебался. Поединок можно продолжить, но этот человек, повидимому, не отличается неистощимым терпением.

Рейнгардт сам пришёл ему на помощь.— Если вы хотите дать показания по делу лейтенанта Глазенапа, зверски убитого одним или несколькими из ваших соотечественников, я готов вас

выслушать. Если же вы собираетесь просить об освобождении, боюсь, что мне не удастся удовлетворить вашу просьбу.

— Материала для показаний у меня ещё нет, и я не знаю, в какой мере он будет способствовать выяснению этого дела,— начал Валлерштейн.

— Об этом лучше всего судить мне, не так ли?— Рейнгардт закурил папиросу.— Хотите? — предложил он.— Почему вы не сядете?

Валлерштейн склонил голову, взял у Рейнгардта зажжённую спичку и... содрогнулся. Ногти рейхс-комиссара были покрыты розовым лаком, что составляло разительный контраст с грубой кожей похожих на когти пальцев.

— Бойтесь?— поддел его Рейнгардт.

— Конечно, боюсь.— Валлерштейн заставил себя отвести глаза от этих пальцев.— Все мы боимся. В том числе и вы.

— Не забывайте, с кем вы имеете дело!— крикнул Рейнгардт.— Мне нечего бояться.

— Страх, господин рейхскомиссар, могучий, движущий фактор нашей жизни. Почему вы должны представлять собой исключение? Я говорю о страхе смерти, хотя страх жизни почти столь же силен. Например, если вы меня расстреляете,— а вероятно, тем дело и кончится,— это будет сделано из страха.

Рейнгардт пустил дым носом. Минуту он сидел молча. Потом сказал небрежным тоном:— С какой стати я должен выслушивать эти дерзости? Меня ваши показания не интересуют. Если они нам понадобятся, мы вас допросим, и допросим так, как сочтём нужным. Но скажите, пожалуйста, откуда вы знаете, что вам грозит расстрел? Кто-нибудь из надзирателей разболтал?

— Нет,— с мягкой укоризной сказал Валлер-

штейн.— Я привык пользоваться только первоисточниками. Эта мысль осенила меня сегодня утром. А вы подтвердили её.

Рейхскомиссар был встревожен. Встревожен не словами Валлерштейна, а своими собственными ощущениями. Этот учёный, такой кроткий на вид, держался очень непринуждённо. Рейнгардт чувствовал, что с ним разговаривают на равной ноге, и решил припугнуть своего противника.

— Хотите получить добавочное подтверждение?— спросил он и протянул Валлерштейну большой, аккуратно сложенный лист бумаги. Валлерштейн развернул его и прочёл:

ИЗВЕЩЕНИЕ

В четверг 9 октября 1941 года в кафе или поблизости от кафе „Манес“ в Праге неизвестными лицами был убит

лейтенант ЭРИХ ГЛАЗЕНАП

431-ой пехотной дивизии

Тем, кто окажет содействие в задержании виновных, обещано вознаграждение в сумме 50 000 крон.

Если в течение недели убийца или убийцы не будут арестованы или преданы в руки властей, живые или мёртвые, или же не объявятся сами, ДВАДЦАТЬ ЧЕЛОВЕК, ВЗЯТЫХ ЗАЛОЖНИКАМИ ПО ЭТОМУ ДЕЛУ, БУДУТ РАССТРЕЛЯНЫ

Подпись

Рейхскомиссар полковник *Гельмут Рейнгардт*

Гестапо

Извещение было написано на немецком и чешском языках; над словом „Извещение“ торчал германский орёл со свастикой в когтях.

Валлерштейн сложил бумагу и вернул её обратно.— Пятьдесят тысяч,— сказал он.— Не слишком ли большое вознаграждение за лейтенанта?

— Мы на весах не взвешиваем!

— И вы думаете, что охотники найдутся?

— Не знаю. Я не обладаю вашим даром предвидения. И будьте добры молчать!

Последние слова вырвались у Рейнгардта невольно, и он сейчас же пожалел об этом. Не следует выходить из терпения.

Ведь хозяином положения являюсь я, думал Рейнгардт. Значит, надо слушать спокойно... Зачем только он пустил к себе этого человека, зачем так раздражается...

Валлерштейн возобновил прерванный разговор.— Вы спрашиваете, с какой стати вам надо меня выслушивать. Дело в том, что беседа наша вас захватила. Или по меньшей мере заинтересовала. Ведь людям нашего калибра редко приходится сталкиваться.

Валлерштейн гордился, что сумел так польстить. Получилось удачно, и гестаповец, конечно, клюнет на его лесть.

— Вы же знаете, как скучно иметь дело с посредственностью,— продолжал он.— Таковы, например, мои соседи по камере. Как раз об этом я и хотел с вами поговорить.

— Отсутствие развлечений?—недоверчиво спросил Рейнгардт.— Первый раз слышу, чтобы в тюрьме гестапо жаловались именно на это!

Валлерштейн с готовностью расхохотался.— Нет, серьезно, господин рейхскомиссар. Я учёный. Судьба даёт мне возможность произвести огромный по своему значению психологический опыт. Пять человек, в том числе и я, находятся перед лицом — ну, скажем... перед лицом неминуемой смерти.

— Моих четверых соседей и меня расстреляют. Это так же бесспорно, как то, что мы находимся в вашей власти.

— Вы предлагаете пятьдесят тысяч крон. Предположим, что несчастного лейтенанта Глазенапа

действительно убил кто-нибудь из чехов. В таком случае преступление было обдумано заранее, и не одним человеком. Я знаю наш народ. Если уж он решится действовать, предатели в нём найдутся не скоро.

— Следовательно, вы зря расходовали средства на извещение — заложники, в том числе и я, погибли. Мне представляется редкая возможность вести наблюдение над группой людей, которые ждут верной смерти. Как человека меня это страшит. Как учёного — необыкновенно увлекает.

Валлерштейн затаился в последний раз и пригнул папиросу в пепельнице, стоявшей на столе.

Рейнгардт был озадачен. Всё это звучало довольно странно. Может быть, тут кроется хитрая уловка, которую он ещё не разгадал? К чему Валлерштейн клонит? Что он такое — дурак или архимунник, задумавший провести его, рейхскомиссара Рейнгардта?

— Я хочу, чтобы вы занялись не только моей судьбой, — продолжал Валлерштейн, — но и моей последней волей. В оставшиеся нам считанные дни я буду вести запись наблюдений над этими людьми и над самим собой. Конечно, если вы дадите мне бумагу и вернете моё вечное перо. В конце я сделаю некоторые выводы. Вы сможете прочесть мои записи, мне это будет только приятно. А потом я попрошу вас передать рукопись в „Ежемесячник по вопросам психологии“, где я часто печатался. Правда, за последние годы качество этого журнала сильно снизилось, но мне хочется, чтобы наш с вами опыт не пропал даром и послужил потомству.

— И это всё, что вы хотите? — спросил Рейнгардт.

Доктор Валлерштейн степенно склонил голову.

— А если я откажу?

Валлерштейн не счёл нужным отвечать на это.— Кроме того, мне бы хотелось, чтобы вы написали предисловие к моей работе, подтвердили бы факты, на основании которых она делалась. Это повысит её значение как документа.

Рейнгардт отодвинул кресло и заходил по кабинету взад и вперёд. Предложение Валлерштейна было просто неслыханное. Оно не укладывалось ни в какие рамки, хотя прямых указаний или правил, запрещающих что-либо подобное, Рейнгардт припомнить не мог. Если сообщить обо всём этом коллегам или начальству, его подымут на смех; если сказать, что он был склонен принять и одобрить такую чушь, его сочтут сумасшедшим.

Предложение Валлерштейна необычно, но оно может помочь при разборе дела. Иметь среди заподозренных в убийстве опытного психолога— почти то же самое, что посадить к ним шпика. Неплохая идея, но всё несчастье в том, что лейтенант Глазенап совершил самоубийство и, значит, подозревать некого.

Как это всё сложно!

Он остановился, зашёл за письменный стол и, нахмурив брови, устремил на Валлерштейна пронизывающий взгляд. Выражение лица у доктора было дружелюбное, почти безмятежное.

— В лучшем случае,— сказал Рейнгардт,— я получу нечто интересное для чтения, в худшем— проявлю излишнее великодушие. Возьмите блокнот, перо вам возвратят. Флакона с чернилами вы не получите. Но вечное перо вам будут наполнять по мере надобности.

— Я чрезвычайно признателен,— Валлерштейн поклонился.

— Вам, вероятно, будет интересно узнать,— сказал Рейнгардт,— что один из моих коллег,

некто Муртенбахер, тоже вёл наблюдения над заложниками в Париже. По-моему, его статья весьма поучительна. Она была напечатана год назад в нашем эсэсовском журнале. Надо будет попросить, чтобы он прислал один экземпляр.

— Не утруждайте себя,— с приятной улыбкой сказал Валлерштейн.— Боюсь, что ко мне она уже не попадёт — запоздает.

Рейнгардт ответил: — Как угодно,— и позвонил.

Вошедшему жестаповцу было сказано: — Ответи арестованного в камеру.

Тот отдал честь и щёлкнул каблуками.

Спускаясь в лифте и шагая по тёмному, холодному коридору, Валлерштейн с мучительной болью ощущал свой возврат к действительности. Что это было? Может быть, только сон? Слишком уж всё фантастично. Из зародыша его идеи развился целый план и развился в основном во время разговора с Рейнгардтом. Может быть, у этого субъекта хватит ума не бросать заметки, — ещё не написанные заметки, — в корзину. Валлерштейн стиснул блокнот в кармане. Надзиратель втокнул его в камеру. Минуту Валлерштейн стоял, ничего не соображая. Потом почувствовал на себе вопрошающие взгляды.

— Мы взяты заложниками,— провозгласил он.— Дней через пять нас расстреляют.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Цех гудел, не умолкая, двадцать четыре часа в сутки. Здесь выполняли военные заказы Германии и ненавидели её лютой ненавистью, которая не затухала ни на одну секунду во все эти двадцать четыре часа.

Внешне всё шло как будто гладко. Но как

только вы начинали отличать лица рабочих от лиц шпиков, вам сразу же становилось ясно, что это не заводской цех, а вулкан, и что вы ходите по ненадёжной, раскалённой почве.

Хотя Милада Марекова только недавно поступила на завод „Колбен Данек“—сокращённо „Колбенка“,—она быстро научилась различать шпиков. Зелигер—шпик. Об этом не трудно было догадаться, глядя, как он подлизывается к нацистским охранникам, расставленным по всем ключевым пунктам завода. Об этом свидетельствовали и бутерброды с мясом, которыми он завтракал.

Милада работала на „Колбенке“, чтобы не голодать. Правда, можно было бы вернуться домой, к родителям. Но это всё равно, что признать своё поражение, а она предпочитала стереть себе пальцы в кровь, только не это. Ее отец, профессор Ян Марек, был редактором газеты „Народная политика“. Эта газета—всегда реакционная—окончательно продавалась нацистам сразу же после их прихода в Прагу. Ян Марек сталкивался с новыми хозяевами, ибо он всю свою жизнь тяготел к власти имущим—и вообще, дочка, разве ты не понимаешь, что ничего другого сейчас сделать нельзя.

Но Милада не понимала. И вот—тяжёлая сцена с отцом. Профессор Марек взывал ко всем святым и горько сетовал. Он делал для дочери всё, что мог; шёл на жертвы, лишь бы она училась в университете. Разве ей приходилось в чём-нибудь отказывать себе? Никогда! Какая низкая неблагодарность! Но теперь ему ясно, почему у него такая дочь,—она пользовалась излишней свободой, водила знакомство с самыми неподходящими людьми. Теперь кончено. Он поставит на своём, воспользуется отцовской властью и, если понадобится, высечет её. Он не потерпит

врага у себя в доме, не станет пригревать змею на груди.

Работать на „Колбенке“ было очень тяжело: люди не смели помогать друг другу, так как мастера следили, чтобы никаких лишних разговоров на работе не было. Кроме того, люди то и дело менялись. Одни уходили, на их месте появлялись новые. Куда они уходили, никто не знал. Законом запрещалось менять место работы. Но к станку никого не привяжешь, а человеку истощённому угнаться за лихорадочными темпами было не под силу.

За две недели до поступления Милады с завода исчезло сразу несколько человек — они были арестованы за предумышленное снижение темпов работы.

Дневная смена кончилась в шесть часов. Люди работали с семи утра, лица у всех были усталые, измученные. Длинной нестройной цепочкой проходили они мимо охраны, стоявшей у обитой сталью двери с двумя пулемётами по бокам. Охранники старательно, методично обыскивали всех подряд. Отделавшись от них, рабочие устало брели по улице или садились в переполненные, дребезжащие на ходу трамваи.

На углу, около щита для афиш, молча стояла толпа. Повидимому, её внимание привлекал новый плакат в две краски: чёрную и белую. Толпа безмолвствовала. Люди читали объявление и словно чего-то ждали. Некоторые медленно покачивали головой. Это было извещение по делу Глазенапа, подписанное Рейнгарттом.

Бреда и Милада стояли рядом. Бреда внимательно прочёл плакат, взвесил каждую строчку, каждое слово. Он ничем не выдал своего волне-

ния, только в горле у него пересохло. Мысль скакнула назад, к тому вечеру в кафе „Манес“, к пьяным офицерам — и его первым ясным ощущением было: во-время же я ушёл оттуда... Он вспомнил всё: разглагольствования нацистов, лекцию по психоанализу, которую прочёл доктор Валлерштейн, появление Яношека с ведром и шваброй — и его сковал страх. Яношек! Яношека, наверное, тоже арестовали... Яношек в числе заложников!

Бреда попытался привести свои мысли в порядок. С того самого четверга он ничего не слышал о Яношеке. Странно! Но, может быть, полиция не обратила внимания на какого-то слугителя при уборной? Если же Яношек арестован, он всё равно не выдаст. Из тех людей, с которыми Бреду приходилось сталкиваться по работе, этот был самый надёжный.

Для Бреды Яношек значил больше, чем простой товарищ по опасной работе. Стойкий, выдержанный, мужественный Яношек с его ясной головой, его хитринкой и юмором стал для Бреды символом чешского народа. Бреда почувствовал, как горло ему сжимает спазм.

Мало того, — если Яношек в тюрьме, значит передать адрес Вацлика будет некому. Большая рискованная работа, сделанная за последние недели, пропадёт даром; важное задание останется невыполненным, баржи разгрузят, и этот груз принесёт смерть тысячам русских бойцов, принесет смерть тем, кто был для Бреды дорожее родных братьев.

В толпе послышался визгливый голос Зелигера. — Народная месть! Народная месть! — заскулил он. — Только и слышишь об этом. Пора бы нам понять, что такую силу не одолеешь. За одного своего они убивают двадцать наших.

Скоро никого не останется. Буря ломает большие деревья, а былинки остаются целехоньки, потому что они гибкие.

Зелигер бушевал недаром. Малейшие признаки сопротивления оккупантам были пощечиной его трусости, которая, кстати сказать, хорошо оплачивалась нацистами.

Толпа чуть отодвинулась от Зелигера. Он стоял один в пустоте и продолжал бормотать что-то, брызгая слюной.

Милада прочла извещение и заволновалась. Фамилия Глазенап, его смерть, дата смерти, судьба людей, которые должны умереть в отместку за Глазенапа... её мысль работала лихорадочно. Завывания Зелигера назойливо отдавались в мозгу.

— А вы-то что об этом знаете?— накинулась она на него, забыв о том, где находится, забыв, что выдает сама себя.— Беретесь судить о людях, которые вам неизвестны...

Она почувствовала чью-то сильную руку у себя на плече. Кто-то вытолкнул её из толпы, стиснул за локоть и бегом увлёк за собой. Перед ними остановился трамвай. — Прыгайте! — скомандовал неизвестный, и послушаться его приказания было нельзя. Трамвай рывком тронулся с места, повванивая жидким звонком.

Завод был уже далеко позади, когда Милада поняла, что произошло. Её похититель стоял на площадке рядом с ней. Он широко улыбался.

Милада узнала этого человека. Она видала его в цеху, но им никогда не приходилось сталкиваться друг с другом. Сейчас он заговорил приятным низким голосом: — Всё получилось довольно неожиданно. Я, должно быть, испугал вас... простите.

В первую минуту она хотела отчитать его, но

этот извиняющийся тон, этот мягкий голос и особенно лицо, такое ясное, открытое, мужественное, заставили её сменить гнев на милость. Она сказала:— Может быть, вы объясните...

— Давайте обсудим моё поведение как-нибудь в другое время и в другой, более подходящей обстановке,— ответил он.— А пока поверьте, что я хотел уберечь вас от серьёзных неприятностей.

— Ведь вы Бреда?— Милада приглядывалась к человеку, который так неожиданно вошёл в её жизнь.— Ваше лицо мне знакомо.

— Да, я инструментальщик Бреда,— прошептал он. Потом громче: — Вы давно не были в Петчине? Парк уже принарядился к осени, и если залезть повыше, такое открывается зрелище — деревья стоят красные, жёлтые, зеленые, внизу серебрится Влтава, а за ней городские крыши... все цвета, все оттенки...

Милада не могла не улыбнуться.— Вы всегда так увлекаетесь, когда приглашаете девушку полюбоваться природой?

Бреда не обратил внимания на её вопрос.— Я часто туда хожу,— продолжал он.— Ресторан ещё открыт. Правда, кормят сейчас не бог весть как, но, может быть, нам удастся вымолить пива у официанта. Я его немножко знаю.

Милада сдалась. Впервые, с тех пор как она потеряла своего Павла, ей пришлось почувствовать, что её снова ведет сильная мужская рука. Павел был такой же. И этот человек, сам того не зная, затронул в Миладе струну, которая долго безмолвствовала, а сейчас дрогнула и отозвалась.

Трамвай с грохотом пролетел через центр города. У подножья холма Петчин, перед поворо-

том к Влтаве была остановка. Бреда и Милада вышли из вагона и стали медленно подниматься парком в гору. Гуляющих было мало. Женщины, водившие сюда детей подышать свежим воздухом, давно вернулись домой, к скудному ужину.

Время от времени навстречу попадались скачущие немецкие солдаты, они шли всегда по несколько человек, одиночек не было. Проковыляла старуха в потрёпанном пальто, с жёлтой повязкой на рукаве — еврейка. Она подбирала на палочку бумажки, валявшиеся в аллеях. Каждый клочок аккуратно прятался в холщёвую сумку, которую старуха волочила за собой. Она подняла голову и пустыми глазами посмотрела на Миладу и Бреду. Милада ответила ей подбадривающей улыбкой, но женщина покачала головой, стряхнув на лицо прядь седых волос, потом нагнулась над бумажкой, подобрала её и заковыляла дальше.

— Меченая... как все мы, — прошептала Милада.

— Учитесь скрывать свои чувства, держите рот на замке, — сказал Бреда. — Вот хотя бы этот Зелигер — не разговаривайте с ним. Ведь вы недавно на „Колбенке“, ничего ещё не знаете, а у него каждое слово — провокация. О чём бы он ни начал скулить, всё рассчитано на то, чтобы люди выдали себя с головой — и вы себя почти выдали. Поэтому я и утащил вас оттуда. А теперь, если хотите, можете меня отругать.

— Почему, собственно, вы заинтересовались моей судьбой? — просто спросила Милада.

Бреда посмотрел ей прямо в лицо. Глаза у Милады были большие, тёмные, чуть раскосые. Тонко очерченный подбородок и рот, спокойный лоб и гладкие чёрные волосы с пробором посредине придавали ей какое-то странное сходство

с теми старыми иконами, которые Бреда видал в крестьянских домиках в Карпатских горах.

— Я смотрел, как вы читаете это извещение. Ваше лицо, словно зеркало, в нём всё отражается. Вы были взволнованы, и взволнованы гораздо сильнее, чем это могло быть вызвано обстоятельствами. Ведь когда долго живёшь в атмосфере террора и жестокости, чувства притупляются. Зелигер тоже к вам приглядывался. Может быть, я его переоцениваю, но, по-моему, он большой хитрец. И если его слова метили в вас... так вы на эту удочку попались.

Милада почувствовала дурноту и взяла Бреду под руку.

— Пугаться нечего, надо только быть осторожнее, — мягко сказал он.

— Кому же верить? — с тоской спросила Милада. — Вы дали мне хороший совет, но если я ему последую, мне надо отвернуться от вас же первого.

— Правильно, — сказал он, кивнув головой. — Если хотите, мы на этом покончим, разойдёмся в разные стороны и забудем друг о друге.

Они пошли молча. Солнце спускалось к линии горизонта, зажигая небо красным пламенем. В воздухе пахло опавшими листьями.

— Хорошо здесь, правда? — сказал Бреда. Они вышли на лужайку. Город лежал внизу, сверкая в лучах заходящего солнца множеством крыш и башен. Напротив вздымались Градчаны, увенчанные замком и собором, окна которых горели золотом.

— А всё-таки, — снова заговорил Бреда, — если никому не верить, тогда и жить нельзя. Они хотят властвовать надо всем этим, — он широко повёл рукой, показывая на вечернее величие Праги, — они гонят брата на брата, друга на дру-

га, отца на сына... Потому что иначе им здесь не удержаться.

— Если б вы меня спросили, Милада, почему я вам верю, я бы не мог это объяснить. У меня был пёс, звали его Кардинал. Я подобрал его как-то ночью,—вернее, он меня подобрал... увязался за мной, и всё. Урод был, какая-то невероятная помесь. Ну вот, почему он увязался именно за мной? Почему он мне доверился? Вероятно, нюх, собачий инстинкт. Вы не рассердитесь за такое сравнение? И сейчас, когда каждую рекомендацию полагается проверять, каждое знакомство тщательно взвешивать, я счёл самым верным положиться на свой инстинкт.

— Вот, всё выложил. Теперь вы знаете обо мне куда больше, чем я о вас. Преимущество на вашей стороне... и следующий ход тоже за вами.

Милада чувствовала, что этот человек гораздо умнее её, гораздо богаче опытом. Он поступил совсем неглупо, дав ей в руки преимущество... оно ко многому обязывало. Его превосходство вынуждало её к обороне.

— Что вам от меня нужно?—эти слова прозвучали гораздо воинственнее, чем она ожидала.

— Если б я не удержал вас во-время, вы рассказали бы Зелигеру всё, что вам известно по делу Глазенапа. Так расскажите мне.

— Зачем?

— Затем, что мой друг, один из самых страшных людей на свете, находится в опасности, а вы можете помочь ему.

— Он тоже заложник?

Бреда ответил не сразу.—Я в этом не уверен. Но боюсь, что так. Впрочем, если б даже у меня не было близкого человека среди этих людей, я всё равно попросил бы вас рассказать мне всё, чтобы помочь им, чтобы отстоять их.

— Глазенапа никто не убивал. Он покончил с собой.

Бреда шагал попрежнему ровно, всё той же размеренной походкой. Милада не ожидала, что он отнесётся к этому так спокойно.

— Вы, я вижу, нисколько не удивились?— спросила она.

Бреда улыбнулся.— Нет. Если б на Глазенапа готовилось покушение, мой друг, по всей вероятности, предупредил бы меня, что приходить в тот вечер в кафе „Манес“ не следует. А я как раз был там.

— И видели Глазенапа?

— Да. Он показался мне каким-то опустившимся, пришибленным. И пьян был вдребезги.

— Несчастный...— сказала Милада.

Сумерки сгущались. Бреда приглядывался к потемневшему лицу Милады, стараясь прочесть её мысли.— Меня удивляет только одно.— сказал он,— почему вы так уверены, что Глазенап совершил самоубийство? Ведь это мог быть и несчастный случай. Или с ним по той или иной причине разделились свои же, нацисты.

— Нет, это самоубийство,— хриплым голосом повторила Милада. Как объяснить этому человеку чувства того, другого? Как рассказать о вялых желаниях, о трогательной заботливости, о причинах, которые толкнули Глазенапа на его пожь?

— Когда он сказал мне, что покончит с собой,— начала Милада,— я рассмеялась. Я говорила: вас на это нехватит, вы слабый человек. Какой он был жалкий тогда у меня в комнате... виноватый.

— Виноватый?— переспросил Бреда.

Они подошли к ресторану. Столики были расставлены на террасе, выходившей на Влтаву и

на город. В это время дня в ресторане было пусто. И всё-таки, прежде чем сесть с Миладой за столик, Бреда внимательно осмотрел террасу и немногих посетителей, сидевших в дальнем её конце.

— Мне было жалко его,— сказала девушка.— Так нельзя, я знаю. Разве они нас жалеют? Но он спас мне жизнь...

Официант бесшумно подошёл к ним и подал пиво. Они опять остались одни.

Бреда был озадачен. Чтобы немецкий офицер оказался спасителем чешской женщины? Случай почти беспрецедентный. Тогда в чём же его вина перед ней?

— Почему вы называли его слабым?

Милада отпила пива из кружки и откинулась на спинку стула. Глазенап никогда не говорил, почему ему вздумалось спасти её жизнь, хотя обо всей этой истории он рассказывал часто. Однажды Милада, ещё не оправившаяся от раны, спросила его:— Но ведь должна же быть какая-то причина? Беспочвенных поступков не совершают. Что это было—жалость? Или в вас заговорила совесть? Может быть, вы хотели искупить передо мной то зло, которое ваши солдаты причинили моему народу?— Но Глазенап запротестовал:— Конечно, нет! Немецкая армия не сделала ничего такого, за что мне приходилось бы краснеть. Смешно!

— Мне много о чём хочется спросить.— Эти слова Бреды вернули её к настоящему.— Но, может быть, проще всего будет, если вы расскажете сами?

— Я долго не могла раскусить его,— горячо начала Милада.— По-настоящему я разобралась в нём только в день его смерти... и возненавидела.

Бреда не торопил её. Он ждал, когда она

сама всё расскажет, чувствуя, что ей необходимо высказаться.

— Вы помните бой за университет? — спросила Милада.

Бреда кивнул. — Да...

— Когда отступить было уже некуда, когда мы поняли, что нацистские винтовки не отведёшь никакими уговорами, мой Павел собрал около себя нескольких студентов. Они построились клином и хотели броситься на штыки, чтобы пробить путь остальным.

— В это время нацисты начали стрелять, и наши ряды сломались. Меня ранило, и я потеряла сознание. Больше я Павла не видела.

— Храбрый юноша, — сочувственно пробормотал Бреда.

— Мой любимый, — просто сказала Милада.

— Глазенап рассказывал, — после долгого молчания снова начала Милада, — что его взгляд вдруг привлекли к себе тяжёлые солдатские сапоги. Эти сапоги были какие-то особенно большие и чёрные и двигались медленно. Они наступили на тело, на бесчувственное тело девушки, лежавшее в пыли. Потом шагнули дальше. Глазенап подошёл взглянуть на тело девушки... на моё тело.

— Почему он это сделал, ему самому было неясно. Вообще он не принадлежал к числу тех, кто доискивается причин своих поступков. Он нагнулся и приподнял ей голову. Лицо было искажено от боли, глаза широко открыты. Губы дрогнули, стараясь что-то выговорить. Из раны на плече сочилась кровь и безобразными пятнами расплывалась по платю.

— Он поднял её, и эта ночь оказалась та-

кой лёгкой, что он побежал с ней по безлюдным улицам, мимо домов с плотно занавешенными окнами.

— Глазенап весьма обстоятельно докладывал вам о своём деянии,— заметил Бреда.— Что это — такая манера ухаживать?

Милада покачала головой.— Он так подолгу сидел у меня, а других тем для разговоров не было.

Но это объяснение не удовлетворило Бреду.— Почему, собственно, Глазенап решился на такой шаг? Ведь жалость считается у них чувством презренным и даже запретным. Особенно жалость к тем недочеловекам, которые осмеливаются мешать победному маршу Германии. Он был обязан приставить ко лбу этой девушки револьвер и спустить курок. Или же, в лучшем случае, пройти мимо.

— Почему?— Милада повторила его вопрос.— Вряд ли Глазенап знал — почему. Он жадно тянулся к людям — не к своей солдатне, а к людям. Но люди смотрели на его мундир и видели в нём врага, и он всё больше и больше чувствовал своё одиночество и внутреннюю опустошённость. Настоящего нациста из Глазенапа не получилось, потому что у него не было иммунитета против человеческих чувств.

— Человека тоже не получилось.

— Он всё боялся, что война никогда не кончится и что его лучшие годы пройдут бесцельно. Он часто жаловался: я не знаю, что со мной происходит. Другие как-то приспособляются. Махнут рукой: а, чорт, ладно! А я? В офицерской школе мне не нравилось, метаться по всей Европе было просто невыносимо. Нигде не успеваешь пустить корни. Единственное моё пристанище — это офицерская столовая, а

они везде одинаковые: столики, вино, портреты Гитлера.

— И он не мог оторваться от этих столиков, вина и портретов Гитлера, — подхватил Бреда. — Война запутала в свои сети всех немцев.

— Я очнулась в такси, — продолжала Милада свой рассказ. — Сказала ему адрес. Он отвёз меня домой. Я проболела почти месяц.

— Глазенап няньчился со мной, давал моей хозяйке деньги на еду и лекарства. Чтобы не обращаться в амбулаторию, где меня зарегистрировали бы как пациентку, он советовался со своим дивизионным врачом, говорил, что у него больна родственница.

— Что может быть хуже болезни и одиночества? Боль живёт независимо от твоего тела и кружит около тебя в какой-то сумасшедшей пляске... Больному нужно только одно — чтобы рядом был человек, который шепнет ласковое слово.

— Разве у вас не было друзей? — Бреда допил пиво и теперь разглядывал дно кружки.

— Никто не приходил. Они видели, что ко мне зачастил нацистский офицер, и решили держаться подальше. Но об этом я узнала уже потом.

— Глазенап говорил, что в бреду я звала Павла. А как только сознание у меня прояснилось, я послала за Павлом хозяйку. Она не нашла его, в комнате жили другие люди. Тогда я решила, что Павел прячется или сидит в тюрьме.

— Павел вёл работу среди студентов? — спросил Бреда.

— Он был наш руководитель. Прирожденный

руководитель. Вы бы с ним обязательно подружались. Павел был сильный, смелый, полный жизни... Я просто не могла поверить, что его уже нет... А Глазенап поддерживал во мне надежду.

— Вот как?

— Он знал, что я терплю его только потому, что мне страшно одной. У меня перед глазами часто вставала картина: Глазенап ведёт на нас своих солдат. Тогда я начинала кричать: „Оставьте меня! Уйдите отсюда!“ А потом просила у него прощения... ведь он спас мне жизнь.

— Я умоляла Глазенапа: разыщите Павла. Вы офицер, вы можете это сделать. Справьтесь в полиции, в гестапо, в генеральном штабе. Но, как выяснилось, ему не пришлось особенно утруждать себя. Достаточно было справиться в морге.

Наступившая темнота окутала весь холм. Ветер с реки подул сильнее. Дрожа от его прикосновения, листья расставались с ветками и медленно падали на землю.

— Глазенап вернулся ко мне после розысков и солгал: „Павел жив, его арестовали“. Он бил себя в грудь. Он человек порядочный. Он вернёт мне Павла, он дойдёт до самого Гейдриха, если это понадобится!

На гравии, усыпаншем террасу, слышались шаги официанта.— Пора закрывать,— сказал он,— и вам тоже следует поторапливаться. Через час уже надо быть дома, а то задержат. С тех пор как убили этого немецкого офицера, нас опять поприжали.

Они спускались вниз по холму в темноте. Бреда поддерживал её под руку. Рассказ Милады пробудил в нём тёплое чувство. Её рана только-

только зажала... Как ему хотелось взять эту девушку под свою защиту.

Бреда был человек сердечный. Чужие страдания глубоко трогали его. Он принадлежал к тому сорту людей, которые сохранили способность искренне плакать и не стыдиться своих слёз. Но Бреда не только плакал, а старался облегчить страдания других людей. И так как опыт научил его, что в одиночку мало чего добьёшься, он пришёл к тем, кто боролся за то же дело. Сердечность Бреды переросла в силу, трезвость ума и мужество.

Он думал о Яношке и Миладе и о том, что случай столкнул его с женщиной, в руках которой находился ключ ко всему этому делу. Но для него эта женщина уже была чем-то бóльшим, чем случайный помощник.

— Тем неожиданнее было для меня известие о смерти Павла,— сказала Милада.— Я узнала об этом в четверг утром, в книжной лавке на углу, где мы с Павлом часто брали книги.

— Продавщица болтала безумолку. Как она рада меня видеть, да где я столько времени пропадала? Я не слушала её болтовни и машинально перебирала книги.

— Но вдруг что-то в её словах резнуло меня. Я переспросила: „Что вы сказали?“

— Девушка повторила ещё раз: „Мы хотим разыскать книги, которые числились за Павлом. Вы не знаете, у кого они? Сразу же после его похорон мы справились...“

— Похорон? Похорон Павла?

— Всё вокруг — книги по стенам, картины, лампы, потолок, — всё закружилось и обрушилось мне на голову.

Улицы, по которым Бреда и Милада шли теперь, были неприглядные, мрачные. Городской пейзаж, пленявший глаз с вершины Петчина, распался на множество невзрачных деталей: подслеповатые фонари, понурые дома, понурые люди.

— Я очнулась у себя в комнате,— продолжала Милада.— Глазенап был тут же, он допытывался: „Что случилось? Вам нельзя было выходить. Вы ещё не окрепли“.

— Во мне словно всё умерло. Откуда я нашла силы заговорить, сама не знаю. Да и сказано было немного.. „Павел умер. Вы мне солгали. Вы убили его“.

— Он вскрикнул: „Милада!“ — Лицо у него стало прозрачное, как стекло,— ни кровинки.

— Глазенап старался оправдаться. Я не давала ему выговорить ни слова. Этот жалкий человек олицетворял в моих глазах всю их смертоносную машину. Он должен был выслушать меня до конца.

— Но это оказалось ему не под силу. По его прыщавым щекам покатились слёзы, и он стал ещё противнее.

Теперь Бреда ясно представлял себе бесславный конец лейтенанта Глазенапа, представлял, как он добирается до края дамбы — пьяный, ослабевший от приступов тошноты. Потом этот силуэт исчез; перед глазами Бреды остались только смутные очертания домов на дальнем берегу Влтавы и позади них темносинее небо.

— Он грозил покончить с собой, если я прогоню его. Тогда я спросила, уж не думает ли он, что с его смертью человечество понесёт большую потерю? Ведь в чём смысл его жизни: расстреливать беззащитную молодёжь, убивать, грабить...

— И он ушёл? — спросил Бреда.

Милада кивнула: — Ушёл. Больше я о нём

ничего не слыхала... А теперь из-за этого Глазенапа погибнет столько людей. Надо что-то сделать. Так нельзя оставлять!

— Что же вы предлагаете?— спросил Бреда.

— Если пойти к Рейнгардту и рассказать всё...— неуверенно начала Милада.

— Неужели вы думаете, что нацисты на самом деле заботятся о правосудии и хотят разыскать убийцу Глазенапа?— горячо возразил Бреда.— У них другие намерения— они пекутся о собственной безопасности и поэтому запугивают нас.

— Нет, надо, чтобы не одни нацисты узнали, как всё обстояло в действительности. А как это сделать? В такой короткий срок!

— Значит, я ничем не могу помочь?— спросила Милада.

Они дошли до реки и, пройдя старую готическую арку, вышли на Карлов мост.

Город был слабо освещён, Влтава бежала чёрная— чернее самой ночи. И вдруг лучи прожекторов, как пальцы чьей-то дрожащей руки, протянулись в небо. Они передвигались с места на место, застывали, переплетались между собой, снова рассеивались и, наконец, сошлись на маленьком сверкающем крестике самолёта. Убедившись, что самолёт свой, нацистский, лучи прожекторов так же внезапно погасли, и над городом снова воцарилась тьма.

Бреда и Милада молча наблюдали за этой игрой.

— Вы и так много сделали,— сказал Бреда, отвечая на её вопрос,— вы доверились мне, дали мне в руки то, над чем стоит поработать. Если бы можно было написать это на небе, чтобы все видели...

Он не договорил.

— Что вы?— спросила Милада.

— Так, пришла одна мысль в голову.— Он прибавил шаг.— А вдруг удастся!.. Вы не рассердитесь, если я не пойду провожать вас? Завтра увидимся.

Милада почувствовала разочарование.— Конечно, нет... идите. Мне недалеко.

Бреда был слишком занят своими мыслями и не обратил внимания на перемену её тона. Он стал совсем другим. Терпеливый, внимательный, деликатный Бреда исчез, уступив место человеку действия, устремившему все свои помыслы в одну точку. По своей давней привычке, он не обошёлся без наставлений:— Будьте осторожны. Не говорите об этом ни с кем. А если... Да нет, не может быть...

— Чего не может быть?

— Если нацисты захотят допросить вас...

— Благодарю за такую заботливость. Я знаю, что делать.

Тогда Бреда понял. Он взял её руки в свои и крепко сжал их.— Милада... Неужели вы обиделись? Простите меня... Ведь я должен что-то сделать, и вы сами этого хотите. Я буду думать о вас.— Он нацарапал несколько слов на клочке бумаги.— Вот мой адрес. Запомните его, а записку уничтожьте. Всегда буду рад вам. Но, пожалуйста, приходите только в случае крайней необходимости.

— Спокойной ночи, друг мой,— сказала она.

Бреда быстро зашагал прочь. Его шаги затихли. Милада долго смотрела ему вслед. Ей стало одиноко, ещё более одиноко, чем до встречи с Бредой.

Волны Влтавы растекались мелкой рябью, огибая сваи моста. К одной из этих свай несколько дней назад прибило труп Глазенапа.

ГЛАВА ПЯТАЯ

День в камере тянется медленно.

Лобковиц не знал, желать ли ему, чтобы время проходило быстрее, или цепляться за каждую секунду, как цепляется утопающий за самый ничтожный обломок, всем сердцем надеясь, что он не даст ему утонуть.

Страшная весть, которую Валлерштейн принёс от Рейнгардта: „Мы взяты заложниками, дней через пять нас расстреляют“, — эта леденящая и страшная весть не сразу дошла до заключённых. Каждому из них это показалось невероятным, в каждом вызвало протест.

Лобковиц засмеялся: — Быть не может! — Прейсингер горячо уверял всех, что в Чешско-моравском угольном синдикате целый штат преданных ему сотрудников только тем и занят, что ведёт переговоры с протектором или телеграфирует в Берлин, для того чтобы освободить Льва Прейсингера и вернуть его в среду живых.

Прокош сказал, что, разумеется, смерть для него старая знакомая, но именно потому, что он уже видел её лицом к лицу, он глубоко уверен, что она не посягнёт на него, да и, собственно, с какой стати ему умирать? В чём его обвиняют?

Слово было за Яношеком. Когда он заметил, что все смотрят на него в ожидании, он почесал в затылке. — Это мне напоминает, — сказал он, — некоего Августина Свободу, у которого было маленькое картофельное поле под Градец-Краловым. Я иногда встречал его по субботам в деревенской пивной, куда он ходил пить пиво и щипать кельнершу. До пятого стакана он щипал её за ляжку, а после пятого — за ягодицу, твёрдую и упругую как раз настолько, чтобы приятно было щипать.

— Разве кельнерша умерла?—спросил Лобковиц, чувствовавший, что рассказ Яношека должен иметь какое-то отношение к смерти.

Яношек покачал головой.—Насколько мне известно, она до сих пор жива и до сих пор ее щиплют, но только уже не Августин Свобода.

— Свободу застрелили однажды утром, когда он копал картофель. Так уж случилось, что его клочок земли находился на опушке леса, который принадлежал барону Воблонскому. В этом лесу охотились на оленей, и пуля охотника сразила Августина Свободу.

— Свобода почувствовал, что он тяжело ранен, и принялся кричать: „На помощь! На помощь! Меня ранили! Умираю!“

— Охотник, сделавший выстрел, вышел из леса и направился к Свободе. Свобода лежал на земле, закатив глаза, и хрипел. Охотник наклонился, приподнял ему голову и спросил: „Ну, ну, любезный, из-за чего такой крик?“

— Свобода узнал по голосу барона Воблонского и ответил: „Простите, ваше превосходительство,—я боялся, что меня подстрелил какой-нибудь паршивый браконьер. Но ваша пуля имеет все права, теперь мне гораздо легче“.

— После чего он скончался, а барон Воблонский продолжал прерванную охоту.

— Ну и что же?—сказал Валлерштейн.

Яношек облокотился на свою койку.—Мне что-то не хочется умирать из-за этого Глазенапа. Я о нём ровно ничего не знаю, кроме того, что пить он был не мастер. И от этого мне ничуть не легче.

Так они откликнулись на весть, принесённую Валлерштейном. Но мало-помалу она дошла до их сознания, и каждый ощутил всю силу её сокрушительного удара.

Теперь они понимали, что им предстоит умереть,—пришёл их черёд, и осталось всего несколько дней, остались считанные часы, даже минуты. Время для заключённых тянулось медленно и всё же летело мимо них с головокружительной быстротой.

Валлерштейн сидел на верхней койке, прильнув к стене, подняв ноги почти к подбородку. На коленях у него лежал блокнот, и он что-то быстро писал.

— Что это вы записываете?—спросил Прокош, занимавший верхнюю койку против Валлерштейна.

— Так, кое-какие наблюдения,—ответил Валлерштейн.

— Над кем?

— Над вами.

— Можно будет прочесть, когда вы кончите?

Валлерштейн повернул голову к Прокошу. Прокош не спускал с него глаз.

— Конечно, нет,—сказал Валлерштейн тоном, не допускающим возражения.

Уязвленный Прокош отвёл глаза.— А вам не кажется, что это несправедливо?

— Нисколько,—отрезал Валлерштейн.— Это научные наблюдения, и глуп тот доктор, который показывает пациенту свои записи о нём.

— Я не ваш пациент.

— Но вы находитесь под моим наблюдением, не так ли?

Лобковиц, который сидел на полу, уставившись в пространство, вмешался в разговор:— А что будет с вашими записями после среды?

— Вы хотите сказать—после того, как мы умрём? Рейхскомиссар Рейнгардт отошлёт их в „Психологический ежемесячник“ для опубликования.

— Мне что-то не нравится эта затея,— сказал Прокош, в волнении перебирая руками края койки.— В конце концов я частное лицо и могу требовать уважения к моим правам. Не желаю, чтобы со мной обращались, как с морской свинкой.

— Не всё ли вам будет равно? Вы же умрёте! Что верно, то верно, подумал Прокош. Не всё ли равно? Но этот Валлерштейн готов выставить мою душу всем напоказ, содрав с неё одежды, если я позволю ему копаться в себе. Сумеет ли он понять меня, и если да, то что он увидит во мне? Свои записи он прячет на ночь под подушку. Попробовать вытащить их... Но он спит так чутко, когда бы я ни проснулся ночью, я знаю, что он тоже не спит, дышит ровно, глаза у него открыты и белки светятся в темноте. Ненавижу его.

Прокош свесил голову с койки.— Если вы хотите узнать что-нибудь обо мне, то почему не спросите? Я охотно объяснил бы.

— Я так и собирался сделать,— ответил Валлерштейн.— Но побоялся, что вы откажетесь отвечать.

— Наоборот. Быть может, тем, кто переживёт нас, будет когда-нибудь интересно узнать, каким был в сущности актёр Прокош. Они знали меня в самых разнообразных ролях. Я играл и Гамлет, и Мефистофеля, и Гануссена, и даже рождественского деда на святках — для детей. Каждой роли я отдавал часть самого себя, от каждой что-то брал, так что понять меня не так просто, могу вас уверить.

— Подите вы к чорту с вашим тщеславием! — сказал Лобковиц от всего сердца.

— Позвольте, я перейду к вам, Валлерштейн. Прокош совершенно игнорировал Лобковица.

Валлерштейн сделал рукой приглашающий жест. Прокош осторожно спустился вниз со своей койки, стараясь не потревожить храпевшего Прейсингера, и влез на койку Валлерштейна.

— Что вы хотите знать?

Валлерштейн пожал плечами. — Просто рассказывайте мне что-нибудь. Что хотите. Важное и неважное. То, что вы считаете пустяками, может дать мне ключ к вашему характеру. Почему знать.

— Я расскажу вам о моём счастье, — прошептал Прокош.

Валлерштейн записал: „Счастье Прокоша — неполноценность и самообман“. Он задумался, спрашивая себя, стоит ли тратить время на то, чтобы раскрыть нехитрую сущность актёра.

— Помню, как будто бы это случилось сегодня, — начал Прокош, — тот вечер, когда Мара вошла в мою жизнь. Я играл царя Эдипа в Берлинском государственном театре. Занавес, наконец, опустился. Меня девять раз вызывали, из них четыре раза меня одного, — и я стоял за кулисами между деревянными остовами греческих колонн, прислушиваясь к праздной болтовне хора.

— И вот появилась она — замечательно красивая, почти мальчишеская голова на гибком теле, серьёзные глаза, упрямый лоб и улыбка, которую я не в силах описать — и детская, и загадочная.

— Ей тогда ещё не было шестнадцати лет. — „Я Мара фон Дубнов, — сказала она. — Замуж за вас я не пойду, но я видела вас сегодня и решила сойтись с вами“.

— Подход, согласитесь сами, был совершенно необычайный, и это меня заинтриговало.

— Но я женат, дитя моё, — сказал я.

— Она постаралась объяснить мне, что, во-первых, она не дитя, а во-вторых, мой брак её совершенно не касается. У неё была очаровательная манера говорить о самом интимном холодно и отвлечённо.

— Она рассказала мне, что принадлежит к одной из самых старинных и знатных фамилий в Богемии. Месяцев десять тому назад она убежала из дому, чтобы стать актрисой. Теперь она учится в Берлинской театральной школе и получила стипендию, так как преподаватели считают её очень одарённой.

— Я был женат. Я думал в то время, что люблю свою жену и действительно был к ней привязан. Нашему браку, однако, нехватало самого существенного. Я прожил с женой четырнадцать лет, и никогда мы не знали полной близости из-за её физического недостатка. Что касалось меня, то я мог бы в любое время удовлетворить свои желания, но считал это не этичным и ниже своего достоинства.

— Вы хотите сказать, что до Мары никогда не были близки с женщиной?— спросил Валлерштейн.

— Да, доктор. И тем не менее я думаю, что у меня была очень полная жизнь.

— Без сомнения,— согласился Валлерштейн, не дрогнув ни единым мускулом,— очень полная жизнь. А как пошли ваши дела с Марой?

— Как нельзя лучше. Мы оба были девственники, так сказать, и оба начинали новую жизнь. Вы знаете, что это не всегда легко, а особенно с такой сложной натурой, как Мара. У нас бывали столкновения и ссоры, и нужно было всё моё терпение и понимание, чтобы это выдержать и преодолеть. Моя жена развелась со мной, когда связь с Марой получила огласку. Я согласился на

это, потому что хотел жениться на Маре, гордился ею, хотел жить вместе с нею.

— А что случилось с вашей женой?— прервал его Валлерштейн.

— Она опять вышла замуж. Через несколько лет. Кажется, она счастлива,— не знаю, право.

Валлерштейн кивнул. — Ну, а Мара,— спросил он,— Мара не хотела выходить за вас замуж?

— У неё были свои предубеждения, свои принципы. Брак есть узаконенное обладание, говорила она. А обладание убивает в человеке чувство. Может быть, это и так. Она требовала свободы — я предоставил ей свободу. Я считал, что самый лучший способ удержать её — это довериться ей без оговорок.

— Нет ни одного мужчины на свете, который не тревожился бы из-за своей возлюбленной. Но глупец тот, кто не умеет скрыть эту тревогу. Она любила бывать с людьми, и не всегда эти люди были мне по вкусу. Я часто брал ангажементы в отъезд,— как бы я мог работать, если бы душа моя не была спокойна?

— Верно, не могли бы,— заметил Валлерштейн.— Но скажите мне,— я никогда не видел вашу жену на сцене. Она так блестяще училась в театральной школе — что стало с её карьерой?

— Я положил этому конец,— резко ответил Прокош.— Это было необходимо, если мы хотели продолжать совместную жизнь. Или то, или другое, или третье — выхода не было, и мне пришлось поставить вопрос ребром. Её увидели представители известной кинофирмы и заключили с нею пробный договор. Она дебютировала в „Пигмалионе“, в роли Элизы Дулитль. Замечательный спектакль. Я пережил тысячу смертей. Я сам актёр, и я знаю. Вы выступаете, скажем,

в роли инженеру. Первый актёр целует вас. Есть такой театральный поцелуй, на вид он кажется горячим, а на самом деле едва касается вас. Но ведь они это проделывают вечер за вечером, а первый актёр считается привлекательным, красивым, сильным...

Он засмеялся.

— Нет, я не в силах был это выносить. Я не желал страдать хотя бы от одной мысли о возможной измене. В конце концов она бросила сцену.

— Так вот взяла и бросила?— спросил доктор.

— Но ведь она любила меня, не так ли? Она хотела видеть меня счастливым. В каждом моём успехе была доля её участия. Когда меня вызывали под занавес, это было оправданием её жертвы—я ведь понимаю, что это была жертва с её стороны!

— Какая женщина!—восхитился Валлерштейн.

— Вот именно—какая женщина! Она была во многих отношениях удивительная женщина. Но иногда ей нравилось мучить меня. Помню, однажды она сказала мне... Она любит меня, сказала она, больше всего на свете. Однако она позволила другому любить себя, потому что он ей нравится. Я знал, что это неправда. Она не могла так поступить.

— И вот я, который никогда не пил, ушёл в этот день из дому и напился до совершенного бесчувствия. Меня подобрали где-то на улице и отвезли домой. Я напился не из боязни, что она сказала правду, а придя в отчаяние от мысли, что в душе у неё сидит бес и заставляет её так мучить меня.

— Когда я пришёл в себя, она сидела у моей постели и со слезами просила у меня прощения за то, что солгала мне, она и сама не понимает,

зачем солгала, может быть, для того, чтобы испытать мою любовь.

— Я взял её за руку и сказал: „Мара, я знаю, что ты сказала неправду. Но если ты в самом деле поступишь так, как говорила, я не смогу больше жить. Я покончу с собой“.

Прейсингер, плохо спавший в эту ночь, всё ещё не просыпался. Но Яношек и Лобковиц невольно слышали многое из хвастливого рассказа Прокоша, так как актёр был просто не в силах всё время сдерживать голос до шопота...

Для Яношека многое было неясно да и вообще ему было не очень интересно слушать. Он великолепно чувствовал анекдотическую сторону жизни. В доброе старое время он был бы весёлым Уленшпигелем, странствующим из деревни в деревню и потешающим своими рассказами круглоголовых ребят и беззубых стариков и старух, — безвестный поэт, сын народа, оставшийся в своей среде. Яношек не мог не удивляться запутанной жизни таких сложных натур, какими, повидимому, были этот Прокош и его жена Мара. Хоть бы я сто лет подряд старался, мне ничего такого не выдумать; вздыхал он про себя, глубоко опечаленный бедностью своего жизненного опыта и воображения.

Была какая-то ирония в том, что только вмешательство гестапо столкнуло его с такими людьми и помогло ему расширить свой кругозор.

Но о чём ещё было беспокоиться этим Прокошам, Валлерштейнам и Марам? Совершенно не о чем, кроме своей возвышенной особы — в этом-то, верно, и вся суть.

Лобковиц, слушая Прокоша, терзался сложными чувствами. Сильнее всего в нём кипела

злоба на самодовольство актёра. Лобковиц думал, что ему лучше известно то, что пережила Мара. Он видел её страдания.

Он вспомнил роковые дни перед Мюнхеном, когда он вместе с миллионами одетых в защитную форму чехов готовился к решительному бою, сулившему многим из них смерть. Он поспешил надеть мундир лейтенанта запаса, ещё пахнувший нафталином, и помчался в казармы; а через час войска были уже на пути к Вильсоновскому вокзалу в Праге, откуда поезд должен был доставить их на северную границу.

Там, на вокзале, он встретил Мару. Она стояла за столиком и раздавала солдатам кофе и пончики со сливовым вареньем.

В эти дни все были словно наэлектризованы. Преграды, раньше отделявшие людей друг от друга, теперь рушились. Лобковиц увидел Мару и сразу понял, что они нераздельно принадлежат друг другу. Такое понимание возникает между людьми в дни сильных душевных волнений.

Мара вышла из-за столика. Лобковиц только кивнул ей — у него так пересохло в горле, что он был не в состоянии сказать ни слова. Он взял её под руку, и они пошли по платформе мимо битком набитых вагонов бесконечно длинного поезда. Жёны и матери обнимали своих мужей и сыновей, отчаянно цепляясь за них, прижимая к их плечам и рукам.

— Ты должен вернуться, — ответила Мара. — Обещай!

— Я вернусь, — обещал он. — Не отлита ещё пуля, которая убьёт меня.

Прокош все ещё продолжал разглагольствовать в самодовольном упоении, рисуясь перед Валлерштейном. Лобковиц чувствовал, что в нём натянут каждый нерв. Он закусил губы. Нет, он ни-

чего не скажет. Он будет хранить их общую с Марой тайну до тех пор, покуда пуля не заставит его умолкнуть навеки. Пускай Прокош так до конца и живёт в мире блаженных снов, который он сам для себя создал.

— Когда же она согласилась выйти за вас замуж?— спросил Валлерштейн.

— Это стало необходимо. Этому потребовало моё положение, когда я подписал договор с Государственным театром в Праге. Директор поставил условием, чтобы я узаконил мои отношения с ней.

— Мара сначала отказывалась. Но я объяснил ей, что от этой формальности зависит моя карьера.

Для Лобковица это было новостью. Так, значит, Мара пыталась отстоять хоть этот последний признак своей свободы— и, разумеется, без успеха, ибо шаг за шагом она подчинила Прокошу всю свою жизнь и уже не знала, где остановиться.

Но для чего она это делала, чорт возьми? Что она в нём нашла?

Лобковиц возвратился из кампании, которая так и не началась. Вместе со своим отрядом он проделал обратный путь по прекрасным долинам Северной Чехии, оставив пулемётные гнезда и блиндажи нетронутыми. По пятам за ними шли одетые в серое немцы, чванясь победой, которая досталась им даром.

Угрюмо возвращались люди домой. Маршируя к границе, они пели всю дорогу, шутили, занимая позиции,— теперь они тащились молча, кое-как перевесив винтовки через плечо, и вещевые меш-

ки казались им тяжёлыми, словно набитыми свинцом или камнями. Офицеры боялись подтягивать солдат — они чувствовали, люди знают о том, что они преданы выше стоящими.

В Праге все говорили пониженным голосом, словно только что вернулись с похорон.

Тяжело было встретиться с Марой при таких обстоятельствах, — любя, человек хочет прямо смотреть в глаза любимой, а они не смели поднять глаз.

Она приняла его в свои объятия, как принимают раненого, с нежностью, теплотою и заботой. Боль, накопившаяся в нём, разрядилась. За это он будет вечно ей благодарен.

— А потом она забеременела? — спросил Валлерштейн.

— Нет, — сказал Прокош, — мы были женаты почти два года, когда это случилось. Я заметил в ней перемену в январе этого года. Вы знаете, какими становятся женщины в этом положении, а Мара была, кроме того, так нервна. Её неуравновешенность дошла чуть не до помешательства. Она была совсем больна и пыталась скрыть это от меня.

— Ты беременна? — Она совсем не подпускала меня к себе. — Я ведь не слепой, — сказал я ей.

— Сначала она отпиралась. Женщины странный народ.

— Я сказал: — Дорогая, я хочу помочь тебе. Я в тебя так верю, так горжусь тобой, почему же ты не хочешь мне довериться?

— С ней началась настоящая истерика.

— Я не хочу рожать! — закричала она. — Я не перенесу этого! Я умру, непременно умру.

Валлерштейн покачал головой.— Так она знала, что умрёт?

— Разумеется, нет. Откуда она могла знать? Это были только слова. Но у меня сжалось сердце.

— Это будет красивый и талантливый ребёнок, наш ребёнок,— сказал я Маре.

Прокош вдруг повернулся к Лобковицу.

— Лобковиц, вы слушаете?

— Вы говорите достаточно громко,— ответил Лобковиц сдавленным голосом.

— Я только что вспомнил,— продолжал актёр,— это как-то ускользнуло из моей памяти... столько произошло за это время,— ведь вы просили меня встретиться с вами в кафе „Манес“ для того, чтобы поговорить о чем-то, касающемся ребёнка?

Лобковиц, застигнутый врасплох, пробормотал что-то невнятное.

— Мы так и не успели поговорить,— настаивал Прокош.— Нас арестовали прежде, чем мы начали этот разговор. Что вы хотели сказать мне?

Валлерштейн давно ждал той минуты, когда Лобковиц будет втянут в разговор. Между этими двумя людьми существовала скрытая вражда, которая, он знал, непременно должна была прорваться наружу.

Лобковиц боролся с собой. Его неудержимо тянуло сорвать завесу, показать актёра во всей его пагубной опустошённости, оглушить его правдой, смешать с грязью, как деспота и осквернителя красоты. Но он стиснул зубы. Он до боли вонзил ногти в мякоть ладоней.

Когда Мара умирала, он сидел у её постели, терзаясь угрызениями совести, проклиная богов за то, что они позволили лучшему из своих созданий погибнуть в таких мучениях.

— Милый, прошептала она,— обещаю мне...

— Всё, всё, что хочешь,— ответил он.

— Пускай Карел Прокош никогда — ты слышишь меня? — никогда не узнает о нас, о нашей любви. Его я тоже любила, пойми, очень любила. Не так, как тебя, милый, но если он узнает, это его убьёт.

Лобковиц сидел рядом с Марой. Она истекала кровью. Он видел, как её лицо становилось всё более и более прозрачным, как проступали тоненькие синие жилки на её нежных висках.

Мара с трудом повернула к нему голову.

Шум переполненной больничной палаты захлёстывал их — стоны больных, торопливые шаги сиделок и служителей, стоны рожаящих женщин.

Рука Мары потянулась к нему, бессильно, умоляюще. Он любил эту руку, знал, как она ласкает.

— Поклянись, милый, поклянись мне...

— Я буду оберегать его, как ты оберегала,— пообещал Лобковиц.— Тебе легче, да?

— Вы не ответили на мой вопрос,— не отставал Прокош. Догадка, мелькнувшая у него в мозгу, приобретала всё больше силы, по мере того как затягивалось молчание Лобковица.

Среди этого молчания проснувшийся Прейсингер потянулся, зевнул и спросил, который час.

— Тише! — прикрикнул Прокош. И опять обратился к Лобковицу: — Вы не могли забыть. Вы были так взволнованы, когда приглашали меня в кафе „Манес“. Я хочу знать.

— Это неважно, это совсем неважно.— Лобковиц теперь успокоился и вполне овладел собой.— Я собирался говорить с вами о женщине, кото-

рую я знаю, она была бы прекрасной кормилицей для ребёнка и отлично ходила бы за ним.

— Но я уже нанял кормилицу!

— Я не знал, очень жаль.

Заговорил Прейсингер.— Вы хотите сказать, что оба попали в эту историю из-за какой-то кормилицы? Если б я сам не сидел в этой дыре, я бы над вами посмеялся. Я, во всяком случае, очутился здесь из-за сумасбродства собственной жены!

Яношек молчал. Он чувствовал что атмосфера сгущается: откуда грянет гром, он ещё не знал, но что он грянет, не сомневался.

Этот доктор Валлерштейн, думал он, будет всё спрашивать и спрашивать, и колоть словами, как булавками, и дёргать людям нервы, доводя их до иступления. Откуда у него такая власть над ними? Почему они позволяют играть собой? Зачем отдают ему последние дни своей жизни? Нет, этот Валлерштейн не доктор, думал Яношек. Доктор должен лечить, а не растравлять раны. Меня-то он не тронет. Пусть только попробует. Я ему расскажу парочку таких анекдотов, что он разом уймётся.

Ну вот, опять за своё!

— Какие же вы приняли меры?

— Она хотела сделать аборт,— ответил Прокош.— У нас было много друзей, среди них врачи, которым мы могли довериться.

— Грустная история. Никто из них не посмел ей помочь. Врачи опасались не только за свою практику, но и за свою жизнь. Ни просьбы, ни деньги не помогли.

Прокош явно наслаждался своим рассказом. Он разыгрывал его. В хорошо поставленном голосе звучали трагические ноты — он держался

торжественно, как и подобает истинному участнику трагедии.

— Мы прошли весь долгий путь к Голгофе,— сказал он.—И я не раз спрашивал себя и Мару: к чему вся эта мука? Неужели ты так ненавидишь этого ребёнка?

— Вот они, женщины! — вмешался Прейсингер. Если уж речь зашла о женщинах, то у него богатый опыт с собственной женой.— Моей Кароле, например, в один прекрасный день приходит блестящая мысль, что ей надо заняться живописью. Ну, что ж, говорю я, живопись так живопись. Это лучше, чем играть на рояле. Меньше шума. Она и на рояле играла целый месяц, дошла уже до „Веселого крестьянина“ — отвратительная вещь. Нашёлся и учитель живописи, очень дорогой,—такой, знаете ли, футурист, весь в перхоти.

Он расхохотался и никак не мог остановиться.

— Прихожу как-то домой, она показывает мне свой последний этюд. Оранжевые треугольники и фиолетовые круги, в углу зелёный скелет рождественской ёлки, а над этим — какие-то брюхатые серые штуки. „Что это такое?“ — спрашиваю. А она и отвечает: „Неужели ты сам не видишь? Железная дорога в горах“. Я всё-таки кое-что смыслю в железных дорогах, у меня их две, но, убей меня бог, если эта картина хоть сколько-нибудь была похожа на железную дорогу. Потом у неё пропал интерес к футуристу, и она бросила живопись. Вот они, женщины! Что вы на это скажете, доктор Валлерштейн?

— Мои приёмные часы кончились,— терпеливо объяснил Валлерштейн.—И я желал бы довести до вашего сведения, что в этой камере мы все равны. Среди равных принято уважать чу-

жую беседу и не прерывать её не идущими к делу замечаниями.

— Хорошо, хорошо,— ответил Прейсингер миролюбиво, потому что головная боль у него прошла.— А мне всё-таки думается, забавная была штука эта её беспредметная живопись. Хотел бы я знать, что она теперь делает без меня, она такая беспомощная в практических делах. Вечно у неё неприятности с прислугой и знакомыми.— Его голос упал и перешёл в невнятное бормотанье.

Валлерштейн торопил рассказчика:

— Значит, Маре пришлось родить ребёнка,— констатировал он.

— Ей пришлось родить ребёнка,— торжественно подтвердил Прокош.

Лобковиц опустил голову, боясь, что выражение лица выдаст его. В эти мучительные месяцы он видел, как Мара изводится и страдает, он страдал и сам оттого, что решительно ничем не мог помочь ей.

Раз, всего только раз, он попробовал уговорить Мару:— Теперь ты должна уйти от Прокоша. Ты носишь в себе живое свидетельство лжи, на которой построена твоя жизнь. Ребёнок будет жить, будет расти. Если ты не уйдёшь от Прокоша, ты взвалишь на себя непосильное, нечеловеческое бремя.

Она отказалась. Она сказала, что любит Прокоша — он добр, великодушен, доверчив, он великий артист; бросить его, значило бы его убить, на это она никогда не решится. Нет, никогда.

Лобковицу в тот раз захотелось спорить с нею, разбить её представление об актёре, но он

слишком считался с ней. Да и было бы глупо унижать Прокоша, когда она верила в него как в актёра.

И вот теперь, сидя в одной камере с Прокошем, Лобковиц спрашивал себя, что она нашла в этом человеке? В этом тщеславном эгоисте, в этой ходячей декорации? Ради такого ничтожества столько мучений и печальная смерть Мары!

Почему? думал он, и не мог найти ответа.

— Когда пришло время, я отвёз её в городскую больницу,— рассказывал Прокош.— Там было ужасно. Тесно и грязно. Нацисты забрали под своих раненых почти все лечебницы, нам остались только самые старые здания с плохим оборудованием. Врачи, мне кажется, делали всё, что могли.

— Больше суток она мучилась родами. Эта приёмная с серыми облупившимися стенами, с разрозненными ветхими стульями сводила меня с ума.

— Лобковиц тоже был там. Я тогда встретился с ним впервые. Он выказал большое участие, и это меня тронуло.

— Вы были другом Мары?— спросил Валлерштейн Лобковица с настойчивостью прокурора.

Но Лобковиц не успел ответить. Прокош уже рассказывал дальше:

— Бедная Мара, она была одна. В одиночестве ей пришлось встретить лицом к лицу величайшее испытание в жизни женщины. О, наша цивилизация! Я бы хотел... у некоторых первобытных племён есть такой обычай: отец во время родов не отходит от матери, держит её, старается вдохнуть в неё новые силы, разделяет с ней её страдания...

— Вы бы этого хотели!— презрительно крикнул

Лобковиц. Его нервы не выдержали. Воздвигнутые им барьеры рухнули.

— Что вы знаете о боли и страданиях, что вы знаете о том, сколько ей пришлось перенести? Вы, которого она оберегала и ставила на пьедестал, жертвуя собою!

Уже много дней он с трудом сдерживал себя, чтобы не проговориться, не сбросить с плеч добровольно возложенное на себя бремя. Он назначил встречу с Прокошем в кафе „Манес“ для того, чтобы сказать ему правду, как можно деликатнее, но всё же сказать. Ради ребёнка Мары эту правду нельзя было скрывать. Они встретились, сидели за столиком, говорили о различных вещах — о, как трудно нанести удар чужой душе!

Арест поразил их своей неожиданностью, но принёс и облегчение. Он помешал Лобковицу сказать правду, по крайней мере в то время.

Но с каждым часом, проведенным в камере, искушение становилось всё сильнее. Наблюдать Прокоша вблизи, слушать его актёрскую декламацию, быть свидетелем его лживого хвастовства — это дёргало нервы, сверлило мозг, ожесточало сердце.

Все чувствовали приближение неизбежного. Яношек, в критические минуты человек действия, уже прикинул на-глаз силу Лобковица и Прокоша. Он пришёл к выводу, что в случае надобности отлично справится с ними обоими. Он слишком хорошо знал зверские повадки тюремных надзирателей, а тем более нацистских, чтобы допустить врагов до стычки. — Вы когда-нибудь сидели в одиночке? — спросил Яношек. — Я слышал, у них здесь есть такие стоячие гроба, они отлично могут нас туда засадить на остальные дни. Уж лучше не портить себе настроения

и пользоваться теми удобствами, какие есть. Так, что ли?

Валлерштейна терзали сомнения. Эксперимент проходил необыкновенно удачно, подопытные животные колотились головой об стену и продолжали бы колотиться до тех пор, пока не свалились бы с ног от изнеможения. Но разве ему это нужно? Жалкий, обманывающий себя Прокош, который держится только тем, что упрямо внушает себе, будто бы жизнь его не лишена была смысла; и этот юнец, нервы которого обнажены и натянуты до предела под влиянием каких-то обстоятельств, ещё неясных для доктора. Великая жалость вдруг нахлынула на Валлерштейна. Неужели мы все душевнобольные? Что заставляет нас так жестоко мучить друг друга? Мы умираем, думал Валлерштейн, как раз в том столетии, когда человечество впервые научилось заглядывать в душу, и то немногое, чему мы научились, только подтверждает, что мы не знаем ровно ничего. Я бессилен, я взялся за дело, которое не смогу довести до конца, к которому боюсь даже приступить, а времени осталось так мало.

— Господа!— сказал он, силясь придать своему голосу твёрдость, которой у него не было.— Это чисто академический спор, тут нет ничего личного. Так мы и должны к этому относиться!

Но Прокош, смертельно бледный, выпрямился на койке, судорожно сжимая пальцы. Дрожащим голосом он заявил:— Я не желаю, чтобы на меня клеветали! Память Мары священна! Да, священна! У этого человека грязная душа, я не желаю, чтоб он грязнил память Мары!

— Я грязню её память! Да ведь вы сами только это и делаете всё время!— уничтожающе ответил Лобковиц.— Но это ещё не самое худшее.

К чорту воспоминания, мёртвых не оживить. А вот её жизнь! Её жизнь, испорченная вами!

Прокош засмеялся принуждённым смехом. Слова обвинения звучали всё громче, росли, как прилив, грозя поглотить его, потому что Прокош лучше всякого другого сознавал в глубине души правду этих слов.—Вы молокосос,—сказал он высокомерным тоном,—я вижу вас насквозь! Вы думаете, я не знаю, почему вы пытаетесь забросать грязью мою любовь, мою жизнь? Вы думаете, я не знаю, что вы были одним из многих, кто искал благосклонности Мары,—Мары, которая стояла настолько выше вас, что вам не дотянуться даже до её ног, не вывихнув вашей грязной душонки! Я это видел, я терпел это, я смеялся, когда Мара кокетничала с такими, как вы.

— Это, однако, не даёт вам никакого права, слышите, никакого права даже говорить о ней. Пускай я умру, но я умру с гордостью, и до самой смерти буду защищать Мару.

Лобковиц низко опустил голову. Представив себе умоляюще протянутую руку Мары, он пытался сдержаться. „Пусть он никогда не узнает, слышишь, никогда!“

Но это уже слишком! Как можно это снести? Разве она не живёт во мне? Более живая, более реальная, более близкая мне, чем тот иллюзорный, лживый образ, с которым носитя Прокош. Разве я могу принести в жертву свою возлюбленную? И кому? Такому человеку, как вот этот?

Только бы он замолчал, только бы дал мне собраться с силами и сдержаться, но нет, он опять говорит!

— Я тот, кого она любила!—провозгласил актёр. Он стал перед Лобковицем, лицом к лицу.

— Если вам хочется лгать, то почему же вы

молчите? Говорите, и я вобью ваши лживые слова обратно вам в глотку!

„Пусть умрёт спокойно...“ А я разве умираю спокойно? Почему я должен нести это бремя, почему я должен оберегать Прокоша? Он убил Мару. Он убил мою возлюбленную. Посмотрите, как он шумит и бахвалится, а ведь почва ускользает из-под его ног.

Прокош торжественно простёр руки, словно заклиная. Медленно и с пафосом он произнёс:

— Я, я хотел быть с ней в самый тяжёлый час...

— Перестаньте!— просил его Лобковиц.

— ...держат её, покоить у себя на коленях...

— Господа!— крикнул Валлерштейн.

— Вдохнуть в неё силу, разделить с ней её муки...

Яношек, став позади Прокоша, приказал:

— Помолчите-ка, ну!

Лицо Прокоша побагровело, глаза налились кровью, он говорил свистящим шопотом. Он бросил в лицо Лобковицу:— Я! Я один!

Лобковиц не выдержал. Он чувствовал, что в нём теперь два человека: один отмечает все ощущения данной минуты— горячую волну крови, в быстром беге опрокинувшую все преграды, чувство блаженного освобождения; а другой смеётся,—этот короткий резкий смех повис в воздухе.

Прокош в иступлении, свойственном слабым натурам, набросился на Лобковица и схватил его за шею. Лобковиц почувствовал, что пальцы актёра впиваются ему в горло. Прокош подскакивал на месте, как дервиш, не ослабляя своей хватки.

— Вы мне не верите?—выл Прокош.—Вы мне не верите?

Всё это произошло буквально в долю секунды.

Яношек с силою сжал руки актёра и оторвал его пальцы от горла Лобковица. Прокош боролся, стараясь освободиться.

— Вы мне не верите?— хрипел он.

И на вопрос Прокоша Лобковиц ответил прямо, почти не повышая голоса:— Нет, потому что я отец ребёнка Мары.

Гром грянул.

Прокош затих. Он перестал вырываться. Вялый, ослабевший, он бессильно повис на руках Яношека. Яношек осторожно уложил актёра на койку, не снимая руки с его плеча. Он боялся снять руку, боялся, что актёр без поддержки опадёт, как проколотый воздушный шар.

Валлерштейн помрачнел. Произошло именно то, чего он опасался. Он чувствовал, что и на нём уже сказывается атмосфера камеры и ожидание смерти. Я не могу довести дело до конца, подумал он. Наблюдения, научная работа, записи, посмертная слава! Я стал сам не свой—ведь эти люди, озлобленные, страдающие, надломленные, полные страха люди,—они мои товарищи, и я один из них! Боже, не дай мне пасть духом, не дай мне ослабеть!

— Прокош,—сказал он,—послушайте меня. Я знаю жизнь, я испытал её со многих сторон. Вы жили по-своему, и вы были счастливы. Что из того, что ваше счастье было иллюзией, как вы обнаружили теперь. А разве бывает иначе? Ваша гордость оскорблена—это больно. Но все эти годы вашей любви, все радостные минуты—их никто не может отнять. Имеет значение только ваша иллюзия. Не так важно, какая на самом деле была Мара, важно, что вы в ней видели. Этого вы и должны держаться.

Прокош смотрел себе под ноги. — Оставьте меня в покое, — сказал он. — Не трогайте мёртвых.

От его бравады не осталось и следа. Распад его личности произвёл на всех гнетущее впечатление.

Однако не с чувством жалости смотрел Лобковиц на Прокоша. Скорее это было отчуждение. Мёртвых не жалеешь, они находятся где-то в другой плоскости. Он вообще ни о чём не жалел. Он чувствовал себя легко, освободившись и очистившись от гнёта верности Маре.

Многого ли стоила такая верность? Мара жила в страхе, умерла в страхе и передала этот страх ему. Этому страху он и был верен.

И вдруг Лобковица словно озарило, и он понял, почему Мара не ушла от Прокоша, осталась с ним, загубив свою жизнь и любовь к Лобковицу, и юность, и силу. Не Прокоша она оберегала, а самое себя.

Она разгадала актёра и знала ему цену. Но, построив свою жизнь на заблуждении, отдав свою молодость, свою сценическую карьеру, свою жизнь этому ломаче, этой пародии на человека, она не желала сознаться в собственном поражении, словно азартный игрок, который ставит монету за монетою на один и тот же номер, которому не суждено выиграть.

Она тоже была тщеславна и горда, и боялась взглянуть в лицо правде. И вот, она создала себе образ Прокоша в соответствии с тем образом, который она увидела девочкой шестнадцати лет в царственной фигуре Эдипа. Оберегая этот образ, она оберегала себя самое. Стараясь оправдать его, она подыскивала оправдание себе.

Почувствовав в себе эту новую ясность взгляда, Лобковиц ещё неудержимее восставал против своей судьбы. Узнав то, что он теперь

знал, он ещё сильнее хотел жить. Теперь, достигши зрелости, он должен был лишиться этой более зрелой и полной жизни.

Яношеку он сказал:— Жизнь будет итти и без нас. Но как? Куда? Знаете ли вы это?

Яношек посмотрел на него. Недоумение в его глазах сменилось глубоким товарищеским пониманием.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Дело Глазенапа в эти дни было почти единственной темой разговоров в офицерской столовой 43-й пехотной дивизии. На капитана Патцера и лейтенанта Маршмана, особенно на капитана, смотрели как на героев, которые храбро встретили коварного и злобного врага, едва избежав при этом ужасной гибели.

43-я дивизия была новая, сформированная уже при нацистах, и среди её офицеров было довольно много пожилых резервистов, которые страдали различными болезнями; недостаток воинской доблести они старались возместить громогласными тирадами в нацистском духе и стратегическими разглагольствованиями. Боевых традиций у дивизии не было, она выступала только против безоружного населения в оккупированных странах, зато и расправлялась с ним без пощады. 43-я дивизия гордилась тем, что представляет собою новый порядок, и, не жалея сил, работала для его установления.

— Месяца через два, самое позднее, мы будем в Москве,— говорил лейтенант Маршман, вытирая жирные после супа губы.— А это означает полное господство над Европой. Англия? Маленький островок, господа, который мы возьмём голодом, а не то вышлем парашютный десант

занять лондонское Сити и поугатать хорошенько банкиров.

Майор Граутгоф, положивший себе на тарелку порядочную порцию телячьей грудинки, выразил сомнение:— С военной точки зрения вы, может быть, и правы. Но не забывайте, что от такого завоевания до господства над страной и до овладения её материальными ресурсами — немалое расстояние, я бы даже сказал, очень большое. Мы смотрим на карту, и у нас голова кружится от множества оккупированных стран и от масштаба захваченной территории. А что мы от этого получаем, после того как снимем сливки, вывезем товары из магазинов, продовольствие со складов, золото из банков? Тысячу неприятностей, господа, и ненависть населения. Кто из вас за последнее время выходил из дома ночью один?

Никто из офицеров не мог сказать, что выходил, особенно после смерти лейтенанта Глазенапа. Поэтому все молчали, слышен был только стук ножей и вилок о тарелки да чмоканье жующих ртов.

— Англичане,— продолжал майор,— хотя теперь это вырождающаяся, упадочная нация,— в своё время действовали очень неглупо. Пёстрыми стеклянными бусами, раздачей титулов и цилиндров, тишком да ползком они сумели проложить себе дорогу к мировому господству. Они внушали покорённым народам, что быть покорённым даже приятно, что это большая честь — стать подданным английского короля — и, только утвердившись во власти, показывали бронированный кулак. Хитро, зато выгодно.

— Мошенники и банкиры! — пояснил толстяк, младший лейтенант, командовавший отрядом тяжёлых пулемётов. — Поэтому мы с ними и вою-

ем,—добавил он, очень довольный собою и тем, как он разделался с этим вопросом.

Капитан Патцер откашлялся, готовясь произнести нечто значительное. Офицеры почтительно смотрели на него, героя кафе „Манес“.

— Дисциплина! Дисциплина!— начал он.— До службы в армии я был почтовым инспектором первого класса. Служил много лет. Мы знаем, что такое дисциплина. Мы с этим родились. Это чисто немецкая черта, она нашла своё высшее выражение в идеалах нашего фюрера. Но эти люди, которых мы победили,— вот потому-то мы и победили их,— что они знают о дисциплине? Мы были в Норвегии, в Польше, во Франции, а теперь мы в Праге; мы видели их— везде одна и та же картина. Распушенность, расхлябанность, некультурность и озлобленность. Дисциплины,— вот чего им нехватает. У англичан, майор, у англичан было время построить свою империю— сотни лет. А нам надо это сделать в недели и месяцы. Значит, мы должны приучить этих людей к дисциплине. Если мы расстреляем каждого десятого, остальные девять будут работать на нас с величайшим удовольствием. А если этого будет мало, мы опять расстреляем каждого десятого, и так далее, до тех пор, пока они не приучатся.

— Когда расстреляют ваших заложников?— осведомился толстый лейтенант, кивая официанту, чтобы тот налил ему ещё прозрачной чешской сливовицы.

— Дня через два,— сказал Патцер.— Рейхско-миссар Рейнгардт— вот это, по-моему, человек! Никакой волокиты, никакой путаницы, быстрота и натиск! Он просил меня зайти к нему сегодня, так что я из первых рук узнаю все подробности о деле нашего несчастного товарища.— Он откинулся на спинку стула и сложил салфетку

с таким равнодушным видом, как будто беседа с руководящим чиновником гестапо была для него самым обыкновенным делом.

Маршман, которого не просили зайти к рейхс-комиссару, почувствовал себя уязвлённым.— Он, верно, спросит вас, как это вы позволили Глазенапу напиться до потери рассудка, если знали, что бедняга совсем не переносит спиртного.

Но капитан Патцер был выше мелочей такого рода. Он встал и, поклонившись майору, сказал официанту:— Кофе я буду пить по возвращении.— Потом вышел из столовой, расправив плечи, выпятив грудь, с осанкой победителя.

Рейнгардт сидел за своим столом. Он промышал что-то похожее на „хайль Гитлер“. Капитан остановился у затворившейся за ним двери, не зная, что ему дальше делать—подойти ближе или подождать, пока его пригласят садиться. Он заметил, что Рейнгардт испытующе смотрит на него; глаза комиссара нащупывали его, как пальцы.

Около минуты прошло в напряжённом молчании. Наконец Рейнгардт жестом пригласил капитана занять место перед столом. Яркий дневной свет падал прямо в лицо капитану, и он растерянно моргал. Голова Рейнгардта вырисовывалась тёмным силуэтом на фоне окна.

Что за олух! подумал Рейнгардт. Однако ему было известно, что от дурака нередко бывает легче добиться важных сведений, чем от умного. Он решил проявить снисходительность к бедному капитану, но в умеренной степени. Если он чересчур перепугает Патцера, тот замкнётся, как устрица.

— Мне сообщили, что вы оказали нам немалую помощь,— начал Рейнгардт.

Патцер церемонно поклонился. Он чувствовал, что потеет, но не смел вытереть лица.

Рейнгардт слегка улыбнулся, насмешливо и поощрительно.— Вы хорошо знали лейтенанта Глазенапа?

— Не хуже, чем другие, я думаю. Это был прекрасный человек...

— Без общих мест, прошу вас. У нас для этого нет времени. Скажите мне, как вы устраниваетесь с женщинами?

— Вы хотите знать...

Рейнгардт подождал немного.— Ну, что же вы! Ведь мы не ангелы, надеюсь? Ха-ха!

Патцер заискивающе улыбнулся.

— Дома терпимости главным образом?— подсказал ему Рейнгардт.

— Да, конечно! У нас тут есть один очень приличный, только для офицеров. По вторникам и пятницам...

— Меня не интересует ваше расписание. Глазенап тоже ходил с вами?

Патцер в раздумьи потянул себя за ухо.— Насколько помню, один раз он ходил с нами, в первые дни нашего пребывания в Праге. А после этого он как-то уклонялся.

— Гомосексуалист?

— Помилуйте!

— Тут нет ничего позорного. Война — это мужская профессия. Вы лишены женского общества,— в нашей работе приходится вникать во всё.

— Я уверен, что нет.

— Я так и думал,— сказал Рейнгардт.— Мне только хотелось, чтобы вы это подтвердили. Теперь сообщу вам по секрету. В жизни вашего приятеля Глазенапа была женщина, и я не могу себе представить, как он ухитрился совершенно скрыть это от вас.

— Здесь, в Праге? — спросил Патцер. — Ну, знаете ли, в тихом омуте черти водятся! — В его голосе звучали зависть и удивление.

— Я был бы вам очень обязан, если бы вы постарались припомнить какие-нибудь подробности, которые помогли бы нам разыскать эту женщину. Незначительные происшествия, случайные намёки, — наша работа, капитан, похожа на решение головоломки: часто нам не хватает одной только подробности, чтобы сложилась целая картина.

Патцер был неимоверно польщён тем, что его пригласили дополнить эту недостающую подробность. Его лоб наморщился, рот скривился от напряжённого усилия мысли.

Рейнгардт очень удачно выбрал Патцера в качестве осведомителя. Голова бывшего почтового инспектора вмещала сверхъестественное количество подробностей, — долголетние навыки сортировки писем, запоминание почтовых расценок и расстояний, инструкций и приказов принесли богатые плоды.

Патцер вдруг хлопнул себя по колену. — Есть такая церковь, — сказал он, — не очень старая, но и не новая, в одной из боковых улочек на Вацлавской площади...

Рейнгардт не пошевелился. Только по блеску его маленьких глазок было заметно, что он внимательно слушает.

— Мы как-то проходили мимо, Глазенап и я; мы смотрели на похоронную процессию. Бедные похороны — два монаха, жалкий катафалк, запряжённый тощими лошадьми, увядшие цветы — и тут Глазенап вдруг ушёл. Я его окликнул, и он отозвался, что ему надо к кому-то зайти, или что-то в этом роде.

Из ящика стола Рейнгардт достал карту Праги и разложил её на столе. Его наманикюренный палец осторожно прошёлся по линиям улиц, повернул направо и остановился на маленьком крестике.— Церковь святого Стефана?— спросил он.— Да! Она самая!— сказал Патцер с облегчением, словно студент, с успехом сдавший трудный экзамен.

— Не припомните ли чего-нибудь ещё?

Патцер напряжённо думал, но, несмотря на все усилия, не мог припомнить ничего, имеющего отношение к делу.

— Хорошо,— Рейнгардт встал,— это, может быть, имеет значение, а может быть, и нет,— во всяком случае, мы проверим. Вы сделали всё, что могли. Благодарю вас.

Патцер был счастлив. Поднявшись с места, он пожал сухую руку Рейнгардта, похожую на птичью лапу.

— Не за что! Вы не знаете, как я рад, что мог помочь делу отмщения подлым убийцам нашего дорогого лейтенанта Глазенапа...

Он бы долго ещё болтал, но Рейнгардт прервал его на полуслове.— Хорошо, хорошо! Мне нужно работать. Заходите как-нибудь в другой раз.— И он издал хрипкое карканье, которое должно было означать „хайль Гитлер“ и положило конец беседе с капитаном Патцером.

Капитан ушёл, чувствуя, что эта беседа прибавила ему ещё несколько дюймов роста, который и так уже значительно увеличился после трагического исчезновения лейтенанта Глазенапа.

Рейнгардт, оставшись один в кабинете, глубоко задумался. Ему совершенно не хотелось раскапывать глубже дело Глазенапа, тем более, что до сих пор всё шло так гладко. Но в этой самой

Миладе, возможно, скрывался подвох, хотя и незначительный, и его следовало устранить.

Он позвонил, и через минуту-другую в кабинет вошёл тщедушный субъект в порыжевшей фетровой шляпе.

— Что угодно вашему превосходительству?— осведомился он голосом, представлявшим нечто среднее между шипением испорченного парового клапана и дребезжащим кашлем астматика.

— Пан Кратохвил,— сказал Рейнгардт,— для вас есть работа.— Его палец снова остановился на маленьком крестике, потом описал на карте круг, захватывая соседние кварталы.— Вот что мы ищем,— и он рассказал про Миладу.

Пан Кратохвил удручённо помотал головой. Даже его широкий утиный нос, и тот повис уныло.— Иисус, Мария, Иосиф,— застонал он,— почему мне всегда достаётся самая трудная работа? Понадобится время, понадобятся деньги, мне нужно будет заходить в лавки и пивные, делать покупки, пить, разговаривать...

Рейнгардт взял плоский разрезальный нож и с силой стукнул им по столу. Звук был похож на выстрел. Пан Кратохвил поморщился.— Я пойду! Я узнаю. Для вас, ваше превосходительство, вам это известно, я готов на всё!

— Даю вам два часа, пан Кратохвил.

— Хорошо, ваше превосходительство.

— И заведите себе новую шляпу. Ваша становится похожей на вывеску.

— Да, ваше превосходительство. Но где же я куплю шляпу? В магазинах ничего нет.

— Убирайтесь отсюда!

Пан Кратохвил поклонился и поспешно вышел. Он шёл беззвучной походкой; легко можно было поверить, что среди своих соратников он прослыл невидимкой.

Вот как случилось, что через два часа, уже к вечеру, рейхскомиссар Рейнгардт шёл по Малой Стефановской улице, которая начинается от Большой Стефановской и кончается тупиком.

Он был один и переоделся в штатское платье — хорошо сшитый летний костюм из настоящего английского материала, который прислал ему из Парижа Муртенбахер. Всю дорогу от дворца он шёл пешком, и это доставило ему удовольствие. Погода была прекрасная, и он шагал почти весело. Любопытно, какая такая эта Милада, — должно быть, далеко не красавица, если снизошла до Глазенапа. А впрочем, никогда нельзя знать наперёд, — и где-то в глубине его души закопошились игривые мысли.

Рейнгардт, внимательно изучавший номера домов на Малой Стефановской улице, остановился перед номером шестым. Прочитав список фамилий у входа, он кивнул головой. Он дёрнул за колокольчик, подождал с минуту и вошёл.

На лестнице было темно и прохладно. Дом был старый, построенный лет сто или полтора-ста тому назад, и в нём пахло так же, как пахнет во всех старых домах, — плесенью и капустой. Забавно будет, размышлял Рейнгардт, если я после этого исчезну. Кроме пана Кратохвила, никто ничего не знает, а Кратохвил только обрадуется тому, что избавился от строгого начальства. Но всё же лучше держать дело Глазенапа в строгом секрете. Гейдрих только поблагодарит его за это. Он нащупал револьвер в правом кармане и с нежностью похлопал по нему.

Наверху лестницы, в дверях квартиры, стояла старуха. — Здесь живет Милада Марекова? — спросил Рейнгардт.

— Что вам нужно?

— По официальному делу, из полиции, — сказал он, слегка отталкивая старуху. — Её нет дома? Закройте дверь. Я подожду.

— Но...

— Ну, ну, вы меня слышали? Ваша фамилия Клейн, и вы живёте на пенсию. Видите, я всё знаю. — Он вошёл в комнату Милады в сопровождении хозяйки, перепуганной до потери рассудка.

— Успокойтесь, — посоветовал ей Рейнгардт, оглядываясь по сторонам.

Комната была маленькая, мебель потёртая. Солнечный свет, падая в окно, пригревал горшки с растениями на подоконнике. На гвозде за дверью висело яркое платье в цветочках, на шатком комодке, прислонясь к стене, рядом стояли книги. Рейнгардт брал одну за другой и, небрежно перелистав, опять ставил на место.

— Ваш муж был военный?

— Да, — прошептала пани Клейн.

— Он был убит в Галиции? Очень сожалею. Без сомнения, прекрасный человек. Но такова война. — До сих пор он говорил машинально, очевидно совсем не думая о том, что говорит. И вдруг переменял тон.

— Когда лейтенант Глазенап был здесь в последний раз?

— Я так и знала, что это плохо кончится! Я так и знала! — запричитала хозяйка. — Такой был хороший, совсем не похож на...

— На немца? — Рейнгардт закончил её фразу и улыбнулся. — Расскажите-ка мне ещё что-нибудь о нём. Почему вы не садитесь? Так, значит, когда же он был здесь в последний раз?

— Как будто в четверг.

— Гм! Они поссорились, то есть лейтенант с фрейлен Миладой?

— Поссорились?— переспросила хозяйка, которая теперь успела притти в себя.— Может быть. Не знаю, право. Я позабыла немецкий, понимаю плохо, а дверь была закрыта.— Она посмотрела на Рейнгардта зоркими глазами, в которых всё ещё таился страх.— Я ведь не подглядываю в замочные скважины.

Рейнгардт уселся в единственное удобное кресло, осторожно заложив ногу на ногу, чтобы не испортить складку на брюках. Поглядывая на ярко вычищенный башмак, он сказал:— Вижу, что вы умная женщина, а потому выкладываю карты на стол. Вы думаете, я оттого спросил об этой ссоре между лейтенантом и фрейлен Миладой, что подозреваю её, ну, скажем, в том, что она устранила лейтенанта?

Пани Клейн сложила руки на коленях. Её сморщенное лицо было теперь спокойно. Она решила, что ничего больше не скажет. Пусть этот полицейский говорит с Миладой, если хочет что-нибудь узнать. Что касается до неё, так она никого в это дело впутывать не намерена.

— Ведь так?— Рейнгардт улыбнулся.

— Может быть.

— Ну, так разрешите вам сказать, что мы этого не думаем. Мы знаем, что такая девушка, как Милада, не обидит даже мухи. Даже мухи!— воскликнул он и посмотрел на цветы на подоконнике.— Девушка, которая любит цветы и вообще всё красивое.— Ведь так?

— Может быть.

— Да не говорите „может быть“! Скажите „да“ или „нет“.

Пани Клейн разняла руки и стала разглаживать свой заплатанный фартук. Её рот над беззубыми деснами был крепко сжат в прямую тёмную линию.

— Так из-за чего же они поссорились в четверг? Вы ведь не захотите, чтобы я свёл вас в штаб?

— Нет.

— Вы упрямая женщина,— сказал Рейнгардт с сожалением в голосе.— Я много видел таких, как вы. Они не долго живут.

Хозяйка опять сложила руки на коленях. Что такое, не понимаю, думала она. Мне страшно, надо бы бежать, а я не в силах двинуться с места.

Рейнгардт молчал. Он был мастером в деле запугивания, артистически играл на чувстве страха и наслаждался этим.

— О чём они говорили в четверг?— снова бросил он в тишину, освещённую солнцем.

Допрос был прерван скрежетом ключа во входной двери. В комнату вошла Милада.

Она увидела совершенно незнакомого человека. Первым её побуждением было вскрикнуть, но крик замер у неё на губах. Ни в единой черте гостя не было ничего страшного: маленькие пронизывающие глаза, тонкий нос, небольшой, полуоткрытый рот над бесхарактерным подбородком, короткие, разделённые пробором волосы, подбритые на висках,— однако, всё это вместе взятое производило такое неприятное впечатление, что ей стало не по себе.

Гость медленно поднялся с места. Милада чувствовала, что он мерит её взглядом. Она выпрямилась и твёрдо взглянула ему в глаза. Его губы сейчас же сложились в улыбку.

— Вы ко мне?— наконец выговорила она.

Тут пани Клейн обрела дар речи.— Ох, Милада,— заплакала она,— какой это ужас! Какой ужас! Полиция...

— Разрешите, я сам представлюсь,— остановил

Рейнгардт старуху, чтобы та не успела предупредить Миладу, о чём он будет спрашивать.

— Рейхскомиссар Рейнгардт, из гестапо. Вы Милада Маркова?

Вот оно, подумала Милада. Вот он, враг. Я вступаю в бой. Она ощутила необыкновенный подъём и лёгкую слабость в коленях. Она страстно желала, чтобы у неё хватило сил, и, желая, уже знала, что сил хватит.

Какой бы ни представлял себе Рейнгардт возлюбленную Глазенапа, он во всяком случае не ожидал встретить такую женщину, как Милада. Она была умна и красива той красотой, которая особенно волновала Рейнгардта. Даже потрясение неожиданной встречей не исказило спокойной гармонии её черт. Втайне Рейнгардт всегда презирал полногрудых и розовых женщин того типа, который идеологи его партии признали наиболее пригодным для совершенствования расы. Это была совсем иная, чуждая красота, с примесью волнующей тайны. Рейнгардт был очень доволен тем, как развивается дело Глазенапа.

Она была прелестна, и это запутывало положение. Ибо чешка она или не чешка, но отношения такой женщины к ничтожному Глазенапу должны были основываться на чём-то гораздо более сложном, чем предполагал Рейнгардт. Он облизал губы.

— Надеюсь, вы простите меня, что я зашёл к вам без разрешения,— начал он.— В нашей работе, знаете ли, так часто нехватает времени для соблюдения вежливости, что мы иногда совсем о ней забываем.

Пани Клейн, вся дрожа, обняла Миладу. Трудно было понять, хотела ли она её защитить, или сама искала защиты. Миладе, смотревшей на Рейнгардта из-за плеча своей хозяйки, почуди-

лось в его извинениях глумление кошки, играющей с мышью.

— Вы перепугали её,— сказала она.

— Почему-то все пугаются,— пожаловался он.— А почему? Неужели я похож на дикого зверя?— Он улыбнулся, показав жёлтые зубы.— Меня совершенно незачем бояться. Однако, так как я пришёл получить кое-какие сведения, мне хотелось бы, чтобы вы ответили на несколько вопросов. Всего на какие-нибудь два-три, и они не будут слишком трудны... Это касается при-
скорбной кончины лейтенанта Глазенапа.

Милада высвободилась из объятий своей хозяйки.

Последние слова Рейнгардта, произнесённые с подчёркнутой резкостью, вызвали бурный прилив мыслей, которые захлестнули её, грозя утопить в водовороте. Как пловцу среди волн, ей нужно держать голову над водой, нужно выгадать время, пока поток не войдёт в берега и не потечёт плавно и спокойно.

Она сняла шляпу и положила её на комод. Достала из сумочки гребёнку, пудру и губную помаду и начала приводить себя в порядок, как делают женщины, когда хотят выиграть время.

Прежде всего перед ней возникла фигура Зелигера, провокатора с лицом хорька. Неужели она выдала себя тогда, протестуя против расстрела ни в чём не повинных людей?

Или, быть может, Глазенап перед смертью задумал ей отомстить — если она ему не досталась, то пусть не достаётся никому? Не всё ли это равно? Ей угрожает опасность, откуда бы она ни грозила. Куда деваться?

Приведи в порядок свои мысли. Держи себя

в руках. Не одна ты в опасности — тут есть и другие. И прежде всего Бреда, Бреда, который во всё посвящён, Бреда и его план. В чём бы этот план ни заключался, нельзя его провалить.

Хорошо думать о Бреде: его ласковые глаза, мужественное лицо вселяют бодрость. Ей слышатся его слова: *„Будьте осторожны. Не говорите об этом ни с кем. Нацистам нисколько не интересно знать, как умер Глазенап. Они рассчитывают спасти себя, запугав нас“*.

Не потому ли к ней пришёл Рейнгардт? Он важное лицо. Его именем подписан указ о заложниках. Однако вот не поленился же он выступить в роли джентльмена-сыщика. Что именно он знает о смерти Глазенапа? Что именно он подозревает? Что ему нужно узнать от меня?

Не могу же я без конца причёсываться. Когда-нибудь придётся перестать и обернуться к нему. Хорошо, пусть спрашивает. Пусть он начнёт, пусть сбросит личину. Чем меньше я буду говорить, тем больше ему придётся спрашивать.

— Вы можете идти,— услышала она слова Рейнгардта, обращённые к хозяйке.— Я позову вас, если вы понадобитсяе.

Старуха медленно вышла, шаркая туфлями.

— Помоги ей бог и все святые его,— прошептала она.

Рейнгардт молчал. Его глаза подстерегали каждое движение Милады, как собака подстерегает дичь.

Он знал, конечно, что она старается выиграть время. Но ему тоже нужно было время, для того чтобы разработать свою линию поведения с ней. Он очень редко подходил к делу с уже готовым шаблоном. Опыт показал ему, что го-

раздо выгоднее решать свои ходы на месте, и он был уверен, что всегда сумеет найти правильное решение. Многое зависело от индивидуальности его противника. Он, Рейнгардт, был гибок, умел приспособливаться к любому положению, к любому человеку, как он его понимал. Он гордился своим умением видеть людей насквозь чуть ли не с первого взгляда; для него все они делились на несколько категорий, и он знал, как нужно обращаться с каждой из них.

По дороге на Малую Стефановскую он уже задавал себе вопрос, какого чорта он не послал своих людей за этой девушкой. Арестовать её и посадить в тюрьму было бы проще всего. За решёткой люди не болтают, а мёртвые — тем более. Муртенбахер так бы и поступил.

Муртенбахер да, но не Рейнгардт. Как-то в Париже они даже поспорили из-за этого. Муртенбахер — усердный служака, действующий сплеча. Он, Рейнгардт, гораздо тоньше. Он не считает свою работу рутиной, не считает, что её способен выполнить всякий, кто сумеет поставить печать на бланке.

Нет, думал Рейнгардт, я не просто машина, у меня есть интересы, для меня жизнь имеет смысл.

Ему хотелось видеть женщину, которая довела Глазенапа до самоубийства; может быть, с ней будет интересно иметь дело. И посмотрите, сколько упустил бы Муртенбахер, если бы просто засадил её в подвал.

Какая она изящная! Изящная и умная. Она действительно может свести человека с ума, особенно такую тряпку, как этот Глазенап.

Вопрос вот в чём: верит ли она в историю об убийстве? Если она знает или хотя бы слышала о том, что лейтенант покончил с собой, — что ж,

очень жаль, придётся прибегнуть к методу Муртенбахера. Придётся, кроме того, гоняться по всему городу за людьми, которым она могла что-нибудь разболтать. С другой стороны, если она не знает о самоубийстве,— Рейнгардту рисовалась приятная перспектива.

Рейнгардт любил чистоту и аккуратность в работе. Он бы не позволил никаким посторонним соображениям повлиять на исход дела Глазенапа, которое, в сущности, было делом Прейсингера. Долг прежде всего. Интересы протектора важнее всех удовольствий, какие можно извлечь из работы.

— В прошлый четверг у вас был лейтенант Глазенап, не правда ли?

Милада обернулась к Рейнгардту. Он видел, что она спокойна, и заранее радовался, предвкушая, как он смутит это спокойствие.

Милада сообразила, что это ему было не трудно узнать и от квартирной хозяйки.

— Да,— сказала она.

— Вы— красивая девушка. Это был не первый его визит?

Рейнгардт погладил подбородок. Он видел перед собой побывавший в воде листок бумаги, тщательно восстановленный его экспертами.

„Трудно выразить, что Вы значили для меня... Я дошёл до полного отчаяния, это Вы поймёте по одному тому, что я пишу Вам после всего, что произошло между нами...“ Письмо Глазенапа, так и не отправленное... это письмо поможет ему сломить сопротивление Милады.

— Ну же, ну,— сказал Рейнгардт.— Он, вероятно, был с вами знаком некоторое время.

Отрицать это не имело смысла. Он разговари-

вал с хозяйкой. Вероятно, наводил справки у соседей Глазенапа. Она решила пожертвовать пешкой.

— Да. Он очень дружески, очень хорошо ко мне относился.

— Разве только слепой повёл бы себя иначе. И это было всё? Ничего, кроме возвышенной дружбы?

— Да.

— Ах, фрейлен Марекова!— Он говорил тоном учителя, поймавшего ученицу на грубой ошибке.— Может быть, я плохо знаю женщин, а особенно чешских, но есть группа людей, которых я знаю вдоль и поперёк, и это—немецкие офицеры. Платонические тонкости не по их части. Как он с вами познакомился?

— На улице,—ответила она, и это была правда.

— А после?

— Мы иногда встречались.

— Без всякой цели с той или другой стороны?

— Я, собственно, не понимаю, какое это имеет отношение к делу.

— Вы поймёте,—сказал Рейнгардт.—Он никогда не пробовал за вами ухаживать?

— Нет.

— Повидимому, это был совершеннейший идиот. Я бы непременно поухаживал за вами. Так же, я думаю, поступил бы любой немецкий офицер в Праге. А потому я вам не верю.

— Как хотите.

— Фрейлен Марекова, вы достаточно умны и можете понять, что ваша жизнь и свобода зависят от того, буду ли я вам верить, или нет.

Она судорожно глотнула. Но, если не считать этого движения, ни один мускул на её лице не дрогнул.

Любопытно, сколько времени она сможет так хорошо владеть собою, подумал Рейнгардт, наблюдая за ней.

— В чём выражалось его хорошее отношение к вам?

— Во многом,— уклончиво ответила Милада. Если он сам не намекнёт на то, что она участвовала в уличном бое перед университетом и что Глазенап спас её, она говорить об этом не станет. Неизвестно, к какой цели направлен этот допрос, но позволить Рейнгардту заглянуть в прошлое, значит, быть может, выдать настоящее.

— Во многом?— задумчиво повторил он.— Что же, услуги? Деньги?

Намёк был ясен. Она стала защищаться.

— Я не собиралась остаться у него в долгу. Меня поразило известие о его смерти.

— Да,— согласился он многозначительно.— И к тому же как раз после ссоры с вами. Такое совпадение!

Закинув удочку, он стал ждать, пока рыбка клюнет.

Милада не почувствовала, куда он клонит. Ему известна сцена, которая была у неё с Глазенапом,— вот что целиком занимало её мысли. Что ему известно? Только факт или и то, из-за чего они поссорились? И от кого—от хозяйки или из какого-нибудь другого источника? Если он знает содержание их спора, то как может она промолчать о Павле или о том, что Глазенап грозил покончить с собою?

— Такое совпадение!— повторил Рейнгардт. Теперь он был уверен, что тактика его правильна. Он даст ей понять, что подозревает её в сообщничестве с убийцами Глазенапа: если ей известно о самоубийстве лейтенанта, она сразу же выдаст всё, что знает, чтобы оправдать себя.

Рейнгардт увидел, что Милада колеблется. Он снова пустил в ход свой единственный козырь.— Лейтенант пришёл сюда, как приходил очень часто. И вы поссорились с ним, жестоко поссорились.

Чорт бы взял этого осла! Если бы письмо было написано яснее, можно было бы сейчас выложить перед ней всю историю и покончить с этой Миладой одним ударом. Но смысл письма был вполне ясен только этой девушке и покойному лейтенанту. Он вспомнил карточку Глазенапа: незначительное лицо, бесцветные глаза за толстыми стёклами очков, худые, втянутые щёки со следами прыщей. Он отважился на догадку:

— Вам он, конечно, не нравился. Женщина вашего калибра едва ли увлечётся такой тряпкой. Значит, вы поссорились. Из-за чего же?

Неожиданный вопрос, рассчитанный на то, чтобы застигнуть её врасплох, оказал противоположное действие. Ей пришло в голову, что и сам Рейнгардт, возможно, блуждает в потёмках.

— Ну да,— сказала Милада, в первый раз пробуя силу своей улыбки на Рейнгардте,— ни одна дружба не обходится без маленьких недо-разумений.

— Пожалуйста, без общих мест!— отпарировал Рейнгардт.— Чего бы ни требовал от вас Глазенап, вы отлично знали, что как немецкий офицер он может доставить вам массу неприятностей. Но не надо забывать и о другой стороне дела, дорогая фрейлен Маркова. Моя работа такова, что я всегда знаю, как бьётся пульс народа. Вы ненавидите нас, не правда ли?

Он говорил вкрадчиво, чуть ли не с нежностью.

Милада удивилась и подумала, неужели он ждёт ответа? Повидимому, нет. Он продолжал:— Да, да, согласен, мы правим довольно жёсткой

рукой. Вы привыкнете к этому в течение ближайших десятилетий...

Решив, что почва хорошо подготовлена этой провокационной фразой, он перешел к нападению.

— Остаётся сделать выводы. Все данные налицо: ваша ссора с Глазенапом, ваше отношение к нему, убийство Глазенапа. Вы должны согласиться, что картина складывается довольно ясная.

Удар был нанесен из-за угла. Вся кровь отхлынула у неё к сердцу, в глазах потемнело.

Он хочет взвалить убийство на меня.

Её руки так крепко сжали спинку стоявшего перед ней стула, что побелели в суставах.

Он хочет взвалить убийство на меня! Голова у неё горела. Стены комнаты ходили ходуном.

Дайте подумать! „Остаётся сделать выводы“, — сказал паук. Но это же возмутительно нелепо.

— Вы с ума сошли! — крикнула она. — Вы же знаете, что не я его убила...

Но если он знает, почему же он обвиняет меня?

Если ему нужен убийца, если он хочет отмщения, у него есть заложники, — он их не выпустит. Даже в обмен на меня. Всё это подстроено.

— Почему же не вы? — спросил Рейнгардт.

„Почему же не вы!..“ Потому что Глазенап покончил с собой! Эти слова чуть не сорвались с её губ.

Рейнгардт ждал. Он тоже был сильно взволнован. Теперь я загнал её в угол, подумал он. Теперь она не выдержит. Он наклонился вперёд.

В лихорадочном бреду, в минуты величайшей опасности, человеческий дух способен творить

чудеса. В краткие секунды по извилинам мозга вихрем проносятся мысли и впечатления, догоняя и перегоняя друг друга, нагромождаясь друг на друга. Если вам удастся выхватить из этого вихря хоть одну мысль, хоть один образ, держитесь за него, ради всего святого!

Это удалось Миладе. Из водоворота возник непоколебимый Бреда. *„Будьте осторожны. Не говорите об этом ни с кем. Нацистам не интересно знать, как умер Глазенап“.*

И тут её мысли начали проясняться, приходиться понемногу в порядок.

Она понимала, что Рейнгардт преградил ей дорогу и справа и слева. Если она не отвергнет обвинения, он арестует её. Если она станет оправдываться, доказывать, что Глазенап покончил с собой, он тоже упрячет её в тюрьму, — не может же он допустить, чтобы его махинации разоблачили; ведь и у него тоже нет выхода.

Она могла выбирать только род гибели. Решение было просто. Надо спасти Бреду, который посвящён во всё, у которого есть план. Может быть, этот план поможет отомстить и за неё, и за смерть заложников, за смерть Павла, за всё.

Её руки, вцепившиеся в спинку стула, разжались. Словно сквозь туман она слышала слова Рейнгардта:

— Для вас смерть лейтенанта, без сомнения, пришлась очень кстати. Я не хочу этим сказать, что вы бессердечны. Я знаю, вы о нём сожалеете... Но он умер как раз во-время, не так ли?

Как мертво звучали его слова!

И чего ради он хлопочет из-за меня? думала она. Я и без того в его власти. Он может просто арестовать меня, увезти, похоронить в своих подвалах...

И всё же Рейнгардт был уверен в победе. Нажать ещё слегка, и она выболтает всё, что ей известно о самоубийстве...

А может быть, ей и в самом деле ничего не известно?

В существе своём люди примитивны. Им не под силу бороться с высоко организованным интеллектом. Напугайте их хорошенько, и они раскроются, как устрица под острым ножом.

— Я не убивала Глазенапа. И не принимала участия в его убийстве.— Милада села. Она овладела собой, её щёки опять порозовели. Этот блиц-допрос больше не страшил её. О чём бы ни спросил её Рейнгардт, какие бы неожиданные ни расставлял ловушки, она была готова ко всему.

Рейнгардт улыбался, скрывая своё разочарование. Так, значит, мышь только понюхала сыр, она ещё не хочет брать приманку. Не беспокойтесь, возьмёт. Терпение и терпение!

— Фрейлен Марекова,— сказал он утомлённо,— боюсь, что нам придётся начинать всё сначала... Видите ли, я наводил о вас справки.— Он умело выдержал паузу, и тогда Миладу взволновал вопрос о том, что именно ему известно.

Мысленно он перебирал результаты экспедиции пана Кратохвиля на Малую Стефановскую улицу.— Вы принимали участие в настоящем уличном бое,— снова перешёл он в атаку.— Вот по этой-то причине я и допускаю, что вас станет на убийство немецкого офицера, что вы этим, так сказать, не побрезгуете.

Так ему это известно. Вероятно, известно и о Павле. Десять минут назад это взволновало бы её. Теперь, справившись со своими нервами, она чувствовала только утомление. Больше всего

на свете ей хотелось, чтобы он прекратил эту моральную пытку.

— Почему вы не арестуете меня?— сказала она безжизненным голосом.— И не покончите с этим?

— Ну, что вы!— возразил он укоризненно.— Я не первый год занимаюсь этим делом. Вы не одна, у вас есть друзья, сообщники. Арестовать может всякий безмозглый новичок — это примитивно. Подвалы, лагеря, нож гильотины,— я предпочитаю, чтобы это висело над вашей головой. Страх действеннее боли, жизнь под угрозой страшнее смерти.

Он действовал, как боксёр, старающийся ослабить противника короткими, быстрыми джабами в область сердца, чтобы тем вернее нокаутировать его.— Кто такой Павел?

Тем же мёртвым голосом она ответила:— Вы ничего больше не можете ему сделать. Он так глубоко под землёю, что вам его не достать.

— Знаю,— ответил Рейнгардт, почёсывая розовыми ногтями коротко выстриженный затылок,— а вот и другая сторона картины: Глазенап был одним из командующих офицеров, когда расстреляли вашего возлюбленного. А после этого он намеревался занять его место. До чего может дойти извращение. Вы убили Глазенапа?

— Нет.

— Вы заставили кого-нибудь другого убить его?

— Нет.

Улыбка Рейнгардта становилась натянутой. Его снисходительный тон перешёл в настойчиво-требовательный.

— Если вы убили, я вас понимаю. Вы энергичная, полная сил женщина, а тут этот худосочный нацист, причина всех перенесённых вами несчастий,— вы ненавидели его так же, как меня,

быть может, сильнее. Вы были бы рады, если б его убили, как были бы рады, чтобы убили меня, дай я вам только такую возможность.

Рейхскомиссар, перепробовав все струны, начинал терять спокойствие духа. Почему она молчит?

Рейнгардта могло взбесить только одно — когда не оправдывались его расчёты. Это случалось редко. Но если случалось, то подрывало его уверенность в своих силах. Он хотел, чтобы Милада проговорила: „Ведь это же самоубийство, Глазенап покончил с собою, зачем же вы преследуете меня?“ Ему этого хотелось, потому что так было у него задумано. Он не допускал и мысли о том, что ей, быть может, и в самом деле ничего не известно.

Но она ответила только:— Я не убивала Глазенапа.

Он презрительно фыркнул. В этом-то он был уверен. Но знала ли она о самоубийстве, и говорила ли на эту тему с кем-нибудь, оставалось для него и посейчас загадкой. Это было первым препятствием в деле Глазенапа, которое до сих пор шло как по маслу. Пока он не решит этой задачи, он не может считать себя хозяином положения. Вот что его раздражало.

Милада почувствовала перемену в Рейнгардте. Она сидела склонив голову, готовая принять удар, но удар медлил. Что он собирается делать? Что ещё он может пустить в ход, кроме грубой силы?

Не поднимая головы, она стала следить за ним. Его глаза потускнели, утратили решительное выражение. Да ведь это самый заурядный полицейский чиновник. И чего я только боялась?

Надо рассказать об этом Бреде. Он поймёт и поможет ей разобраться во всём. Кроме того,

она гордилась собой. Арестует её Рейнгардт или нет, она знала, что выдержала испытание, не выдала тайны, и перенесёт всё, что ей грозит.

Рейнгардт сердито поднялся с места. Глядя на грациозный изгиб её шеи, он представил себе на мгновение, как сверкающий нож гильотины опускается на неё и отделяет голову от красивых плеч. Это его до некоторой степени утешило. Это маленькое развлечение от нас никуда не уйдёт, сказал он себе.

— Содержательный у нас вышел разговор.— Он застегнул пиджак. Потом слегка дотронулся своей когтистой лапой до ее шеи.— Вы в самом деле красивы. Надеюсь, наше знакомство продолжится.

Она с отвращением оттолкнула его руку. Её мутило от нервной дрожи.

Он, повидимому, ничего не замечал.— Ну скажите мне, разве мог вас оценить такой человек, как Глазенап? Нет, дорогая Милада, я вас пока не собираюсь арестовывать. Я буду поддерживать с вами связь, очень тесную связь.

Он ушёл.

Хозяйка застала Миладу на том же месте, она сидела склонив голову, дрожа, как в лихорадке.

— Бедная моя девочка,— убивалась она,— бедная, бедная девочка.

Она уложила Миладу в постель, раздела её, укутала. Милада повиновалась ей пассивно, словно под гипнозом.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Когда Яношека в первый раз засадили в тюрьму, ему пришлось сидеть в одной камере с бродягой, специалистом по приготовлению курятины разными способами. Бродяга долго и

очень старательно учил его, как варить, жарить, парить, тушить кур, делать из них фрикасе и фаршировать в любых условиях: на плите или на очаге, на сковороде или в кастрюле, с картофелем или просто так.

Яношек любил учиться, и ученик из него вышел прилежный и послушный. Когда он спросил бродягу, за что его посадили, тот ответил, подивившись невинности Яношека:— Милый ты мой! Да за кражу кур, само собой разумеется!

После этого они крепко подружились. Так как уроки, которым сильно мешало отсутствие наглядных пособий, возбуждали в них невероятный аппетит, они стали искать утешения и нашли его в том, что исстари служило прибежищем всем одиноким и голодным: в философии.

— Сынок, — говорил бродяга, — уж если ты сел за решётку, гляди, как бы не рехнуться. Гляди, чтобы мозги у тебя были в порядке. А для этого старайся, чтобы мысли не разбредались, думай о чём-нибудь одном, повёртывай да оглядывай со всех сторон, а потом ещё раз поверни и обдумай. Это тебя поддержит, понял?

Это было, когда он сидел в тюрьме в первый раз. А теперь он сидел в последний раз. Он ни на минуту не забывал этого и всё же не видел основания пренебрегать советом бродяги. Остальные ссорились, предавались мрачным мыслям, — Яношек же занимался умственной гимнастикой.

Он делал это не только ради тренировки! Много воды утекло со времён старого бродяги, охотника до чужих кур. Думать приходилось с определённой целью, несмотря на то, что послезавтра чудесный механизм, скрытый под его черепом, должен был остановиться навсегда.

Предмет, избранный Яношеком для размышлений, был он сам. Он и его отношение к внешнему

миру, который будет попрежнему существовать и без него. Другой человек на его месте, быть может, стал бы оглядываться на прошлое, вспоминая всё хорошее и сожалея об упущенных возможностях. Яношек не любил копаться в прошлом — между прочим и потому, что оно было незавидное. Ему больше нравилось смотреть вперёд, хотя будущего у него не было.

Что бы он ни переживал в прошлом, с какими бы людьми ни дружил и ни враждовал, что бы он ни предпринял, — всё это он делал с оглядкой на будущее. Горняки в Кладно, которым он помог объединиться, когда-нибудь восстанут, хоть и молчат теперь, и тогда они вспомнят всё, что он говорил и делал, и будут поступать так, как он их учил. Батраки в Моравии, с которыми он жил, на чьём простом языке говорил, плечо к плечу с которыми он сеял и убирал пшеницу, хорошую, чернозёмную пшеницу, — и они, быть может, когда-нибудь пойдут той дорогой, которую он указал им. И все остальные, с кем он работал вместе, вместе страдал и вместе веселился, все те, с кем он ел и пил, все те, кого он любил, — и как любил, боже ты мой! — всем им он отдал частицу самого себя, и они носят его в себе.

Жизнь прошла неплохо. Нечего много об этом думать, разве только так, как думает крестьянин о законченной работе, сидя вечером перед своим домом и глядя на заходящее солнце. И даже этот крестьянин больше думает о завтрашнем дне и о том, какова-то будет погода, чем о том, что им сделано сегодня.

В глубине души Яношек надеялся увидеть то будущее, для которого работал. Среди мелких, повседневных житейских столкновений это помогало ему не терять направления. Надежды его были скромны, он не слишком многого ждал от

этого будущего. Он знал, что люди должны переродиться, что этот процесс займёт многие и многие годы, что он сам слишком стар, чтобы увидеть расцвет нового века. Взглянуть бы хоть одним глазком на начало, и то уже было бы недурно. А любопытно бы увидеть то время, когда люди будут работать, есть и жить по-человечески. Когда дети получают возможность свободно развивать всё то, что в них заложено природой, когда люди станут хозяевами созданного ими мира. Он даже пожалел немножко о том, что ничего этого не увидит. А впрочем, не всё ли равно? Зато увидят другие.

Две мысли, однако, беспокоили его.

У него осталось невыполненным одно дело. И дело-то небольшое: передать один адрес — Вацлик, Смиховская 64 — от Бреды группе грузчиков. Но в работе Яношека все дела были одинаково важны, и великие и малые: одно зависело от другого.

Теперь он заперт в этом подвале. Бреда же не знает того плешивого грузчика, связь с которым держал Яношек, а без адреса Вацлика грузчик не сможет получить свёрток, заготовленный Бредой, — значит, баржи со снарядами будут беспрепятственно разгружены, и их смертоносный груз двинется дальше и дальше на восток, на фронт, где сражаются за то будущее, которое так хотелось бы увидеть Яношеку.

Вот от этого можно рехнуться.

Он провалил работу. Не по своей вине. Он мог бы оправдать себя тем, что скоро умрёт. Но он и сам никогда не любил оправдываться и от других не принимал оправданий.

От второй мысли тоже можно было рехнуться.

Она была связана с будущим, как он его себе представлял. Если уж ему не суждено уви-

деть новый мир, то он по крайней мере рассчитывал хотя бы умереть не даром.

Но умереть из-за какого-то лейтенанта Глазенапа, которого он видел всего один раз и то пьяным! Конечно, самый лучший немецкий офицер — это убитый немецкий офицер, на этот счёт Яношек не питал никаких сентиментальных иллюзий. Если бы понадобилось устранить их поодиночке или всех сразу, Яношек помог бы с радостью. Если бы организация решила стереть лейтенанта Глазенапа с лица земли, Яношек точно и с удовольствием выполнил бы приказ. Но такого приказа не было, насколько ему известно. Ибо, если бы Глазенапа решено было убить в помещении кафе „Манес“, он не только знал бы об этом, но, вероятно, сам и организовал бы убийство.

Поэтому Яношек считал смерть Глазенапа делом случайным. Если даже его убил кто-нибудь, то этот человек действовал по личным мотивам. А Яношеку вовсе не хотелось умирать из-за какой-то случайности.

Он хотел умереть в бою, как солдат, который пошёл на войну добровольно. Умрёт ли он с винтовкой в руках, маршируя вместе с тысячами других, или один, выполняя поставленную перед ним задачу, было не так уж важно. Эта война многолика, надо только умереть, как полагает солдату!

Такие-то мысли и заставили Яношека лежать не смыкая глаз. Он был тяжелодум, и ему понадобилось немало времени, чтобы разобраться во всём. Но, придя к определённому выводу, он немедленно начал разрабатывать план, который помог бы ему решить эту задачу.

На время Яношек оставил в стороне свои собственные вкусы и предпочтения в вопросе о вы-

боре смерти. Это было его личное дело, а он твёрдо знал, что его личность имеет только второстепенное значение.

Гораздо важнее выполнить задание и найти способ передать на волю адрес.

Теперь, соображал Яношек, всем должно быть уже известно, что он арестован. Плешивый грузчик ломает себе голову, придумывая способ получить весточку от Яношека. Бедняга! Работать головой он всегда был негоразд. Теперь он, напялив воскресный костюм, всё свободное время проводит в кафе „Манес“, тратит деньги на пиво, то и дело бегаёт в уборную, жалуясь на голову или на живот, открывает шкафчик с лекарствами, глотает разные пилюли — и ничего не может найти.

Бреда? А что может сделать Бреда? Подходить к незнакомым людям в кафе „Манес“ или поблизости и спрашивать, не знают ли они Яношека и не ждут ли весточки от него? Глупо. Немыслимо. Ничего подобного Бреда не станет делать: он будет только волноваться и беспокоиться, пока организация опять не наладит связь. На это понадобятся недели, быть может, месяцы, а к тому времени смертоносный груз давным-давно успеет дойти по назначению.

Остаётся только одно: он, Яношек, должен попасть в кафе „Манес“ и оставить адрес в шкафчике с лекарствами.

Яношек фыркнул. Вот к какому выводу он пришёл — и логично, и ясно, а ведь до чего глупо! Он вообразил физиономию гестаповца, который слышит: „Извините, пожалуйста, мне надо отлучиться не надолго и побывать в уборной кафе „Манес“.

Но вот этому доктору Валлерштейну удалось поговорить с начальником гестапо и выклян-

чить у него бумагу, перо и разрешение писать свои записки. Бог его знает, как он сумел надуть нацистов, какую историю состряпал — да вот ведь никуда не делся, сидит тут, и отравляет всем жизнь.

Как заставить этого нациста, думал Яношек, выпустить меня отсюда, хотя бы на самое короткое время?

Где же тут слабое место, которым можно было бы воспользоваться? Он думал и ничего не мог придумать.

От всех этих мыслей он не находил себе места. Спокойней, говорил он себе, спокойней! В ушах у него звенело.

Он не в силах был лежать неподвижно.

— Вы не спите? — прошептал Лобковиц.

— Нет, — ответил Яношек, радуясь возможности вырваться из того круга, в который его завели мысли. — Должно быть, съел что-нибудь такое.

— Не напоминайте мне, ради бога, об еде, — взмолился Лобковиц. — Я и без того хочу есть.

— Ну хорошо, так в чём же дело?

— Я думаю...

— О чём?

— О Глазенапе.

— Неужели не нашли ничего приятнее? — спросил Яношек.

— Кто убил Глазенапа?

Голос Лобковица прозвучал громче, чем он хотел бы. Вопрос повис в воздухе, не находя ответа.

— А я почём знаю? — сказал, наконец, Яношек. — Не я же его убил. И, между прочим, говорите потише — другие спят.

Однако он заметил, что Прейсингер не спит и слушает.

— И не я, — прошептал Лобковиц. — Но ведь

кто-нибудь должен был его убить! Не покончил же он с собой?

— А на кой чорт нам это знать?— спросил Яношек.— Им просто надо нас расстрелять, неужели не понимаете? Это у них уж такая система управления, и мы, к сожалению, должны её испробовать на своей шкуре. Не стоит беспокоиться из-за того, кто убил эту пьяную сволочь, постарайтесь-ка лучше уснуть!

— Если найдут убийцу Глазенапа, нас должны освободить,— неожиданно отозвался Прейсингер.

— Ещё бы! И герр Гейдрих извинится перед вами лично за все неудобства, какие вам пришлось вытерпеть,— утешил его Яношек и энергично добавил:— Помолчите-ка лучше.

Но кто же в самом деле убил Глазенапа? засело в мозгу у Яношека. Лобковиц прав — кто-нибудь да убил же его.

Пусть этот вопрос не имел значения. Зато он был живой забавой для ума, он давал пищу для размышлений.

Яношек мысленно вернулся назад, к прошлому, и попробовал восстановить всё, что ему пришлось видеть в тот вечер, несколько дней тому назад,— а ведь казалось, что с тех пор прошли века.

Встреча с пьяным на лестнице — Глазенап садится на ступеньку рядом с Яношекком, от него несёт водкой. Наверху — загаженный пол, заносчивые офицеры, ропот и смущение среди посетителей, рабская угодливость маленького кельнера, стычка между Лобковицем и старшим из офицеров,— все эти подробности врезались в его память, хотя в то время он не предвидел, какое значение всё это приобретёт впоследствии.

Могло ли случиться, чтобы он не заметил кого-нибудь, кто прокрался вслед за Глазенапом?

Немыслимо — ведь ему надо было провести Бреду в умывальную, и он зорко следил за всеми посторонними.

Могло ли случиться, чтобы кто-нибудь спустился с той стороны набережной к реке, переплыл её, взобрался на эту сторону и проник в уборную через заднюю дверь с намерением убить Глазенапа? Невероятно — слишком трудно было бы рассчитать время. Да и Яношек, возвратившись в своё логово, не нашёл ничего, никаких следов мокрых, грязных ног на безукоризненно чистом изразцовом полу.

Если бы забрался злоумышленник, была бы борьба. Яношек заметил бы хоть что-нибудь, услышал бы шум. Так что же случилось с Глазенапом?

Яношек весь вспотел от волнения. Он был похож на человека, который, заполучив желанный ключ, стоит перед запертой дверью в тёмный, таинственный коридор — куда-то он выведет его?

Глазенап умер без посторонней помощи, решил Яношек.

Как ни пьян был лейтенант, он, должно быть, сумел отворить маленькую боковую дверь на набережную, а там оступился и упал в реку.

Живое воображение Яношека очень ясно рисовало ему всю эту картину — одинокая фигура, едва видная на тёмном фоне неба, бредёт, пошатываясь, и вдруг пропадает, почти без всплеска идёт ко дну, словно мешок с камнями.

Случайно ли он упал? Или бросился сам? Эту тайну Глазенап унёс с собой. На лестнице он плакал противными, пьяными слезами — это Яношек помнил. Да ведь пьяные часто плачут от водки, а может, у Глазенапа было какое-нибудь горе, почём знать?

Убийства не было. Он умер без посторонней помощи.

Яношек больше не мог лежать спокойно. Надо было встать и размяться. Он заметался по тёмной камере — тёмной, беспокойной тенью.

— Не спится? — спросил его Лобковиц.

— Иисус, Мария, Иосиф! — Яношек, только теперь представив себе во всём объёме интригу гестапо, выругался: — Сукины дети, сволочи!

— А? Нет, ничего! К чему говорить Лобковицу? Что толку, если и остальные станут колотиться головой о крепкие стены тюрьмы?

Он услышал настойчивый голос Валлерштейна: — Какая муха вас укусила, Яношек? Вы что-то беспокойны. Плохо себя чувствуете?

Вот и этот ещё пристал! Только его и не хватало!

— Знали вы судью Прохаска? — спросил Яношек вместо ответа.

— Нет, — отвечал Валлерштейн, не ожидавший контрвопроса.

— Хороший был человек, — объяснил Яношек, — такой вежливый, сразу видать — из благородных, жалко, что вы с ним незнакомы. Я один раз судился у него по обвинению в бродяжничестве.

— Что это вам вспомнился судья? — спросил Валлерштейн.

— Мне тут всё время вспоминаются разные люди. Так как-то всё лезут в голову. А разве это плохо?

— Нет. Как сказать. Зависит от обстоятельств.

— Ну вот, — продолжал, не сморгнув глазом, Яношек, — так как меня забрали за бродяжничество, то я и сказал судье, что полиция сильно ошибается, что я шёл не просто так, у меня всё время была определённая цель. Этот добряк-судья заинтересовался.

— Куда же вам надо было итти, Яношек?— спрашивает он.

— В Ольмюц,—говорю я.

— Вы ведь шли из Праги?

— Да, ваша честь,—говорю я.

— А куда же вы пошли оттуда?— спрашивает он.

— В Мельник,—говорю я.

— А оттуда?

— В Пелаковицы,—говорю я.

— А оттуда?

— В Штеховицы,—говорю я.

— А оттуда?

— В Берун,—говорю я.

— А оттуда?

— В Прагу,—говорю я.

— Как же так, Яношек,—говорит судья,—ведь вы описали круг!

— Не смею отрицать, ваша честь,—говорю я.—Понимаете ли, доктор, везде я натыкался на полицию!

— Но ведь вы же сказали, что вам надо в Ольмюц!—кричит судья.

— Ну да, ваша честь,—говорю я,—это верно, сначала я туда и собирался. А потом передумал.

— Ну, тут уж судья Прохаска растерял всю свою вежливость. Сперва он покраснел, потом побледнел, потом побледнел. И выставил меня из зала суда.

— Гм!—сказал Валлерштейн.

— Я людей люблю,—продолжал Яношек,—люблю, когда они меня спрашивают. И я им отвечаю. Но иногда им от этого бывает не легче, всяко бывает.

Яношеку стало гораздо лучше. Он мог опять лежать и думать о Глазенапе, которого никто не убивал, но за предполагаемое убийство ко-

того- их расстреляют. Всё это подстроено гестапо! Если бы можно было как-нибудь помешать их планам! Знает ли об интриге кто-нибудь, кроме Яношека и гестапо?

Во всяком случае, надо дать им понять, разумеется, не запутав себя, что заботливо охраняемая тайна выплыла наружу. Мог же Глазенап проговориться, что хочет умереть, что собирается покончить с собой? Нет, слова тут не годятся. Должен существовать какой-то документ — вот разве письмо!

Письмо от Глазенапа — кому? Да кому угодно. Письмо, которое написано и ускользнуло от внимания гестапо и которое они должны разыскать, иначе весь их план может провалиться. Письмо, о котором знает он, Яношек, которое Глазенап поручил ему отправить, — письмо, которое осталось в кафе „Манес“, потому что Яношек был арестован, прежде чем успел отправить его. Письмо, за которым гестапо непременно пошлёт его в кафе „Манес“!

Яношек в полном изнеможении повалился на койку.

Он знал, что это рискованная затея. Она основывалась на одних только предположениях. Это его догадка, что Глазенап покончил с собой и что гестапо не заинтересовано в разглашении этого самоубийства. Но возможно также, что им это безразлично, или что Рейнгардт окажется достаточно умным, чтобы обнаружить контрмину Яношека, или что Яношек не найдёт случая говорить с Рейнгардтом. Шанс один из ста, но для Яношека единственный. Единственный шанс выйти из подвала и передать адрес, от которого столько зависит. Вацлик, Смиховская 64.

— Доктор Валлерштейн! — тихо позвал Яношек.

Доктор неохотно поднял голову.

— Дайте мне, пожалуйста, клочок бумаги и ваше перо,— попросил Яношек.

— Для чего?

— Хочу написать завещание.

— Здесь темно, как вы будете писать?

— Мне всего несколько строк,— настаивал Яношек.— Как-нибудь напишу.

Валлерштейн дал ему бумагу и перо, очень довольный тем, что Яношек реагирует, наконец, на тяготеющую над ними судьбу.

Яношек записал на листке бумаги адрес Вацлика и аккуратно спрятал листок в карман.

После этого заложники уснули тревожным сном, и тишину нарушали только стоны и вздохи людей, спящих в тесном и душном помещении.

Если бы Рейнгардт знал, для какой цели послужила та бумага, которую он так любезно дал Валлерштейну, он верно встревожился бы не на шутку. И без того рейхскомиссару было весьма не по себе.

Его настроение, такое жизнерадостное перед визитом к неизвестной ему Миладе, после состоявшегося знакомства значительно понизилось по многим причинам. Во-первых, чувствуя себя частью правящей машины—а эта машина до сих пор действовала без отказа,—Рейнгардт не привык встречать сопротивление, которого он не мог бы сломить. Во-вторых, он серьезно сомневался, правду ли говорила ему Милада, и его бесило, что в какую бы сторону он ни обращался и какие бы рычаги ни нажимал, он не мог найти доказательств, достаточно убедительных как для него, так и для неё, что она солгала или по крайней мере утаила часть правды. Мысль, что

его тайна — самоубийство Глазенапа — известна другим лицам, тяготила его тем более, чем больше он внушал себе, что ничего от этого не изменится. Она преследовала его, как призрак.

В-третьих, его влекла к себе эта девушка, которую он заранее представлял либо незначительной, либо доступной, так как был уверен, что она принадлежала Глазенапу. Однако поздравить себя ему не с чем — не помогли ни любезности, ни угрозы: он был слишком проницателен, чтобы заблуждаться на этот счёт.

Пройдясь по Большой Стефановской улице до Вацлавской площади, он почувствовал, что устал — устал от ходьбы, устал от выполнения долга. Он вошёл в бар отеля Алькрон, где было полно офицеров всех родов оружия, и заказал шнапс. Офицеры, удивлённые тем, что видят его в штатском, тем не менее почтительно салютовали, поднимая руку. Он, не отвечая им, сидел и смотрел в свой стакан, в котором отражался свет канделябров. -

Надо с этим покончить. О, черт! выругался он про себя. Я слишком понадеялся на себя и на свою теорию о Глазенапе — это сумасшествие. Тут полно подвохов, полным-полно!

— Кельнер, шнапс! -

Муртенбахер меня предупреждал. — Ты кончишь плохо, если будешь умничать, — говорил он всегда. — Бери пример с меня, — советовал Муртенбахер, — я не рассуждаю, да и к чему утруждать голову в нашей работе? Мы не криминалисты, а палачи. Вешай, расстреливай, руби головы, но не копайся в тонкостях, не умничай, — тогда будешь спать спокойно и сделаешь карьеру. Посмотри на меня, я правлю всем Парижем!

Ох, уж это дело Глазенапа! Рейнгардт по-

морщился. Надо будет установить слежку за Миладой, за каждым её шагом — я всё-таки дойду тут сути. Придётся допросить кое-кого из заложников, они были свидетелями. А сколько посетителей успело уйти из кафе, быть может, зная, что произошло, прежде, чем капитан Патцер догадался задержать остальных. Как это узнать?.. Мне, может быть, придётся притянуть к делу ещё многих.

— Кельнер, шнапс!

Оставив рюмку, он подошёл к телефону и позвонил в свой штаб. Он дал приказ пану Кратохвилу следить за Миладой — только, пожалуйста, в новой шляпе! — и боже его сохрани упустить девушку.

Потом он велел прислать за ним Менкеберга.

Некоторое время Рейнгардт празднично стоял перед отелем на темнеющей площади. Красные трамваи со звоном летели вниз по холму от Национального музея; мимо прошестело несколько автомобилей с немецкими офицерами. Ему вспомнилась Вацлавская площадь в тот день, когда немецкие войска вступали в Прагу, — по тротуарам стеною стояла толпа, а от Музея шли, колонны за колоннами, немецкие солдаты, маршируя, как на параде.

Он вместе со своими подчинёнными из гестапо прибыл в Прагу на несколько дней раньше армии и, замешавшись в толпу, незаметно наблюдал за нею. Люди стояли безмолвно, с мрачными лицами. Окаменев от горя, они смотрели на проходящие мимо войска. Кое-где в толпе судетские немцы, большей частью студенты, живущие в Праге, поднимали руки, крича: „Хайль Гитлер!“, но их было так мало, что эти крики казались смешными.

Тогда Рейнгардт чувствовал то же острое раз-

дражение, ту же тревогу ожидания и злобу, что и сейчас.

Что они могут сделать, чтобы расстроить его планы, эти неуловимые враги? Даже если они знают о самоубийстве Глазенапа — что из того? Разве у него и его людей нет власти? И тупые чехи так и будут молчать, им основательно заткнули глотку. Так откуда же у него эта неуверенность, это беспокойство?

Слава богу — вот и Менкеберг! Машина с разгона затормозила, Менкеберг выпрыгнул на тротуар, чётко отсалютовал и распахнул заднюю дверцу. Рейнгардт развалился на сиденьи, уже чувствуя себя легче.

— Куда? — спросил верный Менкеберг.

— Давайте сегодня кутнём, — предложил Рейнгардт.

— Так точно, герр рейхскомиссар.

— Не поехать ли к Вилли?

— Слушаю.

Вилли-Корова, как ласково звали Вильгельмину Тьетьен её друзья, приехала в Прагу из Голштинии, следуя за армией по пятам, и перевезла сюда всю свою мягкую мебель, крытую тёмным плюшем, картины, изображающие полнотелых купальщиц и сатиров, трубящих в рога, и девушек, Бетти и Берти. Бетти, рыжая, с болезненно белой кожей, специализировалась на стариках. Берти, смуглая брюнетка, душилась крепкими духами и обслуживала извращённых — тех, которые бьют, и тех, которых надо бить. Вилли сама знала все тонкости ремесла и умела угодить любому гостю.

Вильгельмина была многим обязана Рейнгардту. Без покровительства гестапо она едва ли могла бы работать — местная конкуренция задушила бы её. С другой стороны, гестапо смо-

трело на Вилли благосклонно. Ходить в чешские заведения было небезопасно,—случалось, что офицеры и унтер-офицеры пропадали без следа, после того как их видели входящими в одно из таких заведений. Поэтому был выпущен приказ, запрещающий офицерам и солдатам немецкой оккупационной армии сношения с чешскими женщинами; и хотя этот приказ, само собой разумеется, выполнялся не слишком строго, всё же он очень помог заведению Вилли.

И потому она оказала рейхскомиссару и его шофёру самый восторженный прием. Она растворила дверь настежь, причём её кимоно распахнулось, показав рыхлую, белую грудь.

— Дорогой рейхскомиссар!—воскликнула она.— Вот неожиданная радость! Девочки!—позвала она Бетти и Берти.—К нам в гости пришёл рейхскомиссар! И привёл своего знакомого.—Опытным глазом она смерила широкую грудь Менкеберга и прибавила:—Ах, какой мужчина! Девочки! Принесите вина! У нас праздник.

Перешли в гостиную с плюшевой мебелью, тяжёлыми шторами и множеством зеркал, висевших под разными углами. Появилась Бетти с вином, за нею Берти несла рюмки. Девушки хихикали, разглядывая Менкеберга, потом уселись рядом с ним, демонстрируя свои ляжки и все округлости, какими могли похвастать.

— Как идут дела?—спросил Рейнгардт.

— Так себе,—ответила Вилли.—Денег мы зарабатываем довольно, а что на них купишь? Да и не нравятся мне эти новые офицеры. Я привыкла к настоящим аристократам, образованным, воспитанным. Что ни говори, воспитание много значит, не правда ли? Всё больше сорвавшиеся с цепи мужья,—рады, что некого стесняться. Такие невежи. Вы понимаете, что я хочу сказать?

— Да,— ответил Рейнгардт, расстёгивая жилет. Прежде он любил болтовню Вилли, её жирный смех. Но сегодня она его не развлекала. Он отхлебнул из рюмки.

— Так чего же бы вы хотели, дорогой комиссар?— заботливо спросила Вилли. Она, переваливаясь, подошла к нему и уселась на ручку кресла. Взяв руку Рейнгардта, она слегка провела ею по своей ляжке и положила к себе на колени. Комиссар водил пальцами без особого одушевления, больше из любезности.

— Берти!— позвала она.— Бетти! Подите сюда!— Они послушно подошли, виляя бёдрами, и остановились перед Рейнгардтом.

— Ну!— сказала Вилли. Девушки расстегнули халаты, сбросили их с плеч и, нагие, стали повёртываться во все стороны перед Рейнгардтом, чтобы он мог рассмотреть их как следует.

Раньше это было бы пределом его мечтаний — полумрак, голые женщины, во всём послушные его желанию, стóит только поманить их пальцем. Сегодня всё это нисколько не привлекало его. Он видел вялую кожу девушек, безобразно большие соски Бетти, костлявый таз Берти.

Наконец Рейнгардт остановился на Берти, потому что она была смуглая,— смуглая, как Милада. Он кивнул ей и поднялся с места. Берти взяла его под руку и, прижавшись к нему, повела к себе в комнату.

Рейхскомиссар сел на кровать, а Берти опустилась перед ним на колени и, ласково касаясь руками, начала раздевать его.— Что с тобой такое?— спросила она вдруг. Она почувствовала, что он смотрит не на неё, а сквозь неё.

— Хлыста захотелось?

Рейнгардт не слышал. Его раздражала не гнусная обстановка, не эта женщина, а собственное

нежелание наслаждаться всем этим. Он видел перед собой одну Миладу и мысленно обладал ею; её обнажённое стройное тело раскинулось перед ним, губы пылали, тёмные волосы падали на округлённые голые плечи.

Он встал.— Боюсь, что мне не интересно,— сказал он.

— А мне-то что?— пожала плечами Берти.— Ты сегодня какой-то странный!

Рейхскомиссар вышел от неё тяжело дыша. Нервное напряжение в нём не находило выхода.

Войдя в салон, он застал там Менкеберга и Вилли за любовной игрой; Бетти куда-то скрылась. Менкеберг, увидев своё начальство, замер неподвижно, но Вилли не выпускала его из объятий. Её толстые руки и ноги, обхватившие Менкеберга, который почему-то так и не снял чёрных брюк и лакированных сапог, отражались во всех зеркалах комнаты. Рейнгардт сел в кресло и закурил папиросу.— Продолжайте, пожалуйста,— сказал он снисходительно.— Не стесняйтесь.

— Слушаю, герр рейхскомиссар!— отрапортовал верный Менкеберг, возвращаясь к прерванному занятию.

Рейнгардт, полужакрыв глаза, смотрел на тесно сплетённую пару. Геринг, думал он, приглашает гостей на такие зрелища или на случку быков. Гораздо интереснее смотреть на это одному.

Он чувствовал себя разгорячённым и лёгким, как в то время, когда Менкеберг допрашивал с пристрастием заключённых в подвалах гестапо.

Вилли похлопала Менкеберга по задку. Шофёр встал и нерешительно покосился на Рейнгардта. Он был не уверен, так ли он поступил, что выбрал Вилли, которая была всё-таки старшей в заведении, и не постеснялся взять её в присутствии рейхскомиссара.

Но Рейнгардт только улыбнулся и раздавил окурок в пепельнице.— Нам пора отправляться,— сказал он, обращаясь и к Менкебергу и к Вилли, которая отдыхала на кушетке во всей своей откровенной наготе.— Меня ждёт работа. Благодарю за вино и за всё. Для меня бывать у вас всегда большое удовольствие.

Вилли, привстав, потянулась за кимоно.

— Не беспокойтесь,— сказал Рейнгардт.

— Спасибо,— зевнула Вилли.— Скажите, дорогой рейхскомиссар, я иной раз думаю...

— Да?

— О войне. Сколько она ещё протянется?

— А что?

— После войны я хочу бросить работу. Куплю домик здесь, в Праге, или в предместьи и заживу на покое. Мне здесь нравится, знаете ли. Конечно, мы должны сначала выиграть войну. Иначе...— она провела короткой рукой по горлу. Этот жест совершенно голый Вилли показался ему непристойным.

— На этот счёт вы можете быть спокойны!— утешил её Рейнгардт и вышел в сопровождении верного Менкеберга, оставив Вилли среди её плюша и зеркал.

Вернувшись к себе в гестапо, он переоделся в форму, велел Менкебергу принести ему кофе и посмотрел список заложников. Сличив этот список с докладом Грубера, он решил первым вызвать Яношека. Из всей этой группы Яношеку скорее всего может быть известно что-нибудь о смерти Глазенапа.

Было уже около одиннадцати часов. Рейнгардт отдал приказ доставить к нему Яношека. Потом велел Менкебергу включить осветительную

систему, как у них это называлось,— Рейнгардт сидел в полутьме за своим столом, Менкеберг в углу позади него вёл протокол, а то место, где должен был стоять заключённый, освещалось сильной лампой.

Два надзирателя втокнули Яношека в кабинет Рейнгардта. Они вышли и закрыли за собой дверь, а Яношек стоял, растерянно моргая, в измятой после сна и нескольких дней заключения одежде, с торчащими во все стороны вихрами.

Яношек чувствовал себя, как старый ветеран перед боем. Он часто встречался с врагом, и теперь, пойманный, припёртый к стене, кипел отвагой и рвался в атаку, приберегая план, который должен был захватить противника врасплох, а ему, Яношеку, доставить победу. Он опасался, что ему уже никогда больше не придётся вступить в бой, что Рейнгардт отправит его на смерть, даже не допрашивая. Он ломал себе голову, как бы ему добиться свидания с этим гестаповцем, внушавшим людям такой страх,— и вот, слава тебе господи, его потребовали к допросу.

Под взлохмаченными волосами череп, круглый, как бильярдный шар, большие уши, торчащие под прямым углом. Голова сидит на короткой шее, грузное, неповоротливое туловище слегка подалось вперёд. Длинные руки праздно болтаются по бокам и кажутся ещё длиннее, оттого что рукава куртки до смешного коротки.

— Ну и обезьяна!— заметил Рейнгардт, обращаясь к верному Менкебергу.

Обезьяна подошла ближе и, к немалому изумлению рейхскомиссара, вдруг заговорила. Заговорила очень быстро и на плохом немецком

языке, с отвратительным акцентом, пересыпая речь чешскими простонародными словечками.

— Ваша честь,— начал Яношек,— до чего же я рад вас видеть!— Он говорил правду. И эти первые слова прозвучали так искренне, что Рейнгардт даже растерялся— в первый раз его жертва выражала удвольствие от личного свидания с ним.

— Мне надо вам признаться! Я просто весь измучился. Да ведь правды-то не утаишь, никак не утаишь, верно?— прибавил он, словно ища поддержки у своего мучителя.

— Менкеберг,— сказал Рейнгардт,— объясните, пожалуйста, этому... этому,— он так и не нашёл нужного слова,— как полагается вести себя в присутствии офицера гестапо.

Менкеберг встал, подошёл к Яношеку и, схватив его за грудь рубашки, потряс хорошенько.

— Вы должны отвечать только, когда спрашивают,— сказал он громко и с расстановкой, подчёркивая каждый слог.

Яношек широко раскрыл глаза в детском изумлении.

— Понятно?— прибавил Менкеберг, тряхнув Яношека ещё раз, и снова уселся на своё место в тёмном углу за спиной Рейнгардта.

— Так ведь дело-то важное,— упорно настаивал Яношек. — Сознаться — так сознаться. Меня, главное, совесть замучила. Один мой знакомый, инспектор Пошпорец из двадцатого округа...

Менкеберг быстро писал, едва поспевая за потоком слов.

— Кто такой инспектор Пошпорец? При чём он тут?— прервал его Рейнгардт в надежде, что этот слабоумный Яношек в потоке болтовни

обронит какое-нибудь дельное указание, могущее навести на след.

— Пошпорек? Да он, господь с ним, вот уже сколько лет как помер. А, бывало, часто мне говорил, Яношек, говорил, всякое дело доводи до конца. Не то плохо будет — совесть тебя замучит. Особенно, как ему выиграть партию в кегли, так, бывало, скажет...

— Молчать! — закричал Рейнгардт. — Идиот проклятый! Я здесь разговариваю, я, и никто другой! Довольно, не то велю заткнуть глотку, — вред ли это вам понравится!

— Ну, ещё бы понравилось! — миролюбиво сказал Яношек. Какой раздражительный этот комиссар! Он чувствовал, что надо кое в чём уступить Рейнгардту — иначе свидание закончится вспышкой ярости со стороны нациста, а Яношеку надо было вывести его из равновесия лишь настолько, чтобы он, сам того не заметив, клюнул на удочку.

— Потом запишем ваши глупости, — сурово сказал Рейнгардт. — Вы заведывали уборной кафе „Манес“?

— Да, ваша честь, и уборной, и клаловой, и половойкой — пани Павлой Потовской.

— Надеюсь, вы дорожите жизнью и сами заинтересованы в том, чтобы арестовали убийцу лейтенанта Глазенапа, потому что вас расстреляют, если убийца не будет найден в самом скором времени.

Яношек уже собирался изложить Рейнгардту свои взгляды на ценность жизни вообще и своей — в частности, но потом решил не перебивать Рейнгардта, чтобы уяснить себе, с какой целью его допрашивают.

— Так постарайтесь припомнить тот вечер.

Вы встретили лейтенанта на лестнице, когда он шёл в уборную?

— Молодец мужчина,— начал описывать Яношек,— только пьяный в доску. Сначала я и разобрать ничего не мог, что он такое говорит...

— Он говорил с вами?— спросил Рейнгардт, оживляясь.— А вы не можете припомнить, что он сказал? Да смотрите, говорите правду!

— Постараюсь! Честное слово, постараюсь!— обещал Яношек, и по лицу его было видно, что он усиленно думает.

Рейнгардт наблюдал за ним. Старик был явно слишком глуп, для того чтобы врать; вопрос только в том, может ли он припомнить, что говорил Глазенап. А Яношек действительно усиленно думал. Он знал, что всё зависит от того, насколько правдоподобную историю он сейчас преподнесёт Рейнгардту. Она должна без натяжки совпадать со всей обстановкой того вечера, быть так проста, чтобы Рейнгардт мог ему поверить, и всё же заключать в себе всё нужное для того, чтобы его план мог осуществиться. Кроме того, в этой истории ни единое слово не должно указывать на то, что он хотя бы подозревает возможность самоубийства — наоборот, надо как-то дать понять, что он слепо верит в убийство, вымышленное Рейнгардтом.

— Мне надо вам признаться по совести,— начал Яношек.

Рейнгардт нетерпеливо прервал его.— Это потом. Я хочу знать, что вам сказал Глазенап?

— Видите ли, ваша светлость, я ему остался должен,— покаянным тоном произнёс Яношек. Он старался рассказывать свою историю как можно беесвязнее, перескакивая с одного на другое, в надежде, что так она сойдёт лучше.

Рейнгардт был не в состоянии уследить за скачками мысли Яношека и, утратив свое невозмутимое превосходство, заорал: — Что он тебе говорил? Отвечай!

— Я ему остался должен, — упрямо повторял Яношек. — Четыре кроны сорок геллеров. А отдать не могу. Понимаете, у меня их больше нет.

— Почему?

— Да отобрали. Когда этот симпатичный молодой человек посадил меня, он отобрал все деньги. И ещё две кроны мои собственные, да карманный ножик, да часы, — закладчик Иосиф Лобзам в день двадцатипятилетия его ссудной кассы подарил их мне, как самому постоянному клиенту. Я честный человек, ваша милость, и до того мне жалко, что я не могу отдать эти деньги; во-первых, у меня их нет, а во-вторых, беднягу лейтенанта убили, так что деньги ему теперь ни к чему, а в-третьих, меня скоро расстреляют, как я слышал.

Из этого стремительного потока слов Рейнгардт с трудом выудил только одно — что Глазенап незадолго до самоубийства давал Яношеку деньги, и, конечно, давал с какой-нибудь целью.

— Почему Глазенап давал тебе деньги?

— Потому что я честный человек, и он мне доверял, — ответил Яношек, простодушная физиономия которого светилась добродетелью.

У Рейнгардта чесались руки схватить этот образец добродетели за шиворот и стукнуть головой об стенку, чтобы встряхнуть из него нужные сведения, затерявшиеся среди вороха пустяковых анекдотов, никому не нужных имён и идиотского самовосхваления.

— И потому, что он просил меня отправить письмо, — сообщил Яношек таким тоном, как буд-

то это совершенно неважно, а самое важное — убедить гестапо в том, что он честный человек.

— Ага!— Рейнгардт вздохнул с облегчением, наконец-то добившись от Яношека показания по существу. В то же время он видел, какими осложнениями грозит это письмо. Он вспомнил другое письмо, найденное в кармане у Глазенапа, недописанное и неотправленное письмо, из которого, однако, можно было понять, что лейтенант покончил с собой. Что существует ещё одно такое же письмо, дописанное до конца и излагающее намерения Глазенапа, казалось логически возможным, и это потрясло Рейнгардта. Но Рейнгардта, легко приходявшего в раздражение от всякой неточности и уклончивости, никогда не смущали осложнения, которые можно было разрешить полицейскими методами. Если такое письмо существует, он его разыщет и устранил всех тех, кому известно его содержание.

— Какого рода было это письмо?— осторожно нащупывал он почву.

— Заказное,—сказал Яношек.—Толстое письмо, весило бог знает сколько. Важное письмо. Потому-то лейтенант, упокой господи его душу, и дал мне десять крон. Друг, сказал лейтенант, я тебе верю, у тебя такое лицо, что... И тут он икнул. Пьяный был, просто-таки вдребезги пьяный. Ступай на этот проклятый почтамт,—извините, ваша милость, это его собственные слова,—и отправь письмо. Тут он ещё раз икнул и заплакал.

— По какому адресу?

— Я тебе череп проломлю, если ты забудешь его отправить, говорит, а сам плачет. Ты идиот проклятый,—извините, ваша милость, это его собственные слова,—зато ты не пьян. Ты и отправь письмо.—Тут он опять икнул и говорит:—Я до

того шьян, что не увижу щели в почтовом ящике, хотя бы она была величиною с дыру в заднице Гесса.— Извините, ваше превосходительство, бедняга лейтенант уже и сам не знал, что говорит...

Яношек был в ударе. Он бы продолжал плести и дальше, но тут его прервал яростный окрик Рейнгардта:— Молчать!— Менкебергу он приказал:— Вычеркните это из протокола!— Потом повторил больше всего занимавший его вопрос:— Какой же был адрес?

Яношек, разумеется, не в первый раз слышал этот вопрос. Он нарочно расписывал плачевное состояние Глазенапа, чтобы дать себе время обдумать и подготовить следующий ход.— Я почём знаю!— сказал он негодуя.— Я честный человек! Можете посадить меня, можете казнить меня, ваша милость,— но зачем же оскорблять? Такое письмо, и отдал его в мои руки бедный, ни в чём неповинный лейтенант, которого теперь и на свете нет,— а я стану читать адрес? Я получил десять крон за то, чтобы отправить письмо, а не за то, чтобы читать адрес. Прочесть адрес, ведь это всё равно, что распечатать и прочесть письмо,— нет уж, ваша милость, никто не взедет меня в искушение, никто!

— Хорошо, когда же вы отправили письмо?

— Вот то-то и беда,— мрачно ответил Яношек. Он, как видно, совсем упал духом, его заела совесть.— То-то и беда. Я даже и этого не мог сделать для бедняги. А ведь хотел отправить, честное слово, хотел, ваша милость!

— Не смейте называть меня „ваша милость“! Так отправили или нет?

— Я же не виноват,— оправдывался Яношек.— Этот симпатичный молодой человек — он арестовал меня, и я так и не успел сходить на почтамт.

— Отлично!— сказал Рейнгардт.

Яношек покачал головой.— Да нет, ваше превосходительство, очень плохо! Просто сердце разрывается.

Рейнгардт позвонил по телефону и распорядился, чтобы ему прислали все бумаги, отображенные у Яношека. Пришлось дожидаться доклада. Яношек воспользовался перерывом, чтобы проверить своё поведение и обдумать следующий ход. До сих пор всё шло довольно гладко. А ведь этот Рейнгардт очень неглуп. Но он только сбит с толку моей простотой и не знает, как к ней подступиться, а кроме того, мне известно, к чему я клоню, а ему нет. Да и времени у него мало — если б он навёл обо мне справки в архивах чешской полиции, я бы здорово влип, он ни единому моему слову не поверил бы,— а ему надо нас послезавтра расстрелять и как можно скорее распутать всё, чего я тут ему наплёл.

Зазвонил телефон.— Что? — проговорил Рейнгардт в трубку.— Нет письма? Совсем нет бумаг? Благодарю вас.

Он повернулся к Яношеку.— Я тебя научу врать мне! Ты, может, думаешь, безмозглый враль, что мы тебе уже не сумеем отравить жизнь, потому что через два дня тебя всё равно расстреляют? Так могу тебя уверить, мы каждую твою минуту превратим в такой ад, что тебе и настоящий ад покажется раем.

Яношек ответил на эту угрозу взглядом, в котором выражалось кроткое изумление. Как вы можете так со мной говорить, когда я честный человек? говорило его лицо.

— Где письмо?— заорал Рейнгардт.

— Я его спрятал,— уныло ответил Яношек.

— Куда?

Ответа не было.

— Куда?

— Вот то-то и оно!— сознался Яношек.— Не могу припомнить. Видите, ваше превосходительство, письмо-то было не простое. Я его берёг пуще глаза. Яношек, говорил я себе, не потеряй это письмо. Бедняга лейтенант тебе верит, смотри, не подведи его.

— Где письмо?

— Вот я и спрятал его хорошенько, чтобы не потерять.

— Куда?

— Так хорошо спрятал, что и сам не помню, куда.

Обычно Рейнгардт умел скрывать свои чувства и не легко выходил из себя. Но тут он изо всех сил стукнул кулаком по столу.

— Менкеберг!— хрипло скомандовал он.— Скажите мне, как мы возвращаем людям память?

Менкеберг отчеканил, как затверженный урок:— Мы запираем их в стоячий гроб. Или бьём резиновой дубинкой. Или стальным хлыстом. Или вышибаем зубы, один за другим. Или подвешиваем за пальцы. Или ломаем кости. Или...

На лице Яношека светилось всё то же беспечное добродушие. Когда Менкеберг остановился, припоминая, не упустил ли он какой-нибудь из самых распространённых способов, Яношек просто заметил:— Вот так же и пан Буриан, мой школьный учитель. Я сидел в третьем классе четыре года, так что пан Буриан всякое терпение со мной потерял. Он каждый божий день порол меня хлыстом, срезанным с молодой ивы у ручья, который протекает через нашу деревню. А только, говорят, между задницей и головой нет прямой связи, так что память у меня и после порки осталась всё такая же плохая, как была.

Наступило короткое молчание, и Яношек не прерывал его, давая утвердиться впечатлению, что он и смолоду был таким же идиотом.

Рейнгардт, на которого рассказ о незадачливом учителе Яношека произвёл должное действие, понял, что ему придётся выйти за пределы своих полицейских обязанностей и вступить в область педагогики. Он взял себя в руки и задал наводящий вопрос:

— Где же вы спрятали письмо, Яношек?

— В кафе „Манес“, само собой разумеется, ваше превосходительство, там, где я работаю!

— В кафе „Манес“! Там, где вы работаете! — передразнил его Рейнгардт. — Нельзя ли всё-таки указать поточнее, куда вы его спрятали?

— Там столько разных мест, что всего и не упомнишь.

— Взять хоть кладовую, такой кучи хлама в одном месте вы, должно быть, нигде не видывали. Это всё мой хозяин; вот уж кто ничего не выбрасывал. Яношек, говорил он, даже старая коробка имеет свою ценность. Как знать, может она ещё пригодится. Так что я ещё хранил.

„Терпение, терпение!“ — думал Рейнгардт. — Ну, постарайтесь хорошенько! Припомните, куда вы девали письмо!

Яношек стоял перед своим мучителем, являя собой жалостную картину бессловесной, но усердной клячи, запряжённой в тяжёлый воз. Сдвинуть его с места она не может, но под ударами кнута, выбивается из сил. Наконец он в отчаянии взмахнул своими длинными руками. — Нет. Нет, не могу. Так ничего не выйдет.

Рейнгардт стал втупик и уже готовился припугнуть его новыми угрозами, как вдруг увидел, что лицо Яношека просияло.

— Я убрал щетку и ведро, достал чистые полотенца, потом нагнулся завязать башмак, а потом пошёл... куда же я пошёл? Куда я пошёл?..

— Вот, если бы я побывал в кафе, там, на месте, я бы всё припомнил, бьюсь об заклад. Только вы, я думаю, не станете биться об заклад. Инспектор Пошпорец, бывало, говаривал мне: никогда не бейся об заклад с полицией, Яношек, с них взятки гладки. Вы не поверите, ваше превосходительство, прямо сердце разрывается, что из-за меня вам столько хлопот. Зато уж если я это письмо найду, вы его отправьте, будьте так добры.

Мысль о новом обыске кафе „Манес“, которую так осторожно заронил Яношек в душу Рейнгардта, укоренилась и пустила ростки.

А почему бы и нет? думал рейхскомиссар. Разве мы не приводим преступника на место преступления и не заставляем его повторить каждое своё движение, чтобы он себя выдал? Нет, это немыслимо! Выпустить заключённого из подвалов гестапо, заложника, которого должны расстрелять послезавтра! Однако, если это проклятое письмо валяется где-нибудь в кафе и его может подобрать кто угодно...

Яношек боялся, что по его лицу будет заметно кипевшее в нём волнение. Он закинул приманку, и теперь рыба подплывала всё ближе и ближе, разглядывая её, обнюхивая со всех сторон. Ключет или нет?

Из-за сильного света Яношек не мог как следует разглядеть Рейнгардта, защищённого глубокой тенью, но чувствовал, что тот изучает его. Он знал, что нацист взвешивает все за и против, стараясь угадать, нет ли у Яношека каких-нибудь тайных замыслов. Достаточно ли убедительно

он сыграл свою роль? Поверил ли Рейнгардт, что Яношек слишком глуп, чтобы выдумать такую запутанную историю? В одном только Яношек был уверен: что Рейнгардт ни за что не угадает, для чего ему, Яношеку, так понадобилось вернуться в кафе „Манес“.

— Если вы рассчитываете бежать, то предупреждаю: я дам вам конвой из самых надёжных моих людей, и вас к ним прикуют.

— Вы подозреваете меня в такой низости?— сказал Яношек страдальческим голосом.— Неужели вы никому не верите? Вы меня огорчаете. Я ведь только хочу помочь вам, ваше превосходительство...

— Не зовите меня „ваше превосходительство“.

— Слыханное ли дело, чтобы кто-нибудь бежал из гестапо?— Он покачал головой.— Другое дело чешские жандармы! Был у меня один знакомый, Бедржих Калувейт, так вот, когда его притянули за кражу кошелька у пани Ольги Вейнтрабовой, хоть денег в нём и не было, он просто-напросто пригласил жандармов в пивную „Синий колокол“, которая попалась им по дороге, и выставил им по три кружки пива. Потом извинился, сказал, что у него переполнен мочевой пузырь, и ушёл с чёрного хода. А гестаповец — тот бы и в уборную за ним побежал.

Что я теряю?— спросил себя Рейнгардт. И не нашёл ответа. Однако где-то в глубине души он чувствовал смутное беспокойство. Ничего определённого, ничего такого, за что можно было бы ухватиться, просто инстинктивная тревога. Такой ли этот Яношек круглый дурак, каким прикидывается? Но для чего ему прикидываться? В конце концов рассудок Рейнгардта одержал верх над его чутьём ищейки.

— Вот что,— сказал он с расстановкой,— если

вы вернётесь без письма, я лично позабочусь о том, чтобы ещё до расстрела у вас не осталось в целости ни одного кровеносного сосуда. Поняли?

Яношек понял. Он и раньше знал, чем ему это грозит. И всё же он ликовал и с трудом удерживался, чтобы не запеть, не закричать, не засмеяться. Жизнь прекрасна, величественна и имеет глубокий смысл, и смерть тоже величественна и прекрасна.

— Даю вам шесть часов,— сказал Рейнгардт.— А теперь убирайтесь отсюда!

Яношек низко поклонился:— Очень вам благодарен, ваша милость!

— Вон!

Последнее, что видел Рейнгардт, была широкая спина Яношка, выпиравшая из старенькой куртки.

Он вызвал Грубера и распорядился, чтобы Младенец с двумя людьми отвёл Яношка в кафе „Манес“ и помог ему отыскать письмо.

— Слушаю!— отсалютовал Младенец.

— Кроме того, пошлите ко мне ещё одного из заложников,— да, актёра Прокоша.

— Слушаю. Немедленно пришлю.

Поскольку они сидели, дожидаясь Прокоша, Менкеберг вдруг проворчал:— У него есть что-то на уме!

— У кого— у этого идиота?

— Да!

— Что это вам взбрело в голову?

— Да удивительно, человек помнит такую уйму анекдотов, а не может вспомнить, куда девал важное письмо!

Без сомнения, в словах Менкеберга была какая-то доля истины. Но Рейнгардт не желал в этом сознаться, особенно подчинённому.

— Так для чего же в таком случае ему понадобилось идти в кафе „Манес“? Кажется, я ему

втолковал, что убежать ему не удастся. Нет, Менкеберг, вы ничего в этом не смыслите. Предоставьте уж мне иметь дело с психологией заключённых.

Прежде чем Менкеберг успел ответить, в дверь втокнули Прокоша. Актёр выпрямился, одёрнул полы пиджака и подошёл к столу Рейнгардта.

— Мне нужно дать показания,— начал он, подчёркивая каждое слово.— Я убил лейтенанта Глазенапа.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Было около полуночи, когда Милада проснулась от беспокойного, полного тревожных видений сна. Голова у неё болела, всё тело ныло, словно избитое бурей.

Она вдруг села в кровати, сообразив, что после ухода Рейнгардта прошло уже несколько часов и что она не сделала самого важного: не сообщила Бреде о посещении рейхскомиссара, о допросе, который он устроил ей, и о том, что Гестапо, как видно, знает о её отношениях с Глазенапом.

Сны она видела запутанные и тяжёлые, полные страха и тоски. Ей надо было бежать от чего-то ужасного, чему не было имени, но её ноги вязли в трясине. Потом кошмар принял форму. Фигуры преследователей, иногда с лицом Рейнгардта, иногда совсем безликие, наставляли на неё сверкающие штыки, надвигались всё ближе и ближе. С бьющимся сердцем она высвобождалась и бросалась бежать, только для того чтобы опять увязнуть в трясине, только для того чтобы опять услышать за собою погоню. Снова и снова повторялось это кошмарное бегство.

Она быстро оделась, всё ещё слыша за собой горячее дыхание погони. Она поняла, что не только чувство долга заставляет её идти к Бреду, но и потребность в спокойствии и силе, в защите и доброте этого человека. Одну только минуту она колебалась, не подождать ли до утра, когда она увидит Бреду на заводе, но тут же отбросила эту мысль, зная, что не в состоянии будет выдержать так долго, и убедив себя, что Бреду нужно уведомить немедленно,— да, ещё несколько часов назад он должен был бы знать об этом.

Она вспомнила прощальные слова Бреды:— Вот мой адрес, я вам буду рад во всякое время, но всё-таки приходите только в том случае, если сочтёте это совершенно необходимым.

Как скоро возникла эта необходимость! Несмотря на свою тревогу, она радовалась тому, что увидит Бреду, и улыбалась, представляя себе, как вздохмаченный Бред, сонно мигая, отворяет ей дверь и говорит: „Милада! Здравствуйте, добро пожаловать, извините, что я в таком виде“. Быть может, оттого что не совсем ещё проснулся, он обнимет её и крепко прижмёт к себе.

Выйдя из дома, она направилась по Малой Стефановской улице. Её обитатели знают, что Малая Стефановская вовсе не тупик, как это значится на картах Праги. В последнем доме по этой улице, очень старинном, построенном в конце средних веков, тёмный проход, ведущий на широкую Карлову площадь. Этот путь и выбрала Милада, так как он скорее всего должен был вывести её на ту улицу, где жил Бред.

Сначала она не заметила тени, которая вынырнула из-под тёмной стены против её дома и неслышными шагами двинулась за ней. Но в

тёмном проходе, где эхо отражало каждый звук, она слышала шорох шагов.

Пан Кратохвил в темноте крался за Миладой. На голове у него была новая с иголочки серая шляпа, которую он приобрёл в кладовой штаба гестапо. „Бери,— сказал ему сторож,— хозяин в лагере. Шляпа ему больше не понадобится“. Кратохвилу очень нравилась шляпа. Во всё время долгого дежурства перед домом Милады он забавлялся этой шляпой, то ухарски надевая её набекрень, то сдвигая на затылок, то держа её перед собою в согнутой калачиком руке, словно из преувеличенного уважения к даме, за которой его приставили следить.

Кратохвил несколько не тяготился слежкой. Ему надо было очень мало времени для того, чтобы выспаться, и он не знал, что такое скука. Время тянулось для него только тогда, когда некого было выслеживать. Он был таким и в молодости, когда начинал свою карьеру. В те времена он служил контролёром трамвайной компании. Его обязанностью было вылавливать безбилетных пассажиров, прятавшихся от кондуктора за развёрнутой газетой. Поймав такого мошенника, он заставлял его уплатить двенадцать крон, вдесятеро против того, что стоил билет.

Однако после того, как он прослужил компании несколько лет верой и правдой, Кратохвилу наскучило получать какие-то жалкие гроши, и он перенёс свою деятельность в сферу взаимоотношений капитала и труда. Новое ремесло он изучил основательно, начал с агента-provокатора, а кончил вице-председателем рабочего союза. После того как ему удалось обмануть доверие членов союза и продать интересы рабочих во время долгой и упорной стачки, он больше уже

не мог быть полезен на этом поприще, но чешская полиция поспешила заручиться услугами такого солидного человека и приняла его на службу. Когда в Прагу вступили нацисты, пан Кратохвил скоро приспособился к изменившейся обстановке. Теперь люди его склада были нужны больше, чем когда бы то ни было. Платили гораздо больше, и приятно было видеть, что доставленная им информация не залёживается под сукном. Никакого сравнения с прежними временами, когда полиции, по крайней мере в некоторых случаях, приходилось опасаться запросов парламента или протеста общественных организаций, во всё сующих свой нос.

На Карловой площади Милада остановилась в тусклом свете фонаря, раскрыла сумочку, достала маленькое зеркальце и сделала вид, что вынимает из глаза соринку.

Стара штука, подумал Кратохвил, отступая в тень подъезда. Работа, как ему объяснили, имела двойную цель: следить за Миладой, чтобы она не скрылась, и за людьми, с которыми она видится. Если даже она и обнаружит, что за ней следят, то это не так важно. Ему нравилось играть в кошку и мышку, а кроме того, он думал, что с этой мышкой не очень трудно будет справиться.

Милада никого не увидела в зеркальце. Но она была почти уверена, что за ней установлена слежка — именно так и должен был поступить Рейнгарт.

Не вернуться ли домой? Но она знала, что теперь сыщик будет следовать за ней всегда, когда бы она ни вышла из дома. А завтра Бреда может подойти к ней во время работы, не зная, что за ней следят... Нет, надо повидать его

сейчас, надо отделаться от этой опасной, назойливой тени.

На Карловой площади был разбит маленький сквер. Милада решила посидеть немного на скамье, словно вышла из дома только для того, чтобы подышать свежим воздухом.

Кратохвил, изображая бродягу, плёлся по дорожке вперевалку, с газетой подмышкой. Он, казалось, не заметил девушку на скамье. Сняв серую шляпу, он подложил газету под голову, зевнул и улёгся на скамье против Милады, равнодушно повернувшись к ней спиной.

Стоптанные башмаки и измятые брюки придавали ему вполне мирный и безвредный вид, и только новая серая шляпа, лежавшая в ногах, как-то не вязалась с его ролью смиренного бродяги.

Некоторое время Милада сидела неподвижно. Если этот отдыхающий бродяга и есть её тень, то можно потребовать скрыться от него, миновав усыпанную гравием дорожку. По траве шагов не будет слышно, стоит только перелезть через скамейку.

Кратохвил не пошевелился. Безошибочным шестым чувством он угадывал, что творится у него за спиной. Надо дать ей фору. Пусть отойдёт шагов на четыреста, если уж собралась куда-то итти, пусть думает, что сбила его со следа, пусть её.

Ну вот, слышно, как она зашевелилась. Ишь какая хитрая, ступает по траве, обходя дорожку. Но то здесь, то там сухой октябрьский лист шуршит под её ногой.

Милада оглянулась. Бродяга всё ещё лежал на скамье, он не переменил позы,—теперь надо спешить, скорее, чтобы он её не догнал.

Всё обошлось гораздо лучше, чем она ожидала. Улица совершенно пуста. Она прибавила шаг.

Тёмная ночь Праги объяла её и поглотила. Милада всегда любила свой родной город, а теперь эта любовь стала ещё сильнее, к ней примешивалась горячая жалость, какую испытывают к тяжелобольным. Город болен, хотя до сих пор ему удалось избежать ужасов бомбёжки, на улицах не зияют воронки, сгоревшие дома не смотрят друг на друга пустыми глазами окон, ещё цело всё, что придаёт Праге своеобразный отпечаток,—горделивый собор на Градчанах, сады в стиле рококо перед аристократическими особняками, вековые арки Карлова моста через серебристую Влтаву, тесно сгрудившиеся узкие фасады средневековых домов.

Город болен, но на мертвенном, изнурённом болезнью лице видны следы былой красоты, когда-то пленявшей вас. Это покорённый город. Сапоги завоевателей враждебно и глухо стучат по булыжникам старых улиц, эхо издевательски повторяет отрывистые слова команды и окрики. Душа города отдана на поруганье. И народ ищет и находит всё новые формы для выражения своей скорби. То памятники народных героев оказываются увенчанными цветами, и угрюмые полицейские под командой нацистов в чёрных мундирах убирают венки и букеты, принесённые ночью. То неизвестно почему начинают гудеть заводские гудки, все в одну и то же время, скорбно и угрожающе. Или на стенах домов и заводов появляются вдруг загадочные надписи со словами вызова и предостережения.

Прежде чем подойти к дому, где жил Бреда, Милада осторожно оглянулась, но не увидела своего преследователя.

Она позвонила. Ей пришлось довольно долго

ждать, потом слышались шаги на лестнице и показался свет. Бреда со звоном повернул в замке большой, тяжёлый ключ.

— Да это Милада!— сказал он.— Не стойте же здесь, как испуганное дитя, входите скорее!

Он был совсем одет. Взяв Миладу за руку, он повёл её, поддерживая. Девушка шаталась от усталости.

— Я не ждал гостей,— пошутил он.— У меня ничего нет, кроме кусочка хлеба, но можно вскипятить того снадобья, которое теперь называется кофе — все-таки что-то горячее. Вы вся дрожите!

Комната Бреды выходила в длинный, пахнущий затхлым коридор. В одном углу за ширмой стояли умывальник и маленькая печка, в другом — стол, над которым висела наскоро сколоченная книжная полка. Кровать, два стула перед занавешенным окном, зеркало, шкаф и портрет старика с бородой, как у императора Франца-Иосифа, дополняли обстановку.

Он пригласил Миладу садиться, указав на кровать.— Единственное место, где мягко сидеть,— извинился он.— Раньше я жил лучше, и книг у меня было больше, но...

— Мне у вас нравится. Правда, сразу видно, что тут живёт холостяк,— сказала она, сiallyсь улыбнуться.

— Да?— он заметно смутился и занялся чайником — налил воды и поставил на печку.

Милада сидела молча, не зная, с чего начать. Комната была полна им, его привычными движениями, его мерными шагами. Павел был совсем другой, гораздо ближе к ней и по возрасту, и по всему складу. А этот Бреда был такой, каким она хотела бы видеть своего отца, мудрый, внимательный, и это сковывало. При нём она

чувствовала себя такой незначительной, её заботы и тревоги казались ей мелкими. Но всё в ней тянулось к нему, она чувствовала, что сердце её раскрылось и с каждым биением горячей волной рвётся к нему навстречу.

Вода в чайнике начала закипать. Бреда села на стул против Милады и, положив одну руку на колено, другой поглаживал подбородок. Он смотрел на неё, и в его больших зеленовато-серых глазах отражался свет электрической лампы.

Потом он заговорил:— Я рад, что вы пришли. Я чувствовал себя очень одиноким.

— А я боялась, что вы будете недовольны,— ответила она с облегчением.— Вы сказали, что без важных причин мне не следует приходить к вам.

Если бы ты пришла и без важных причин, я был бы тебе рад, подумал он. А вслух сказал:— Вы, быть может, найдёте, что я неинтересный собеседник. Вы застали меня одетым, потому что часа через два мне предстоит одно дело.

— Я тут как раз настраивал себя на это. Приходится, знаете ли. Я часто думаю, что мне нехватает храбрости—нервничаю перед делом. И вот я кое-как коротал время, старался овладеть собой, старался читать. Спать я не могу.— Сам того не зная, он помог Миладе подойти к нему. Рассказав ей о своих колебаниях и страхах, он дал ей понять, что они равны, и пробудил в ней горячее желание защитить его и утешить. Она сжала руки—мать, ты посылаешь сына на битву, ты благословляешь его старинным финифтяным образом его святого, и вот он идёт, сильный, крепкий, закалённый, навстречу бурям и невзгодам.

Бреда всыпал в кипящую воду тонко размо-

лотый коричневый эрзац-кофе.— Скоро будет готово,— сказал он, доставая две синие чашки с золотыми ободками, почти стершимися от частого употребления.— А что случилось с вами? Я вижу, вы совсем измучены.

— Я всю дорогу бежала. За мной слежка. Но я, кажется, отделалась от сыщика.

Бреда погасил свет, потом подошёл к окну и раздвинул шторы, как раз настолько, чтобы видеть улицу, оставаясь незамеченным.

Огонь в печке бросал тёплые, живые отблески на пол, на стены, на скудную обстановку. Бреда налил кофе и подал чашку Миладе.— Коротенький человечек в серой шляпе?— спросил он.— Успокойтесь! Держите чашку крепче! Не пролейте кофе, обожжётесь.

Она отпила немного, и дрожь прекратилась.

— Я и вас втянула в это!— сказала она.— Как глупо с моей стороны! Надо было догадаться и не ходить к вам после визита Рейнгардта.

— Ого! Сам рейхскомиссар!

Он сел рядом с ней на кровать и, взяв её незанятую руку, погладил.— Ничего, если мы пока посидим в темноте?— спросил он.— В доме в этот час редко где горит свет, а я бы не хотел показывать этому субъекту вниз, где вы находитесь.

— Что теперь будет с вами?

— Ничего, Милада, в этом доме живёт человек пятьдесят, у одних окна выходят на улицу, у других— во двор. Серая Шляпа не знает, в какую квартиру вы звонили, и был ещё далеко, когда я открывал вам дверь, иначе мы бы его увидели. Он, должно быть, проверил, нет ли в доме другого выхода, а его нет, и теперь он просто ждёт на улице, когда вы выйдете. Если б он или его начальство собирались арестовать вас

или того, к кому вы пришли, кто бы он ни был, сейчас у дверей уже звонила бы полиция.

— Они будут следить за вами!

— Возможно. Но я умею уходить от шпикиов. Прага удивительный город: подумайте только, сколько в ней кривых улиц, проходных дворов, тёмных лестниц и ниш со столбами в толстых старых стенах. И я знаю этот город, я в нём вырос.

— А если они станут следить за домом?

— Я и без того не рассчитывал сюда возвращаться. Вы же оставайтесь в квартире до утра. А когда я буду уходить, часа через два, я как следует рассмотрю Серую Шляпу. Может быть, удастся как-нибудь с ним разделаться.

Он отхлебнул кофе.— Какая гадость!— воскликнул он с гримасой.— Жолуди, ячмень и древесный уголь. Всего намешано. А что, собственно, понадобилось Рейнгардту?

Его манера спрашивать о важном деле так, как будто оно не имеет никакого значения, облегчила Миладе ответ. Ему удалось успокоить её. Рейнгардт со всеми его угрозами, со всей властью, которую он представлял, казался теперь не таким страшным.

Она старалась найти причину этого, зная, что будущее готовит ей немало таких испытаний, какие она пережила в этот день. Ей нужна была путеводная звезда, спасительный огонёк, который помог бы ей не сбиться с пути при новой встрече с врагом.

Что же есть в этом Бреде, в этом молчаливом человеке рядом с ней, что даёт ему силу, что заставляет его жить этой жизнью, перебираясь из одного тёмного угла в другой, ещё более тёмный, в поисках убежища на кривых улочках Праги; жить без любви, без опоры, шутя говорить о

сыщиках. И он даже не особенно смелый. Он ещё новичок! Она потревожила его, когда он старался овладеть своими нервами. По тому, как он держал себя с ней, она угадывала, какая это чуткая, отзывчивая натура.

Темнота сблизила их. Он, казалось, читал её мысли.

— Встречая врага лицом к лицу, разумеется, испытываешь страх. Из всех моих товарищей только один не знает страха — его зовут Яношек, и сейчас он в тюрьме — это один из заложников.

— Если придёт опять этот Рейнгардт или кто-нибудь из них, помните о тех, кто идёт с вами. Вы их не знаете, я тоже не знаю, я знаю только, что они есть. Меня волнует это чувство, оно захлёстывает меня. Однако я что-то разошёлся. Впрочем, иногда нужно охватить взглядом всю картину, чтобы не упустить из виду того маленького уголка, где работаешь. Так что же понадобилось Рейнгардту?

Теперь она успокоилась. Говорить было легко. Она чувствовала себя под защитой. Дрова потрескивали в печке, время от времени с шумом выпадал уголёк.

Она рассказала Бреде о том, как была поражена, застав Рейнгардта у себя дома, о том, что ему известна её ссора с Глазенапом, что он знает и о Павле, и об уличном бое перед университетом; о том, как сначала косвенно, потом прямо, нацист пытался обвинить её в убийстве Глазенапа, о том, что, защищаясь, она чуть не проговорила Рейнгардту о самоубийстве Глазенапа, но во-время спохватилась; как он угрожал ей, когда она не сознавалась ни в убийстве, ни в том, что знает о самоубийстве Глазенапа; как он дотронулся до неё этими ужасными руками, похожими на сухие птичьи

лапы, но с розовыми наманикюренными ногтями, и как, наконец, рейхскомиссар ушёл от неё, очень недовольный, сказав, что будет поддерживать с нею тесную связь.

Бреда внимательно слушал. Во всё время рассказа он боролся с желанием обнять Миладу, защитить её своим сильным телом. Однако ему приходилось заглушать в себе и чувство жалости к Миладе и чувство гордости ею, чтобы вникнуть хорошенько в эту историю и во все последствия, какие могут быть с нею связаны.

— Почему?— спрашивала Милада.— Почему он так пристал ко мне с обвинением в убийстве? Ведь следствие уже закончено, заложники сидят под замком и ждут расстрела...

Бреда поставил чашку на пол.— Рейнгардт не верит, что вы убили Глазенапа или были сообщницей убийцы,— с расстановкой произнёс он.— Ему нужно добиться от вас признания, что вы знали о самоубийстве Глазенапа.

Бреда задумался. Он понимал, что может защитить сидящую рядом с ним девушку, только вооружив её ум, показав ей всю сложность и глубину задачи, как он её понимает.

— Видите ли,— объяснил он,— в этом деле всё подстроено— ведь Глазенапа никто не убивал. Поэтому Рейнгардт, построив всё дело на обмане, вынужден делать вид, будто верит в убийство. Он должен устранить всех, кому известно о самоубийстве Глазенапа. Он опасается, что вам это тоже известно.

— Понимаю,— кивнула Милада,— но это не объясняет, почему он не арестовал меня.

— Да, не объясняет. Но причины довольно просты. Он пускает вас гулять на верёвочке, вместо того чтобы посадить за решётку, так как у него нет уверенности, что вы знаете о самоубий-

стве Глазенапа. Он только подозревает вас. Оставаясь на свободе, вы, быть может, невольно выдадите ему других — например, меня. А другая причина, — он запнулся в смущении: — он не прочь сойтись с вами.

Милада была больше не в силах сидеть спокойно. Бреда следил, как она шагает по комнате и как мечется по стенам в тусклом свете горячей печки её длинная, неровная тень.

— Простите, — поспешил он прибавить, — простите, что я это говорю, Милада. Но иначе трудно объяснить такое явное упущение со стороны Рейнгардта.

— Я сужу о Рейнгардте по вашему рассказу. Вы красивы, Рейнгардт полагает, что вы были возлюбленной Глазенапа. Ему хочется стать заместителем Глазенапа и потому он предпочитает думать, что вы не опасны для его планов.

— Это западня! Мы в полной их власти и нет надежды на выход, — сказала она в отчаянии.

Бреда закрыл лицо руками.

— Перестаньте, Милада! — взмолился он. — Я попытаюсь помочь вам.

Я люблю её, думал он, и не могу защитить. Каждый мужчина хочет быть защитником своей возлюбленной, окружить её уютом и теплом, построить дом для неё. А они бомбят и жгут наши дома, они взламывают наши двери прикладами винтовок, насилуют наших женщин.

— Вы много значите для меня, Милада. Вот почему я должен был высказаться откровенно.

— О, разодрать собственными ногтями горло поработителей, разбить им голову о булыжники наших улиц! Но мы молчим, мы скованы и безоружны, мы только страдаем и ждём.

— Надо рассказать вам о той работе, на которую я иду сегодня ночью, — сказал Бреда, —

потому что она касается вас, подвергает вас ещё большей опасности... Подите сядьте рядом со мной, прошу вас.

Она послушалась. Голос Бреды притягивал её.

— Помните тот вечер, когда мы познакомились с вами?—спросил он.

— Помню. Это придало мне силы.

— Когда мы переходили Карлов мост, прожектора прорезали небо, вы помните?

— Да, в ту минуту вы забыли обо мне,—ответила Милада.—И я почувствовала себя такой одинокой.

— Я думал о Яношеке, думал, что кому-то надо поднять обвиняющий голос,—не тогда, когда всё кончится, но теперь, теперь!

— Вы сказали: „Если бы можно было написать это на небе!“—Она улыбнулась Бреде.

— Да,—ответил Бреда,—если бы мы могли написать это на небе, как они пишут свои кровавые сообщения. Со мной вместе работает мой товарищ Франтишек, монтер пражской радиостанции. С его помощью у меня будет возможность сделать передачу по радио.

— Мы разоблачим по радио гнусную интригу гестапо. Нам незачем говорить о терроре—всем известно, что такое террор. Но мы должны разоблачить полную беспринципность нацистов, их произвол. Как только люди узнают, что террор будет разить их без разбора, как бы они себя ни вели,—террор потеряет всякое действие, потеряет своё жало. Никто с ним не будет считаться.

— Так мы отомстим за Яношека. И за вас. И за всех остальных.

Его решимость, его замысел увлекали и страшили её. Он покорила её своим мужеством. Но она боялась за него. Она уже потеряла Павла

и не хотела терять ещё Бреду.— Но что же будет с вами?— спросила она.— Вы о себе не думаете, а я думаю о вас.

Он почувствовал смирение перед ней, она забыла об опасности, которой подвергалась, и думала о нём! Что он может дать ей? У него ничего нет, даже его жизнь не принадлежит ему. О чём будет он говорить? О будущем, в котором нет ничего верного? О своих чувствах, которые ни к чему привести не могут?

— Я люблю вас,— сказал он.

Милада молчала. Она ждала и искала этих слов, как плющ ищет дерева, вокруг которого может обвиться и подняться к солнцу. Она ждала этих слов, чтобы они укрепили её, помогли ей стать лицом к лицу с миром Рейнгардтов, но теперь, когда они были сказаны, она не чувствовала ничего, кроме страха, страха за Бреду, страха перед расставанием с ним.

Её горячая рука сжала его руку.

Бреда тоже испугался своего признания.— Я люблю вас,— повторил он.— Я не должен был этого говорить. Ведь это нам не поможет, правда?— Он встал и подошёл к окну. Серая Шляпа всё ещё стоял на страже.

Он обернулся и почти крикнул ей:

— Не тревожьтесь обо мне, хорошо? Ведь не сам же я, разумеется, собираюсь говорить по радио!

— Я не боюсь,— прошептала она.— Я верю в вас.

— Сегодня,— продолжал он более спокойно,— мы делаем запись на плёнку. А завтра мы задержим одного нацистского диктора, у которого есть некоторое сходство со мной. Я просто займу его место, войду в студию, поставлю запись, пушу аппарат и уйду. Вот и всё.

Он засмеялся.—Представьте себе их физиономии, когда они обнаружат, что мы их провели!

С чувством облегчения и с детским восторгом она вторила его смеху. Потом тревога вернулась к ней:—А что, если вам не удастся задержать диктора? Или если охрана, служащие, мало ли кто, обнаружат маскарад? Ведь станцию строго охраняют, я думаю. Боже мой, сколько опасностей! И каждая оплошность может стоить вам жизни.

— Опасность есть всегда,—успокаивал он её.— Но до сих пор мне везло. Неужели бросать работу из-за того, что нас могут убить, из-за того, что возможна неудача? Что мы теряем? Разве это жизнь? Я люблю вас больше, чем можно выразить словами. Но я не в силах помочь вам, когда за вами охотится этот Рейнгарт. Разве это жизнь? Нельзя работать, нельзя говорить, нельзя дышать—разве это жизнь?

— Там, на востоке, каждый день умирают тысячи. В нашей стране люди обречены на медленную смерть в концентрационных лагерях, либо их вешают сотнями. Жизнью больше не стоит дорожить, она потеряла цену.

— Я не герой. Но я дошёл до отчаяния, и потому должен бороться.

— Простите,—сказала она.— Я женщина. Позвольте же мне тревожиться за вашу жизнь, ведь она у вас одна, и она дорога мне.

— О, черт возьми,—засмеялся он,—ещё минута, и вы заставите меня плакать у вас на плече, плакать о себе и о вас, о том, чего у нас нет и никогда не будет. Не заставляйте меня размякнуть, это не годится, в особенности теперь. Подумайте о себе, подумайте, как вы рискуете из-за меня!

— Как только наша запись будет пущена в

эфир, огласится тайна, которую так старательно охранял Рейнгардт. Миллионы узнают о самоубийстве Главенапа.

— Я рискую гораздо меньше вас, моя бедная Милада.

— Но я не боюсь,— заметила она с удивлением.— За этот день я прошла все стадии страха, так что больше ничего не боюсь.

— Разве это жизнь?— повторила она шутя слова Бреды.— Серая Шляпа стережёт меня, рейхскомиссар добивается моих показаний или моего тела, а я не боюсь.

Она стала серьёзной.— В такое время каждый час много значит, Бреда. Поймите, я хочу жить. Я, ничтожная клетка в истекающем кровью, растерзанном, голодном теле человечества, хочу жить. Я вовсе не циник, вы должны это понять, друг мой. Вы знаете эту песню?

Заря поутру, заря поутру.

Ты мне говоришь, что я скоро умру,—

А девушки юны, трава зелена,

Я не жил ещё, для чего ж умирать?

— Старая песня...— Её голос прервался.

Сострадание горячей волной прихлынуло к сердцу Бреды, сметая преграды. Он обнял её.

Завтра отодвинулось куда-то вдаль. В этой комнате они были, словно на острове; пляшущий огонь в печи стал для них солнцем, эти краткие мгновения перед расставанием — целой жизнью. Каждый час приносит свою жатву, спешит собрать её, прежде чем он канет в вечность.

Трепетное тело Милады прижалось к нему, словно, кроме него, ничего не оставалось на свете. Да, кроме него, ничего не оставалось. Вокруг них сплошная тьма. Только и света, что в его глазах. Только и силы, что в его объятиях,

только и нежности, что в его руках, только и утешения, что его губы.

Их союз был свободным и естественным, как союз стихий, они соединились, как соединяются звёзды, стремясь друг к другу через беспредельное пространство, чтобы образовать новое солнце, как сталкиваются молекулы, чтобы вспыхнуть пламенем.

О боже мой, думала она, вот чего я жажду. Обвитья вокруг него, вокруг его силы, вокруг его теплоты и так остаться, остаться навсегда. Она ласкала его плечи, его волосы. Как весенние ручейки, вся кровь её сердца заливала его, он был в её сердце. Отдать всю себя, забыть о себе, слиться с ним нерасторжимо, навеки, — этого она достигла, этого никто не может отнять — её любви, её торжества над смертью и страхом!

Я вся горю, охваченная ласкающим огнём. Тысячи тончайших волокон связывают меня с ним, и они тянутся к нему, впитывают его в себя. Пусть ни один нерв не останется обойдённым, пусть воспримет его чудесную, сияющую жизнь, пусть каждый получит свою долю блаженства.

Чувствовать его тело, его плечи и бёдра, его живот и его грудь. Пить теплоту его дыхания, мёд его языка, кровь его губ — жизнь его тела. Это море, бурное, радостное море. Мы носимся по волнам, взлетаем от бездонных глубин к облакам, к небу. Мы парим, как птицы, могучие птицы с широко распростёртыми крыльями, носимые бурей, взлетающие к солнцу, всё выше и выше.

Я огненный шар, я легка. О, так легка! Во мне этот человек, это возлюбленное дитя. Я возношу его на головокружительную высоту, в беспредельную лазурь. Я госпожа, я мать, бессмертная

подательница жизни. Я достигла предельной высоты. Никто никогда не поднимался на такую высоту. Я так одинока, и этот человек во мне только клетка, только ядро жизни, только зародыш. Я выношу его. Какая пустота, какое безграничное пространство.

Какая радость раскрыться, слиться со всей вселенной, отдать всю себя.

Она откинулась на подушки. Этот человек в её объятиях, как он беспомощен. Он улыбнулся и поцеловал её, с робостью, как целуют край голубой мантии богоматери.

Она нежно коснулась губами его щеки, его глаз, его лба, шепча слова утешения и любви, и её любовь, как колыбельная песня, убаюкала его.

Потом наступило молчание. Огонь в печи погас. Бреда встал и взял одеяло, чтобы укрыть себя и Миладу.

Они тесно прижались друг к другу, ровно дыша, и её голова лежала на плече Бреды.

— Милый,— прошептала она,— когда ты уйдёшь, жизнь остановится.

Он взял её локоть в свою большую руку и крепко сжал.— Ты мне близка, как никто никогда не был. Но это невозможно, мы не можем себе этого позволить. Наше время—время одиночества. Пожелай удачи нам обоим.

Она подумала, что женская любовь, верно, сильнее мужской. Неужели он ни на минуту не мог забыть о действительности, даже в её объятиях. Потом она поняла, что ему пора уходить. Так надо. Он был нежен и не хотел обидеть её.

— Я люблю тебя,— сказала она.

— Ты смелая, прямая.

— Что же тут удивительного? Я знаю только одно: я не могу потерять тебя.

Он вздохнул.— Я не мог бы любить тебя так сильно, если бы это не было концом.

— Тебе пора идти?

— Я хочу, чтобы ты знала: мы неразлучны. Как день с солнцем, ночь с луной, как заря с её красками.

— Да.

— Это я унесу с собой.

— Я тоже.

Он поцеловал её. Потом встал. Заботливо укрыл Миладу. Сонными глазами смотрела она, как он одевается. Все, что она пережила за этот день, до дна исчерпало её силы. Она была так утомлена, что только краем сознания воспринимала действительность. Это было хорошо, ей не так мучительно было расставанье.

Бреда понял это чутьём, рождённым любовью, и опустился рядом с ней на колени.— Спи крепко, сказал он,— и не забывай, что на заводе мы с тобой не знакомы.

— Не оставляй меня, милый!— она обняла его тёплыми руками.

— Мы ещё увидимся,— утешал он.— Береги себя. Как ты красива, Милада, у тебя волосы похожи на чёрные вьющиеся ручейки. Дай мне наглядеться на тебя, запечатлеть тебя в памяти такой, какая ты сейчас.

Потом, решительно высвободившись из её рук, он встал и вышел, осторожно прикрыв за собой дверь.

Милада не сразу поняла, что она осталась одна. Звуки его шагов давно затихли.— Милый!— позвала она.— О мой милый!— В первый раз за весь этот потрясающий день она заплакала и плача уснула.

Пан Кратохвил ждал перед домом с терпением охотника, который знает, что рано или

поздно олень должен выйти из чащи и направиться к водопою. Он держал порох сухим, предаваясь приятным размышлениям на тему о том, куда он истратит деньги, полученные за сверхурочную работу. Надо отдать справедливость этому Рейнгардту — на деньги он не скупится. Хотя, с грустью размышлял Кратохвил, не так-то много купишь на эти деньги: во-первых, товаров нет и, во-вторых, они ни черта не стоят. В своей сфере Кратохвил тоже столкнулся с железным законом экономики. Сколько он ни бился, он не мог разрешить противоречия между фактом отсутствия товаров, изъятых нацистами, и изобилием хрустких блестящих банкнот, ещё пахнувших типографской краской. Среднему кругу, к которому относил себя Кратохвил, всегда достаётся сильнее. Нечего и надеяться на прочное благополучие. Поэтому, как ни жаль было расставаться с деньгами, он решил истратить их на угощение сторожам кладовой при штабе гестапо. А они за это дадут ему выбрать любую вещь из пожитков, отобранных у арестованных.

Подбирать крохи со стола новых правителей, рассуждал Кратохвил, всё же лучше, чем оставаться совсем без крох.

Неизвестно, как далеко завели бы Кратохвила эти рассуждения, если бы его не прервал человек, вежливо, но настойчиво попросивший у него спичку. Этот человек, сейчас же отметил нарожившийся, как ищейка, Кратохвил, вышел из дома, в котором скрылась его добыча.

Кратохвил чиркнул спичкой и секунду-другую оба смотрели друг на друга испытующими глазами. Потом спичка погасла.

— Благодарю,— сказал Бреда.

— Моё почтение!— ответил Кратохвил, приподнимая серую шляпу.

— Очень рад вас встретить,— сказал Бреда.

— Вы, кажется, спешите?— продолжал Кратохвил.

— Да, я занят.

— Отлично! Отлично!— сияя улыбкой, запел Кратохвил.

— Куда же вы идёте так поздно ночью? Чем вы занимаетесь?

— Такой приятный человек,— сказал Бреда,— а задаёте столько вопросов постороннему! Можно подумать, что вы служите в полиции. Да нет, конечно, иначе вы бы не вышли один на улицу в такой поздний час!

— Почему же не вышел бы?

— Потому что это опасно.

— Вот как?

— Видите ли, если б вы служили в полиции, а я бы этого, скажем, не одобрял, и встретил бы вас один-на-один,— всё это, мой друг, только предположения,— я бы взял вас вот так — за горло и сжал бы — вот так!

— Пустите! Мне больно!— Кратохвил задышался.

— Прошу прощения.

— Не беспокойтесь!— пробурчал Кратохвил.

— Ну, спасибо за спичку.— И не успел еще Кратохвил притти в себя от испуга, как Бреда уже скрылся во тьме. Теперь до конца вахты Серая Шляпа будет чувствовать себя не особенно приятно, посмеиваясь, думал он. Как легко было бы убить его. Чуть сильнее сдавить пальцами горло. Но в расчёты Бреды вовсе не входило убивать шпиона сейчас; поднялась бы тревога, полиция стала бы обыскивать весь район и, возможно, арестовала бы Миладу. Подойдя к Серой Шляпе и напугав его, Бреда уверился, что тот дежурит один и не может отря-

дить кого-нибудь из своей братии для слежки за ним.

Теперь он знал хорьковую мордочку шпиона и обещал себе, что расправится с ним в самом скором времени.

Как я изменился! думал Бреда. Я хладнокровно и даже с удовольствием помышляю об убийстве человека, которого никогда до сих пор не видел. Ведь прежде я был мирным обывателем, послушным закону. А теперь я и обвинитель, и судья, и присяжный, и палач — по своей воле.

Они отняли у нас не только нашу землю, наши книги, наши машины — они отняли у нас надежду, достоинство, человечность. Но они рубят сук, на котором сидят, их погубит собственная жестокость. Законы истории против них. И я, Бреда, любитель вечерних зорь, тихих речных заводей и мирных размышлений, готов стать убийцей этих палачей и сам потом сложить голову на плахе. Я не теряю из виду великих перспектив этой драмы, а иначе мне казалось бы, что я в западне. Но я вижу результаты, вижу будущее, я вижу, как мои усилия, в соединении с усилиями многих, образуют мощный поток, который раздвинет все преграды.

Он постучался условленным стуком, и его впустили. Радиомонтёр Франтишек, коренастый, крепкого сложения человек с маленькими, живыми глазами и обветренным лицом карпатского крестьянина, был один из членов ячейки, которой руководил Бреда. Второй был провизор Подебрадский. Втроем они могли выполнить любое задание, для которого требовались знания по химии или механике, — это была крепко спаянная группа людей, абсолютно доверявших друг другу.

Они поздоровались. Бреда осмотрел стоявший на столе прибор для звукозаписи, соединённый

с микрофоном. Рядом с микрофоном добросовестный Франтишек поставил стакан воды:— Как в настоящей студии,— пояснил он.— У дикторов всегда пересыхает в горле.

Подебрадский, который принёс диск для записи, рассмеялся.— Ты у нас за примадонну, старик. Ну что ж, пополощи горло мятой и испробуй голос: ми-ми-ми!

— Пробуй сам!— добродушно отпарировал Бреда.— Сейчас я петь не собираюсь, хотя когда-то пел дискантом в церковном хоре в Брно.

Обратившись к Франтишеку, он похвалил механика.— Сколько же у тебя месяцев ушло на то, чтобы украсть все нужные части! Жаль, что мы так редко можем пользоваться этим аппаратом.

— А стоило бы,— сказал Франтишек.

— Когда-нибудь,— Бреда чувствовал, что даже в их деле хорошей работе следует отдавать должное,— когда-нибудь, Франтишек, у нас будет музей, музей свободы, музей чешской революции. Он будет не такой скучный, как наш старый Национальный музей, а гораздо интереснее, и мы будем водить туда наших ребят. И на почётном месте будет стоять вот этот аппарат, самый примитивный, смонтированный из краденых деталей. Я как сейчас вижу ярлычок на стеклянной витрине: „Простой рабочий, по имени Франтишек, потратил долгие месяцы усердной работы на сборку этого аппарата, для того чтобы его друзья могли передать важное сообщение через нацистскую радиостанцию в Праге“.

— Да будет тебе!— сказал Франтишек, сияя от удовольствия.

— Может быть, оставить клочок волос от парика, который ты завтра наденешь?— спросил Подебрадский.— Я рассчитывал продать его пани Ко-

нецковой, она вдова и лысеет с каждым днём. Но музей важнее, это я понимаю.

— Ты циник,— ответил Бреда.

— Зато практик. Ты знаешь, что у меня тут?— и он показал на два кружка с золотыми буквами по красному фону.— „Гогенфридбергский марш,— прочёл он,— исполняет оркестр эсэсовцев под руководством Гизельгера Кальтбауэра“. На тот случай, если какому-нибудь умному нацисту вздумается взглянуть на пластинку завтра утром.

— Честное слово, а мне и в голову не пришло!— сознался Бреда.— Молодец! После того как мы запишем речь, надо ещё раз всё проверить как следует, не упустили ли мы чего-нибудь...

— Я выбросил пятнадцать крон на эту пакость,— безмятежно сообщил Подебрадский.— Продавец сказал мне, что это первый экземпляр прусского марша, который ему удалось продать за полгода, даже немецкая армия, повидимому, мало интересуется немецкой музыкальной продукцией.

— Ты готов?— спросил Франтишек Бреду.

— Одну минуту. Дай только ещё раз посмотрю свою рукопись.

Бреда, усевшись перед микрофоном, перечитывал листки, исписанные его аккуратным почерком. На бумаге слова казались такими холодными и мёртвыми. Надо снова зажечься тем пламенем ненависти и борьбы, каким он горел, когда писал эти строки. Он думал о Яношке, о Миладе, думал о мёртвых, лежащих в безымянных могилах. В этом подвале вместе с двумя людьми, как и он безгранично преданными делу борьбы, он должен был подать призывный клич, который проникнет за эти стены, за все стены.

— Готов, Бреда?

— Готов, Франтишек!

Диск начал вращаться.

— Граждане Праги! Завтра будут расстреляны двадцать заложников за убийство одного нациста, некоего Глазенапа. Этого человека никто не убивал. Он сам покончил с собой.

У гестапо нет даже мотива мести за убитого: ваши сограждане подло обмануты, они жертвы чудовищного произвола завоевателей.

Нет больше иллюзии закона, хотя бы даже нацистского закона... Нет больше безопасности, как бы вы ни гнули головы. Ваша жизнь и жизнь ваших близких находится во власти беспринципных, озверевших убийц. Они убивают ради того, чтобы убивать, мучают, чтобы мучить, их злоба губит вас без разбора, как град колосья.

Мы должны восстать против них. Мы должны портить работу, которую от нас требуют, пускать под откос поезда, поджигать и взрывать их склады, их транспортные средства, их жилища. Давите их, как они давят нас! Уничтожайте их, как они уничтожают нас! Душите их, как они душат нас! Убивайте их, как они убивают нас!

Они или мы! Граждане! У каждого из нас бывает свой шанс, у каждого из нас бывает свой день! Пользуйтесь им и вступайте в борьбу! Поодиночке или группами вступайте в борьбу! Боритесь до тех пор, пока последний из убийц не будет изгнан за пределы нашей земли навсегда!

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Драматическое признание Прокоша в убийстве Глазенапа неожиданностью поразило Рейнгардта.

Весь его тщательно обдуманный план, вся

его работа, сложная интрига, розыски — всё это рухнуло, как карточный домик. Нет! протестовал его разум. Не может этого быть. Не должно быть.

Это признание ставило под угрозу весь его замысел. Делая вид, что разыскивает убийцу Глазенапа, он всё построил на теории самоубийства. Вот почему он обещал протектору ликвидировать заложников, ликвидировать Прейсингера, дать населению хороший урок, показав ему, что такое нацистское правосудие, перед которым все, и бедные и богатые, имеют равные шансы быть расстрелянными.

А теперь судьба навязала ему этого добровольно сознавшегося убийцу. Человек, за которым, повидимому, охотилась полиция, человек, ареста которого требовали пресса и радио, человек, за поимку которого гестапо обещало пятьдесят тысяч крон, стоял перед Рейнгардтом, своим бесцеремонным вмешательством портя всё дело.

Только тут рейхскомиссар с испугом понял, на какую зыбкую почву он так неосторожно ступил. Он положился на доклад Грубера, на наблюдения такого простака, как Патцер, на обрывок письма, написанного Глазенапом в угнетённом состоянии. И на таких-то веских доказательствах возвёл он целое стройное здание! Как мог он так грубо ошибиться! Как мог он так рисковать, навлекать на себя гнев раздражительного Гейдриха, насмешки коллег, возможную отставку, позор и даже — он вздрогнул — переброску на Восточный фронт!

— Так это вы убили Глазенапа! — недовольно откликнулся он. В его голосе не было сомнения — где же слыхано, чтобы человек добровольно напрашивался на ту меру наказания, какая будет назначена за убийство немецкого офицера?

— Да!— ответил Прокош твёрдо, почти с гордостью.

Рейхскомиссар погрузился в молчание.

Ему надо было принять решение, и принять быстро. Менкеберг постукивал карандашом по блокноту, в котором он вёл протокол допроса. Ну, с этим протоколом Рейнгардт мог распорядиться как угодно. Менкеберг, верный Менкеберг, очень хорошо знает, что его жизнь неразрывно связана с жизнью Рейнгардта, и потому будет держать язык на привязи.

Рейнгардт решил возвести новую надстройку на фундаменте лжи. Сначала он сделал из самоубийства убийство, а теперь появился и убийца. Но так как убийца погубил бы всю интригу, то убийцы не должно быть. Очень просто. Он должен исчезнуть.

Жаль, что здесь нет Муртенбахера. Некому похвастаться быстротой и ловкостью, с какой он отразил неожиданную атаку. Но в жизни и всегда так. Самые значительные наши мысли зарождаются в тишине, самые мудрые наши поступки совершаются без свидетелей, без почестей и аплодисментов. Быть может, он когда-нибудь напишет свои мемуары...

Рейнгардт опять улыбнулся. Он был доволен собой—добросовестный, дальновидный чиновник, радеющий о благе великой Германии.

— Что же заставило вас сознаться?— спросил он Прокоша.

Да, что заставило Прокоша сознаться?

Он не отличался храбростью и всегда избегал столкновений, в которых надо было проявить силу характера.

В центре вселенной стоял актёр Прокош, жизнь была для него сценой, а зрителями — весь мир. Едва ли существовала в действительности отдельная личность, носившая имя Карела Прокоша; вчера он был героем, сегодня грешником, завтра будет святым. Он переливался всеми цветами радуги, и выражение его лица, характер, ум менялись с каждым днём, с каждым часом.

— Разве не это ты любишь во мне? — спросил он однажды Мару. — Что я не скучен и однообразен, что я умею перевоплощаться — то я Фауст, то Эдип, то Лир, и всегда полон жизни. В этом моё величие. Я слился воедино с моим искусством.

У Мары это бахвальство вызывало и восхищение, и горький смех. Восхищение — потому что Прокош сумел возвести себя на пьедестал и в этом черпал вдохновение; горький смех — потому что в своей эгоистической слепоте он не видел, что театр не есть ещё весь мир, вся жизнь, но лишь вместилище искусственных огней и обманчивых декораций. Когда она старалась вернуть Прокоша к действительности, он жаловался: — Тот мир, о котором ты говоришь, мне чужд. И я бы не вынес жизни в нём. Я вижу вещи по-своему. То, что я считаю зелёным, покажется другому красным. Возможно. Но кто же настолько мудр и беспристрастен, чтобы решить, кто из нас прав? Мне милее моё представление о мире, ибо в этом мире я велик. Ты сама считаешь меня таким. Потому ты и полюбила меня, потому и соединила свою жизнь с моей — я не благодарю тебя, это так естественно.

Тут Мара обычно умолкала. Усомниться в нём, значило бы усомниться в себе самой. А этого она не могла.

Человек, возвеличивший себя до небывалых

размеров, умер в подвале гестапо. Его убила правда.

Действительность, к которой он питал презрение, отомстила ему. Его жена, его возлюбленная изменила ему, соединив свою жизнь с каким-то ничтожным писакой; даже ребёнок, рождённый ею, был не от него.

Ему не удалась самая важная из ролей — его жизнь. Он просто шут: изъеденный молью костюм, румяна, набор заученных фраз и ничего больше.

Других приводит в отчаяние близкая смерть, а ему не всё ли равно? Он умер, он мертвее мертвых, потому что никогда не жил.

Посреди этих размышлений Прокоша пришёл надзиратель и вызвал Яношека на допрос к Рейнгардту.

Прокош не присоединился к добрым пожеланиям, напутствовавшим Яношека, не простился с ним, как другие — кто знает, увидят ли они его среди живых? До сознания Прокоша не сразу дошло, что дверь камеры давно уже захлопнулась за Яношеком.

Так, значит, Яношека вызвали на допрос к шефу гестапо, думал Прокош. Да и пора уже. Скоро придёт и моя очередь. Что ж, пускай. Мне всё равно. Пусть допрашивают, пусть убивают — я даже рад этому. Всё лучше, чем умирать живому, умирать заживо. Убейте меня, потребую я от них, убейте меня! Положите этому конец!

Он видел перед собой место действия, у холодной серой стены. Красноватые лучи восходящего солнца. Все остальные, маленькие актёры на выходные роли, стоят в немом отчаянии. А он, артист Прокош, поднимает руки кверху, подвергая зрителей в трепет:

— Убейте меня! Положите этому конец!

Или ещё лучше — он сыграет эту сцену один. Он избавится от статистов. Зачем им умирать? Они только испортят ему роль! В чём бы ни была их вина, он, герой, возьмёт её на себя, пожертвует собой за малых сих. Какая сцена под занавес!

Но теперь ему надо найти основание для жертвенности. Именно потому, что он был повергнут в прах, ему нужно подняться высоко, проявить всепобеждающую человечность. Так умер Иисус, взяв на себя грехи всего человечества, прошлые и будущие. Какая слава! Возлюби врагов твоих и прими за них смерть!

Но кто же враг? Кого он больше всех ненавидит? Кого он пристыдит навеки?

Лобковица! Жаль, что это такая незначительная фигура, но так как никого другого нет, то годится и он.

Он, Карел Прокош, принеся себя в жертву, освободит человека, который украл у него жену и был отцом её ребёнка. Какая развязка! До конца своих дней этот негодяй не посмеет поднять голову. Какая месть!

И когда раздастся залп, когда опустится занавес, никто не выйдет на авансцену навстречу аплодисментам. Карел Прокош будет лежать в крови, с мудрой улыбкой на устах, оправданный перед потомством.

Рейнгардт не сомневался в искренности признания Прокоша, хотя оно и нарушало его планы. Но если Прокош убил Глазенапа, какие у него были на то причины и как он это сделал? Далее, он мог бы остаться неизвестным, не выделяться из среды других заложников. Быть

может, он считал, что его признание освободит других? Рейнгардту за долгие годы практики приходилось встречаться с героизмом такого рода. Он считал его смешным, давно отжившим. Но, рассматривая такую возможность, рейхско-миссар сделал ещё один шаг по пути логики: а что, если вся исповедь была выдумана? Выдумана Прокошем, чтобы освободить заложников, пожертвовав собой.

— Подойдите ближе! — скомандовал он Прокошу.

Теперь резкий свет лампы сосредоточился на лице актёра, но тот не смигнул: он привык к блеску огней рампы.

Рейнгардт разглядывал Прокоша. В ярком свете он выглядел бледным и истощённым, щёки обвисли мешками, глаза покраснели, лоб казался землистым. Губы актёра побелели, отросшая щетина бороды углубляла тени на его лице. Он болен, подумал Рейнгардт. Может быть, просто от духоты в камере, а может быть, и в самом деле болен. Кроме того, он неуравновешен, это — неустойчивый интеллигент, легко уступающий давлению. Не трудно будет добиться от него фактов.

— Ну, дорогой мой Прокош, — вернулся Рейнгардт к допросу, — не расскажете ли вы нам несколько подробнее о том, как и почему вы убили Глазенапа? Не можете же вы просто сказать нам: я его убил! — и думать, что этим всё исчерпано. Наша задача установить правду, всю правду. Если вы расскажете нам правду, то вам нечего опасаться.

Прокош, который, лёжа на койке, имел достаточно времени для того, чтобы придумать подробности, начал свой рассказ.

— Я ненавижу его. Это была такая скотина.

Безобразный, хвастливый, отвратительный, пьяный. Я тонко чувствую. И потому я убил его.

Рейнгардт прервал актёра:— Это у вас что же, привычка? Я хочу сказать — убивать людей, которые пришлись вам не по вкусу?

— Нет,— сказал Прокош,— но он был нацист, и, следовательно, с ним нечего было считаться так, как считаются даже с самыми ненавистными людьми.

— Однако вы не стесняетесь в выражениях!

— А чего ради я стану стесняться? Я знаю, меня ждёт смерть, что бы я ни говорил. В сущности, я даже рад, что вы услышите от меня правду.

Рейнгардт кивнул.— Правду... Продолжайте!

Прокош задекламировал:— Вы принадлежите к правящим. Вы не знаете, что значит находиться под вашей властью.

— Можете быть уверены, что знаю,— улыбнулся Рейнгардт.— Я не лишён воображения.

— Доходишь до того, что начинаешь думать: следующего, с кем я повстречаюсь из этой банды, я убью. Это такое изумительное облегчение — убить, чувствовать, как жизнь покидает тело негодяя, которое вы держите в руках...

И вдруг, сделав шаг к Рейнгардту:— Ужасно, не правда ли?

Рейнгардта несколько не увлекло исступление актёра.— Звучит очень убедительно,— сказал он.— Жаль, что мне не пришлось видеть вас на сцене. А ваше признание просто бесподобно. В моей работе мне часто доводится слышать, как признаются люди, но вы первый признаётесь с таким увлечением. Не правда ли, Менкеберг?

Менкеберг проворчал:— Не можете ли вы заставить его говорить медленнее? Дьявольски трудно записывать.

— Вы слышали, чего хочет Менкеберг?— спросил Рейнгардт.— Обычно его работа гораздо легче—я задаю вопросы и с трудом добиваюсь ответа от заключённых, так что Менкеберг успевает записывать. Но вы говорите с таким воодушевлением, а потому не взыщите, если мы в чём ошибёмся.

Прокош был несколько задет ответом рейхс-комиссара. Он чувствовал двусмысленность вежливых похвал Рейнгардта, но не мог решить, верит ему рейхскомиссар или нет, удалась ему выдумка, или Рейнгардт тонко высмеивает его.

Правда заключалась в том, что Рейнгардт, слушая Прокоша, всё меньше и меньше был склонен ему верить. Рейхскомиссар, которому мало приходилось иметь дело с актёрами, думал, что, может быть, они действительно таковы. Но не исключена возможность, что Прокош врёт,—торжественно и с великолепным апломбом, но всё-таки врёт.

Однако Рейнгардт был не такой человек, чтобы вскочить с места и крикнуть: „Лжёшь, негодяй!“ О нет, он сидел спокойно и наслаждался спектаклем, дожидаясь, пока лжец не запутается в собственной выдумке, слегка направляемый к финалу рукой Рейнгардта Мудрого.

— И других мотивов у вас не было?—спросил он.— Не Глазенап, так другой немец, вам было бы всё равно?

— Да,—сказал Прокош,—ненависть не разбирает.

— Я вижу, вы опасный человек!

— Да, меня можно считать опасным.

— Я уже спрашивал, что заставило вас сознаться? Вы не ответили мне. Может быть, ответите сейчас?

Прокош подготовился к этому вопросу. Крас-

норечивым жестом он поднял правую руку.— Ваши подвалы, господин рейхскомиссар, не вызывают особенного желания жить. Скорее наоборот. И когда я узнал от доктора Валлерштейна, что всех нас расстреляют как заложников, если не будет найден убийца лейтенанта Глазенапа, то мне пришла в голову простая мысль: так как я убийца и так как я во всяком случае должен поплатиться жизнью, то не сознаться ли мне? Пусть я умру более мучительной смертью, всё равно умереть можно только один раз. И я получу моральное удовлетворение — я буду знать, что остальным, ни в чём неповинным, возвратят свободу.

Рейнгардт улыбнулся. Он посмотрел на свои ногти и слегка провёл ими по чёрному отвороту мундира.— Так вы надеетесь на нашу порядочность?— спросил он.— На порядочность и справедливость тех самых людей, которых вы так ненавидите, которых, по вашим словам, готовы убить при первой возможности. Почему же мы должны действовать так, как вам хочется? Почему нам не стать на вашу же точку зрения — не убить вас, если есть возможность? Вас — и заложников.

Полузакрыв глаза, он следил за Прокошем. Он был доволен — актёр растерялся, и не было суффлёра, который подсказал бы ему следующую строчку.

— Этого вы не можете сделать! — заикаясь, произнёс Прокош. — Я сознался! Покарайте меня! Прикажите меня расстрелять!

— Расстреляем, расстреляем. Но сначала расскажите нам, как вы убили Глазенапа. И я бы желал слышать правду без театральных прикрас. Менкебергу, знаете ли, придётся всё это записывать.

Прокошу стало до ужаса ясно, что не он играет Рейнгардтом, а тот ведёт с ним дьявольскую игру. Прокошу трудно было состязаться с ним в области логики и криминологии. И как бы он мог, лёжа на неудобной койке и сокрушаясь о своей бесплодно потраченной жизни, соткать паутину фактов, настолько прочную, чтобы она устояла перед критическим взглядом Рейнгардта? Как мог он знать то, что было известно Рейнгардту? Как мог он заранее придумать ответы на вопросы, которых не ждал? Он надеялся, что будет довольно одного признания, быть может, объяснения мотивов убийства. А от него требовали деталей, обстоятельств, фактов, от него, который никогда не обращал внимания на мелочи.

— Как я его убил!—возмутился он.—Я убил его—неужели этого мало? Неужели вам нужны отвратительные подробности?

— Вы удивляете меня, Прокош! Вы становитесь мягкосердечны, а? Да,—любезным тоном настаивал Рейнгардт,—мне нужны отвратительные подробности.

— Не помню. Всё это произошло, словно в каком-то вихре.—Он пытался убедить непреклонного человека, сидевшего перед ним.—Неужели вы не понимаете—кровь бросается в голову, всё представляется вам в искажённом виде, звуки обостряются...

— Поверьте мне,—сказал Рейнгардт,—я смыслю в убийстве гораздо больше вашего. Это происходит совсем не так, как вы описываете. Чаще всего убивают очень хладнокровно, очень обдуманно. Вы хотите, чтобы я принял ваше признание на веру, не правда ли? Так вот, как человек, которому вверена охрана жизни и собственности в этом городе, я должен знать точно,

что именно произошло. Если вы не можете рассказать мне, значит, вы говорили неправду.

Прокош был пойман. Он знал это. Какую бы историю он ни придумал, только по счастливой случайности она могла сойти ему с рук.

— Глазенап спустился вниз, в уборную. Его стошнило на пол бара, и он ослаб. Это было видно. Вот почему я пошёл за ним.—Прокош говорил с запинкой, останавливаясь после каждой фразы.

— Когда?

— Когда? Через некоторое время после того, как пришёл сторож вытирать пол. Я сообразил, что, кроме Глазенапа, в уборной сейчас никого нет.

— Видите, насколько я прав?—заметил Рейнгардт.—Убивают хладнокровно. Вы совершенно резонно приняли в соображение почти все обстоятельства. Продолжайте!

— Я сошёл вниз по лестнице.

— Никто этого не видел?

— Насколько мне известно, никто.

— Вы пришли в кафе один?

— Нет, со мной был Лобковиц.

— Понимаю, — сказал Рейнгардт. — Продолжайте!

Прокош, замирая от страха, подумал, что ему придётся сообщить о своём признании Лобковицу, придётся просить своего врага, чтобы он подтвердил перед Рейнгардтом всё рассказанное им. Прокоша передёрнуло.

— Продолжайте! Продолжайте!—понукал Рейнгардт.

— Внизу, в уборной, я увидел Глазенапа, наклонившегося над раковиной. Мне стало противно, и моя решимость покончить с ним только

усилилась. Не думаю, чтобы он слышал, как я подошёл к нему сзади, ему было не до того.

— Я обхватил руками его шею, крепко сжал её пальцами. — Воображение Прокоша завладело им. Он думал уже не о Глазенапе, которого едва заметил в кафе „Манес“, а о Лобковице, о шее Лобковица...

— Сжимал и сжимал её изо всех сил. И вдруг он весь обмяк. Умер.

— Без борьбы?

— Он был пьян, и я застал его врасплох — он не боролся.

— Вы душили его вот так? — Рейнгардт обхватил руками толстую шею Менкеберга, иллюстрируя рассказ.

— Да, так, — подтвердил Прокош.

— А куда вы девали труп?

— Бросил в реку.

— То есть вы донесли мёртвого лейтенанта до набережной и столкнули в Влтаву?

— Да.

— Вы не боялись, что вас кто-нибудь увидит?

— Было темно. Не думаю, чтобы меня видели.

— Так, значит, свидетелей нет... — Рейнгардт откинулся на спинку стула. Потом начал перелистывать бумаги в папке с надписью: „Лейтенант Эрих Глазенап“. Он просмотрел рапорт полицейского врача — на теле не было никаких следов. Пальцы оставили бы отпечаток на шее.

Рейнгардт улыбнулся коварной улыбкой. Ловушка захлопнулась.

— Возможно, придётся отдать приказ, дорогой Прокош, — невозмутимо объяснил Рейнгардт, — который мне очень не хочется отдавать. Но поймите меня! Надо вас изолировать от ваших товарищей по камере, чтобы вы не могли рас-

сказать им о нашей весьма поучительной и интересной беседе. К сожалению, условия одиночного заключения у нас оставляют желать лучшего — действительно, помещение будет довольно тесное, ни лежать, ни даже сидеть вы не сможете. Там темно, и вентиляция далеко не образцовая. Как я уже сказал, мне очень не хочется поступать с вами так, я отдаю этот приказ единственно в интересах правды. На тот случай, если вы пожелаете добавить какие-нибудь подробности или изменить ваше показание. Я прикажу одному из надзирателей справляться о вашем самочувствии через каждые три часа. Согласны вы на это?

У Прокоша подогнулись колени. Он закрыл глаза — в первый раз в жизни актёра ему было больно от яркого света. Он вспомнил рассказы Яношека о стоячих гробах. Вот на что он теперь осуждён. Его последнюю сцену, монолог под занавес, не так-то легко закончить.

— Не приходите в отчаяние, — утешил его Рейнгардт, — я знаю многих, которые прошли через это без всякого вреда для себя. — Он позвонил, и Прокоша увели.

Актёр услышал ещё смех Рейнгардта: — Менкеберг, это дело Глазенапа с каждым часом становится всё увлекательнее. Как вам кажется?

Потом дверь затворилась, и Прокоша охватила полутьма коридора.

В камере оставалось только трое заложников: Прейсингер, Лобковиц и доктор Валлерштейн. И никто из них не мог уснуть, хотя камера теперь казалась более просторной и у каждого была отдельная койка.

Тьма была непроглядная, что действовало

удручающе на Валлерштейна. Он не мог писать, не мог уйти в свои драгоценные заметки.

Лобковиц был мысленно с теми двумя, которые были вызваны на допрос и до сих пор не вернулись. Всё, что он слышал о жестоких пытках и бесконечных допросах, оживало перед его глазами; боясь за Яношека и Прокоша, он боялся и за себя: его очередь должна была притти очень скоро. Он уже не чувствовал ненависти к Прокошу, он жалел его. Как выдержит актёр пытки нацистов, пережив такое потрясение? Счастье ещё, что у Прокоша нет никакой тайны, которую надо было бы хранить.

Другое дело Яношек. Они никогда не говорили на эту тему, но у Лобковица было чувство, что Яношек знает больше, чем говорит. Лобковиц молился о даровании ему силы, силы для себя и для Яношека, молился богу, в которого до сих пор не верил и которого не могло быть, как подсказывал ему разум. И всё же он молился в безумной надежде, что бог, суровый, но милосердный, восседает где-то на недостижимой высоте и что мольба отчаявшегося человека должна дойти до его слуха.

И другая безумная надежда вторглась в душу Лобковица. А может быть, допрос означает, что есть надежда избежать расстрела? Что, если исход дела не предрешён заранее? Что, если гестапо напало на след убийцы? Что, если убийца найден?

— Как вы думаете, выпустят они нас, если убийца Глазенапа арестован?

Ответа не было.

— Вы слышите меня, доктор Валлерштейн?

— Да, я слышу вас, Лобковиц.

— Так почему же вы не отвечаете?

— Потому что надежды очень мало. Нацисты

так или иначе расстреляют нас для поддержания своей системы террора. Это круг, и нам из него не выйти.

— Предположим,— не сдавался упрямый Лобковиц,— что убийца — один из заложников! В сущности, этот вывод напрашивается сам собой, ведь мы все были в кафе, когда Глазенапа убили.

— Может быть, вы и ожидали бы такого величия души, но люди, к сожалению, не всегда оправдывают ваши ожидания, мой юный друг. Такой человек, как Прейсингер, например, вряд ли сознается. Он трус в душе. А скажите, вы бы его выдали?

— Мне не нравятся ваши вопросы, доктор Валлерштейн. Он в одном положении с нами...

— В одном положении могут быть очень разные люди,— мягко возразил Валлерштейн.

Прейсингер, чувствовавший себя очень угнетённым и раздражавшийся всё сильнее в течение этого разговора, закричал:

— Вы — садист! Я знаю, что вы меня ненавидите! Вы заставляете Лобковица предать меня, чтобы спасти вашу собственную шкуру! Так позвольте сказать вам, что я ещё выплыву. Меня освободят, я знаю! Я знаю! У меня есть влияние, у меня есть связи... Это вам, может быть, придётся умереть, и, уж поверьте, я плакать о вас не стану.

— Если вы так влиятельны,— сказал Валлерштейн,— почему же вы здесь сидите?

Прейсингер засмеялся безумным смехом.— Я здесь именно потому, что имею влияние. Вы оба этого не понимаете и, конечно, думаете, что я рехнулся? Нет, я не рехнулся — я знаю, что говорю. Вы оба — ничтожные пешки, вы существуете только для того, чтобы вас передвигали

с места на место. А я не просто человек, за мной горы и рудники. Я представляю уголь. Я — уголь, и, значит, я — железные дороги, электричество, пар, я — колеса, которые движут станки, которые штампуют, поршни, которые толкают.

— Очень убедительно, но посмотрите на себя сейчас!

— Это пустяки! — торжествовал Прейсингер. — Я сам попал сюда, сам и выберусь отсюда!.. Им пришлось сделать меня министром — помните?

— Да, помню, — согласился Лобковиц, работавший в газетах. — Вот был скандал!

— Скандал — это пустяки! Вы не можете себе представить, как неприятно, когда эти политики тормозят хорошо обдуманное вами мероприятие. Я решил сам этим заняться. Я присутствовал на том заседании кабинета в Мюнхене, когда нам приказали передать Гитлеру Судеты. Я знал, и все мы знали, что это значило отдать Чехословакию. Но дело шло не только о нашей маленькой стране.

— Вы не привыкли мыслить политически. Я должен вам объяснить. Советы предлагали нам помощь, если мы будем сопротивляться. Таким образом, у нас в руках была судьба всей Европы.

— Я встал и сказал: — Господа, кого вы предпочитаете видеть в нашей стране — нацистов или Красную Армию? В обоих случаях мы проигрываем. С приходом нацистов мы потеряем невосомые блага: демократию, национальную независимость, свободу печати, свободу слова и так далее. С приходом Красной Армии мы потеряем очень существенные блага: я, например, потеряю свои рудники, вы, господин премьер, — ваши имения. Помощь Советов означает, что весь этот мелкий народ, которым мы здесь правим, под-

нимет голову и ладить с ним будет очень трудно. А с нацистами мы сталкиваемся.

— Из двух зол надо выбрать меньшее. Что касается меня, я предпочитаю нацистов и подам голос за них.

Лобковиц был в бешенстве, голос его звучал хрипло:— Вы заслуживаете того, чтобы вас расстреляли — и расстреляли нацисты.

— Не говорите глупостей! — засмеялся Прейсингер. — Они меня помнят. У меня с ними были самые лучшие отношения. До их прихода Угольный синдикат был в руках евреев Петчеков. После прихода нацистов их вышвырнули вон. Во главе синдиката стал я. Так что, вы понимаете, на этом заседании кабинета решались гораздо более важные вопросы, чем судьба нашей маленькой страны.

— Понимаю, — согласился Валлерштейн. — Вы меня интересуете как феномен, Прейсингер. Акции, Угольный синдикат, — этого не едят, и в постель с этим не ложатся. Вы продали свой народ — что же вы из этого извлекли? Какое ощущение? Какое удовольствие?

— Сознание могущества, — ответил Прейсингер. — Сознание, что ты двигаешь, а не тебя двигают, что ты толкаешь, а не тебя толкают.

— Вы сумасшедший, — крикнул Лобковиц.

Яношек сидел на заднем сиденье открытой штабной машины между двумя дюжими эсэсовцами в стальных шлемах, очень мало заботившихся о том, чтобы Яношке было удобно, и толкавших его с двух сторон, стараясь расстелиться пошире. Вместе с шофёром сидел Младенец Грубер, глава экспедиции в кафе „Манес“. Эсэсовцы были не слишком довольны по-

ездкой; их вытащили из-за карточной игры в уютной, прокуренной караулке для сопровождения этой косоглазой чешской обезьяны в какой-то бар, неизвестно зачем,— а всего обиднее, что бар в это время уже закрыт и пить во время дежурства ни в коем случае не разрешается.

Грубер ухмыльнулся, увидев Яношека; он узнал в нём того человека, который доставил ему больше всего хлопот в день ареста заложников. Теперь этот человек опять в его власти, можно будет позабавиться!

Машина мчалась по затемнённым улицам, оглашая их воем сирены. Попадавшиеся навстречу прохожие жались к стенам, думая:— Несчастный, бог его знает, что он сделал, бог знает, что сделают с ним.

Но Яношек чувствовал себя счастливым. Свежий ночной воздух бил ему в лицо, забирался под куртку, и дышать им было отрадно. После затхлой атмосферы в камере он освежал голову и укреплял нервы. Вырвавшись хоть на минуту из тюрьмы, уже чувствуешь себя свободным!

Он напевал песенку, которую слышал когда-то во время жатвы, её пели молодые голоса полногрудых моравских девушек. Яношек не отличался музыкальностью, он пел фальшиво, но с большим чувством. Мысленно он подбирал новые слова к старому мотиву:

Да, негодяи, сегодня, сегодня над вами одержим победу!

Да, негодяи, я долгі свой исполню и адрес друзьям передам!

Да, негодяи, вы сильны, но мы хитры и упорны!

Да, негодяи, мы скоро взорвём вас, подложив динамит вам под зад!

Как стихи, это было плохо, неумело, но как боевой клич Яношека звучало торжествующе. Офицера, который с победным кличем вёл своих людей на приступ, почитает и помнит потомство. Счастливец! Такие, как Яношек, умирают в неизвестности, хотя бились они не менее храбро, заранее обдумав план сражения, и добросовестно выполнили свой долг. Зато они знают, что содействовали будущему счастью миллионов.

— Перестань выть!—приказал Энцингер, сидевший справа от Яношека.—И какого чорта ты радуешься?

— А город-то, наша Прага?—объяснил Яношек.—Я, видите ли, прощаюсь с ней, потому что завтра меня расстреляют. Если бы вы родились тут, неужели вы были бы не рады перед смертью ещё раз повидать родной город?

Энцингер повернулся к Вальтерсу, сидевшему по другую сторону Яношека.—Ну, вот и пойми этот народ! Мы их расстреливаем, а они поют!

Вальтерс проворчал:—Они и сами ничего не понимают. Сказано, низшая раса. Ни культуры, ничего. А мы развози их по улицам среди ночи.

Машина срезала угол. Они доехали до реки и мчались по набережной Влтавы. Позади них луна освещала холодным светом Градчанский холм на противоположном берегу; редкие облака с серебряными краями неподвижно застыли в беззвездном небе.

Яношек увидел реку, спокойную и широкую реку, дробившую лунный свет на мириады огней, и у него захватило дыхание. Исчезла вся злоба, вся ирония, вся суровость, приобретённая за долгие годы борьбы. Осталась только великая умиротворённость и мысль: как я недолговечен, как мало значу! Город и река будут суще-

ствовать попрежнему, величественные, не дряхлеющие. А я сольюсь с ними, как устои Карлова моста, как статуи на кровле собора.

Три длинные, тяжёлые баржи с грузом показались на реке, беззвучно скользя, и вернули Яношека к действительности. А вдруг это те самые баржи, которые он поможет взорвать. Он перестал тревожиться. Он так силен, так уверен в себе и в своём жизненном назначении, что ни сомнениям, ни страху нет больше места в его сердце.

Они подъехали к кафе „Манес“ и остановились. Там было темно и пусто; на веранде опрокинутые стулья громоздились на столах.

Поставив ногу на подножку машины и опершись локтем на колено, а подбородком на ладонь, Грубер казался себе по меньшей мере фельдмаршалом, погружённым в раздумье. Это раздумье ни к чему не привело. Он повернулся к Яношеку и спросил:

— У кого ключи?

— У хозяина.

— А где хозяин?

Яношек, всё ещё зажатый между двумя эс-эсовцами, отважился подать голос:— Думаю, что дома, в кровати со своей хозяйшкой.

— Разве нет сторожа или кого-нибудь вроде?

— Как же. А я-то?

— Чего же вы с самого начала так не скажали? Где ваш ключ?

— Он у вас.

Но Груберу и в голову не пришло взять с собой ключ, отобранный у Яношека при аресте. И он не имел ни малейшего желания ехать обратно в штаб, искать по всей кладовой и, найдя этот несчастный ключ, опять возвращаться.

— Придётся взломать дверь,— объявил он, при-

нимая новую позу командующего на поле битвы.— Вперёд! Захватите с собой винтовки!

— Вот и отлично,— заметил Яношек, ковыляя за Энцингером и Вальтерсом.— Пускай все видят, что у нас важное дело. Неинтересно устраивать обыск, если потом никто даже не заметит, что мы тут были, правда ведь?

Энцингер и Вальтерс начали действовать прикладами винтовок, и так как Яношек был к ним прикован, его руки в кандалах невольно проделывали те же движения—беспомощная марионетка, нелепая карикатура. Дверь затрещала и подалась. Яношек, следуя за Грубером и своими двумя конвоирами, вошёл в тёмное, мрачное помещение, где он работал в такой скромной и незаметной роли. Была какая-то высшая справедливость в том, что он, стоявший ниже всех, теперь будет распоряжаться в этом доме.

— Свет! Где свет?— кричал Грубер.

Яношек не видел причины торопиться; чем больше времени он проведёт в кафе, тем меньше ему придётся мучиться в застенке у Рейнгардта. Пускай Грубер обдирает себе бока, если ему так к спеху!

— Главный выключатель в подвале,— услужливо сообщил он. Они осторожно подвигались вперёд по тёмным коридорам, следуя за узким снопиком света от фонаря Грубера. Яношек, знавший наизусть каждый закоулок, двигался ощупью и так же неловко, как другие.

— Энцингер! Вальтерс!— командовал Грубер.— Следите за заключённым!— Но опытные стражи, предвидя, какой опасный удар могут нанести его руки в кандалах, крепко держали Яношека.

На краткий миг в уме Яношека блеснула мысль: сбить их с ног, дать Груберу хорошего

пинка и бежать! Быть свободным. Можно скрыться, гестапо никогда не найдёт его в этом городе, где ему известны тысячи тайников. Но дело важнее свободы: мало надежды, что он выйдет победителем из неравного боя с тремя вооружёнными силачами. Что значит его жизнь в сравнении с жизнью многих, которых он спасёт, взорвав баржи?

И вдруг свет ослепил их, резкий свет незажжённых абажурами лампочек в пыльных патронах. Перед ними была подвальная кладовая, входившая во владения Яношека. Здесь были старые ящики и коробки, которых не велел выбрасывать хозяин, поломанная мебель, пустые бутылки, груды старых меню, тряпки, ведра, щётки — пёстрая коллекция ресторанных отбросов. Искать что-нибудь в этом хаосе, а особенно письмо, могло присниться полицейскому разве в кошмаре.

Но Грубер не так давно стал полицейским и потому не терял надежды. — Что ж, начинайте! — сказал он, взглянув на свои часы.

Яношек, попрежнему прикованный к Энцингеру и Вальтерсу, мстительно принялся за работу. Ведя своих стражей на буксире, он начал рыться в ящиках. Густая пыль поднялась столбом. Он передвигал ящики, спотыкался о бутылки, отталкивал в сторону ветхую мебель с небрежностью человека, не питающего уважения к хозяйской собственности.

Грубер отбежал к двери и высунул нос наружу. Но Энцингеру и Вальтерсу не было и такого облегчения. Лёгкие у них переполнились пылью, глаза слезились, лица были покрыты грязью. Яношек свирепствовал, делая вид, что энергично ищет.

— Надо найти, — бормотал он, — надо найти. Что

скажет бедный рейхскомиссар, если мы вернёмся без такого важного документа? А ну-ка, в этом углу, может, оно здесь.—И груды старых меню полетели в стороны, так что ноги тонули в бумажном море. Яношек стал на колени.—Надо же найти!—И, раскидывая листки направо и налево, он зарывался всё глубже и глубже.

Наконец Энцингер заметил:—Нет смысла так искать!—А Вальтерс простонал:—Чорт бы побрал этого полоумного, мало ли что ему в голову взбредёт!—не объясняя, кого собственно он имеет в виду: Яношека, Грубера или самого Рейнгардта.

Грубер не только прохлаждался, он думал. Теперь он поторопился сделать вывод из своих размышлений.

—Постойте!—сказал он.—Так мы отсюда не уйдём до завтрашнего вечера. Нам нужна система. Система!—повторил он, припоминая крохи премудрости, оставшиеся у него в памяти от разносков Рейнгардта.

Все четверо подошли к дверям, где пыль была не так густа. Грубер открыл военный совет, ещё раз потребовав внести в дело систему. Но Яношек прервал его, скромно заявив, что самая лучшая система та, где работают все. И Грубер, которому, как главе экспедиции, приходилось только наблюдать, не возражал против этого. Однако он не только не одобрил Яношека за оказанное содействие, но, следуя примеру своих лидеров, присвоил себе его идею и сказал:—Мы разделим помещение на три части. Энцингер будет искать с правой стороны, заключённый — посредине, а Вальтерс — слева. Так мы пройдем по всей длине комнаты и обыщем её шаг за шагом.

И, вынув револьвер из кобуры, он продолжал:

— Можете отпустить заключенного, я буду его держать под прицелом.

Энцингер и Вальтерс были в совершенном отчаянии и ярости оттого, что им предстояло помогать Яношеку копать в этой грязи, и они дали ему это почувствовать, злобно срывая с него наручники.

Но Яношек оставался невозмутимым: он улыбался им самой располагающей, дружеской улыбкой, скрывая под ней своё мстительное торжество. Как-никак он заставил работать двух представителей высшей расы.

После долгих и энергичных поисков им сильно захотелось пить. Яношеку всё чаще доставалось от его стражей, особенно после того как они заметили, что он отстаёт в работе. Они толкали его и давали ему затрешины, когда он подвёртывался под руку, а Грубер смотрел на них, зажав папиросу во рту.

В конце концов Яношек, которому очень не нравилась такая усиленная деятельность с их стороны, заявил, что без стакана пива он больше двигаться не в состоянии, при всём своём усердии. Бар наверху не заперт, и ему, Яношеку, так часто приходилось видеть, как действует кельнер, что он сумеет нацедить им пива. Энцингер и Вальтерс поддержали его.

Груберу это показалось подозрительным:— Хотите напоить нас, а?— насмешливо заметил он.

Яношек ничуть не смутился.

— Ну, что вы,— сказал он Груберу,— у меня и в мыслях этого не было. Разве я не знаю, что служащие гестапо — закалённые бойцы, и стакан другой пива им в голову не ударит!

Нё столько доводы Яношека, сколько недовольные взгляды Энцингера и Вальтерса убедили Грубера.

— Хорошо,— сказал он,— пива так пива!

В баре Яношек занял место за стойкой и начал подавать пиво — сначала Груберу, потом Энцингеру, потом Вальтерсу. Он делал это не без грации, предвкушая ту минуту, когда и ему можно будет промочить горло стаканом холодного пива. Грубер дал ему налить стакан и, как только Яношек поднёс его к губам, ударил его хлыстом по руке, так что Яношек выронил стакан, и пиво разлилось по отполированной стойке.

Энцингер и Вальтерс захохотали. Яношек закусил губу. Он встретился взглядом с Грубером, и тот заметил выражение ненависти в его глазах.

— Не знаю, для чего рейхскомиссар приказал везти вас в эту сумасбродную экспедицию,— сказал Грубер,— но постараюсь, чтобы вам это не доставило удовольствия. Ещё по стакану, живее!

— Ещё по стакану!— эхом отозвались Энцингер и Вальтерс.

Яношек повиновался. Этому Младенцу, раздумывал он, немногим больше двадцати. Поглядите только на его детское лицо, розовые щёки, круглые глаза. И как только они ухитряются растить их такими подлецами? Хитрая, должно быть, наука вложить столько жестокости в мальчишку за такой короткий срок. Стараясь забыть о собственной жажде, он поставил полные стаканы перед своими мучителями. Перевоспитать их едва ли возможно, думал он; таких, которые развращены вконец, как вот этот, надо перебить без остатка. Он вытер со стойки лужу пива. Сколько ещё прольётся крови, прежде чем в этом мире можно будет жить, спрашивал он себя.

— Не хотите ли выпить?— осведомился Грубер.— Пиво хорошее!

— Да, не хотите ли?— издевались Энцингер и Вальтерс. Яношек наморщил лоб.— Мне не до пива. Я думаю.

— Думаете?!— передразнил Грубер.— Вот как?

— Очень вам благодарен за то, что вы удержали меня от злоупотребления алкоголем. Я чуть не забыл, что я здесь для того, чтобы найти письмо лейтенанта Глазенапа.

— Ещё пива!— потребовал Грубер.

— Я теперь знаю, что оно не в кладовой.

— Как!— воскликнули в один голос все три нациста.

— Один из моих друзей, некий Владислав Петерка, тоже отличался забывчивостью. Как-то жена велела ему купить эликсир для зубов— у неё, видите ли, была целая искусственная челюсть прекрасных зубов...

— Так что же,— прервал его Вальтерс,— вы хотите сказать, что мы зря раскапывали всю эту грязь?

— И вот Владислав Петерка пошёл по своим делам, а возвращаясь домой, вспомнил, что надо было что-то такое купить для жены, а что именно, он забыл.

— Так вы полагаете, что провели нас?— закричал Энцингер.

— Он думал и думал, что бы это могло быть? Шпильки? Картофельная мука? Порошок от клопов? Просто в отчаяние пришёл.

— Отвечайте, чорт бы вас побрал!

— И вот он вернулся домой с пустыми руками. Но как только жена разинула свой большой рот и он увидел фальшивые зубы, он мигом вспомнил, что ему надо было купить эликсир для зубов!— И Яношек засмеялся.

— Не волнуйтесь,— зловеще сказал Грубер своим подчинённым,— он от нас не уйдёт. Какая

же, собственно, связь между фальшивыми зубами и письмом Глазенапа?— обратился он к Яношеку.

— Да самая простая,— объяснил Яношек.— Когда вы не позволили мне выпить пива и ударили меня по руке, я был точь-в-точь Петерка, увидевший фальшивые зубы своей жены. Я сейчас же вспомнил тот вечер, когда вы меня арестовали. У вас было то же самое выражение лица. И я вспомнил, что не входил в кладовую, после того как лейтенант дал мне письмо, и, значит, письмо должно быть в уборной.

Груберу и его двум подручным хотелось только одного — избить до потери сознания этого чеха, который лишил их ночного сна да ещё заставил работать, и работать усиленно. Особенно был взбешён Грубер, который ровно ничего не делал. Кроме того, он усматривал скрытый сарказм в истории Петерки, хотя не мог бы сказать, в чём он заключался.

Но он сдержался сам и остановил своих подчинённых. Он получил от Рейнгардта определённый приказ: позаботиться, чтобы Яношек нашёл письмо Глазенапа.— У нас ещё будет возможность расквитаться с вами!— наемкнул он зловеще. И, заканчивая перерыв, приказал:

— Вперёд! Сейчас мы обыщем уборную.

Они опять сошли вниз. Яношек нащупал в кармане клочок бумаги, шелестевший тихо и успокоительно. Наступила критическая минута.

Острый запах уборной, смесь кислоты и дезинфекции, ударил им в ноздри.

Яношек входил по очереди в каждую из четырёх кабинок и проделывал всё, что полагается делать во время обыска; заглядывал на верх водяного бака, за деревянные ящики с бумагой, за сиденья. Ему нужно было создать впечатление, что он честно прилагает все усилия.

В последней кабине он засунул руку в карман и схватил адрес Вацлика, зажав его в полураскрытой ладони.

Потом он подошёл к шкафчику с лекарствами, обыскал его сверху донизу, и в уголок на самой нижней полке он бросил адрес, который должен был теперь найти лысый грузчик. Он так волновался, что сам слышал, как сильно бьётся его сердце о грудную клетку. Трое нацистов следили за ним; он чувствовал их взгляды на своей спине и спрашивал себя снова и снова: заметят они или нет? Они не шевелились, за спиной была пугающая тишина. Он даже хотел, чтобы что-нибудь случилось, лишь бы положить конец нервному напряжению.

Он знал, что погубит себя, если хоть чем-нибудь покажет, что в нём бушует буря: нечеловеческим усилием воли он подавил дрожь в руках и закрыл шкафчик так спокойно, как будто передача подпольного адреса на глазах у гестаповцев была самым обыкновенным делом.

Обернувшись, он понял, что ни один из троих стражей не заметил, как он прячет адрес: их лица выражали пренебрежение и злобу, но не подозрение. С облегчением вздохнув, он начал обыскивать ящик для чистки обуви, потом чулан, где он держал мыло, полотенца и щётки,— больше обыскивать было нечего. Теперь его ждала расплата. Дело было сделано.

Остановившись перед презрительно смотревшими на него чёрными мундирами, он беспомощно и растерянно пожал плечами.

Грубер, не говоря ни слова, толкнул его в объятия Энцингера и Вальтерса, которые схватили его. Честолюбивый Младенец, в котором пробудились инстинкты сыщика-любителя, не по-

верил стараниям Яношека и пожелал лично проверить его.

Ни в чулане, ни в ящике для чистки обуви, который он яростно пнул ногой так, что содержимое рассыпалось по полу, не оказалось ничего интересного.

Яношек готов был лишиться сознания. Его ум ожесточённо работал. Судьба тысяч людей зависела от того, насколько зорки глаза Грубера.

Младенец подошёл к шкафчику с лекарствами.

Если бы он выпил побольше! Яношек ухватился за Энцингера, чтобы не упасть.

Хоть бы мне на этот раз повезло!

Тут Грубер, оглядывая склянки и свёртки марли и ваты, заметил маленький клочок бумаги.

Он взял его, бесконечно долго, как показалось Яношеку, держал двумя пальцами, потом прочёл.

Грубер наморщил лоб.— Это ещё что за дьявольщина?— сказал он, и в толосе его слышалось скорее любопытство, чем подозрительность. Его слова поразили Яношека, как гром.

— Вы!— окликнул Грубер Яношека.— Подойдите поближе.

Яношек не чуял под собой ног. Потом, под пыткой, он удивлялся, как он всё-таки мог подойти к Груберу, но он подошёл.

Груберу так и не суждено было узнать, какое значение имел этот клочок бумаги, который он вертел в руках. Но ему нравилось разыгрывать инквизитора.

— Что это значит, скажите, пожалуйста?— спросил он торжественно.

— Это?— хрипло переспросил Яношек.— Ах, это?.. Ничего, то есть ничего важного.

Грубер ударил Яношека по щеке. В ушах у

Яношека зазвенело.— Если я спрашиваю, значит это важно,— объявил Младенец,— поняли?

— Да, сударь.

— Ну?

— Это адрес.

— Я и сам знаю, что адрес. Чей?

Яношек колебался.— Адрес врача, врача по венерическим болезням. Мы держим его в шкафу, на всякий случай. Вам он нужен?

Кулак Грубера опять опустился. Удар пришёлся в то же ухо, боль и звон в ушах усилились.

— Чешская свинья!— крикнул Грубер и, скомкав адрес, бросил его на пол.

— Прекратить эту комедию!— бесновался Грубер.— Отвезите его обратно в штаб! Мы ему покажем, как шутить с нами!

Яношек закрыл глаза и глубоко вздохнул.

Скомканный клочок бумаги был забыт. Он остался лежать на полу в уборной кафе „Манес“, такой невинный с виду, и никто не знал, сколько боли и страданий, сколько надежд и замыслов, сколько человеческих судеб таилось в нём.

Энцингер и Вальтерс поволокли Яношека к машине.

На одно короткое мгновение Яношек успел заметить тень, отделившуюся от стены дома на противоположной стороне улицы. Тень показалась ему знакомой. Она была высокая и неуклюжая и напоминала лысого грузчика.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Уход Яношека из камеры заставил доктора Валлерштейна усиленное думать о нём.

Валлерштейн всегда подходил к людям как к пациентам, возможным или действительным.

Но в лице Яношека он встретил человека, не подходившего ни под одну из установленных психиатрией категорий. Он не мог обнаружить в Яношеке ни малейших следов страха.

С таким явлением он столкнулся впервые и объяснить его было не легко. Сначала, в результате поверхностных наблюдений, он отнёс Яношека к разряду социально недоразвитых, примитивных натур. Либо душа этого человека невосприимчива, либо её не коснулось безумие двадцатого века в такой степени, как других заложников, не исключая и самого Валлерштейна.

Вдумавшись глубже, Валлерштейн отверг эту теорию. Зная, что чем примитивнее человек, тем сильнее и разнообразнее страхи, которым он подвержен, Валлерштейн мог притти только к одному выводу: Яношек не только не примитивнее остальных заложников, но стоит на более высокой ступени цивилизации, ибо он не знает внутреннего разлада и достиг душевного равновесия, которое совершенно недоступно Валлерштейну.

Доктора нисколько не радовало такое открытие. Оно опрокидывало все его представления, всю его науку. Страх, страх смерти, барьеры, воздвигаемые против страха, бегство от страха — всё это давало ему ключ к его анализам и диагнозам. Всё было основано на страхе.

Общество создаёт свои законы из страха. Из страха лишиться собственности, денег, власти. Нацисты убивают из страха быть убитыми. Самая жестокость политического террора, жертвами которого стали он сам и его товарищи по камере, объяснялась тем, что страх у нацистов переходил границы нормального.

Валлерштейну было известно, что война началась из-за того, что некоторые влиятельные

группы были заинтересованы в усилении своего могущества. Но для чего им это могущество? Неужели им мало тех огромных владений, которые у них уже есть? Всеми виной страх, мучительный страх, что народ восстанет и отнимет у них это могущество. И вот власть имущие нашли себе опекунов в лице худших элементов страны, потребовав от них только одного обещания: не отнимать ничего у власть имущих и готовиться к войне, чтобы захватить ещё больше — больше земель, больше фабрик, больше людей в рабство. Всё это называется фашизмом и отнюдь не ограничивается пределами Германии. Наглядный пример тому — Прейсингер. Он, чех, страха ради призвал немецкие подонки, чтобы они охраняли его; он ошибся в расчётах, но это нисколько не меняет смысла его побуждений.

Этот мир, в котором сейчас люди истребляют друг друга миллионами, зиждется на страхе. Маленький человек боится потерять свою работу, свои сбережения, свой хлеб; и в борьбе за всё это познаёт ещё больший страх. Живя лишь для того, чтобы поддержать себя и свою семью, он попадает в порочный круг и никогда не живёт по-настоящему. Это терзает его и приводит к истерии. Мужчины и женщины боятся уйти из жизни, не оставив потомства. Живя под страхом смерти, они торопятся любить, и любят без разбора. И вот они бросаются в объятия друг друга, сеют гнилое семя в гнилую почву, сходятся с кем попало, кутят, пьют и развращаются. Люди уравновешенные быстро теряют равновесие, но большинству даже и терять нечего. В итоге — та же истерия.

Многие ищут прибежища в религии. Если жизнь такова, то остаётся только утешаться

мыслью, что другой, лучший мир, лежит за пределами этой юдоли скорби. Бог и небо — это только средство уйти от демонов страха. Но богу неуютно вмешиваться в мелкие дразги людей, в критические минуты им остаётся надеяться только на себя, и в конце концов они всё же достаются дьяволу. Конец — истерия.

И люди придумывают новые панацеи. Одни верят в астрологию, другие в то, что они избранный народ, избранный для того, чтобы мучить других или самим подвергаться мучениям — две стороны одной медали. Одни верят в своих фюреров, другие не верят ни во что. Конец — безумие, бряцание дешёвыми эмблемами, убийство и самоубийство.

Когда эра динозавров близилась к концу, когда невыносимый зной и песчаные вихри иссушили сочные луга и болота, где кормились эти гиганты, они тоже начали слепо искать выхода. Бессмысленно блуждали они по высохшим материкам, устилая своими костями дорогу, на диво и страх грядущим поколениям.

Неужели подобная пора пришла и для человечества? Неужели появилось что-то сродни той катастрофе и возник массовый психоз, охвативший всё человечество? Неужели мы мечемся вслепую, тратя все наши силы, весь ум, всю технику, самолёты, радио, машины только для взаимного истребления? Как далеко ушли мы по этому пути, устилая его своими костями? Все мы жалуемся на Гитлера, а ведь он — это только самое страшное из того, что породило наше паническое безумие.

Я сам достоин только смеха. Я вижу болезнь и не знаю, как её вылечить. Какие мы врачи, если можем помочь одному-другому человеку, но не миллионам людей, которые даже не знают

о своей болезни? Меня самого одолевает страх. Это страх смерти. Все мои мысли сосредоточены на этом страхе. Я записываю мои наблюдения в надежде, что кто-нибудь когда-нибудь их прочтёт и передаст потомству, и я, хоть отчасти, обрету бессмертие. Как это нелепо! Как скромны мои желания, однако и эта скромная слава, это миниатюрное бессмертие, вероятно, только иллюзия, порождённая страхом смерти, небытия.

Вот почему мне непонятен такой человек, как Яношек. Я знаю, во что он верит: в себя. Он верит в самого себя, как в частицу того мира, в существовании которого, даже в будущем, я не могу не сомневаться. Мой опыт научил меня не доверять людям, а следовательно, и их способности создать что-нибудь новое и лучшее на развалинах мира, который они разрушают теперь так сумасбродно.

Но Яношек всё же существует, как существовало первое млекопитающее среди вымирающих динозавров. Запекшемся от зноя микроскопическому мозгу, полуослепшим от песчаных вихрей глазам этих гигантов живое, здоровое существо, процветающее там, где они гибли, казалось, вероятно, нереальным. Они его не понимали, как я не понимаю Яношека. Я могу только смиренно склонить голову перед авангардом нового мира, не знающего страха.

Его существованием зачёркивается моё; мы взаимно исключаем друг друга. Я умру вместе с моими палачами, он, быть может, переживёт нас и обретёт бессмертие.

Додумавшись до этого, доктор Валлерштейн сделал сердитое движение рукой, словно отгоняя от себя все эти мысли. Начать с обвинительного приговора всему миру и кончить приговором самому себе — странный ход мыслей!

Он почти обрадовался, когда его размышления были прерваны шумом открывающейся двери. Вернулись опять те же горластые, грубые эсэсовцы, которые приходили уже за Яношеком и Прокошем.

Трое заложников, выстроившись перед койками, стали навывтяжку. На лицах Прейсингера и Лобковица отражалось волнение: кто из них первым ступит на тот путь, конец которого трудно предсказать?

— Кто из вас Лев Прейсингер? — отрывисто пролаял эсэсовец с серебряными звёздами на воротнике.

Теперь, когда пришла минута, которой давно ждал Прейсингер, минута, когда он должен был очутиться лицом к лицу с ответственным чиновником гестапо, его заносчивость и самоуверенность сразу исчезли. Он побледнел, и глаза у него беспокойно забегали, словно ища поддержки.

Но эсэсовец не был расположен мешкать. — Прейсингер! — крикнул он. И генеральному директору Чешско-моравского угольного синдиката не оставалось ничего другого, как шагнуть вперёд, заранее примирившись со своей судьбой.

Второй эсэсовец грубо схватил Прейсингера за плечо и вытолкнул из камеры. Его не провожали прощальные взгляды и пожелания удачи. Валлерштейна не интересовала удача или неудача Прейсингера с того момента, как тот, покинув камеру, перестал быть для него объектом наблюдения. А Лобковица занимал только вопрос, удастся ли этому королю угля то, что он предсказывал с такой уверенностью: вырваться из когтей нацистов на том основании, что он богат, влиятелен и что он предатель своего народа.

Приём, оказанный Рейнгардтом Прейсингеру, сразу рассеял его уныние и страх. Обнаружив, что признание Прокоша не что иное, как самая безрассудная, ребяческая ложь, рейхскомиссар пришёл в отличное расположение духа. Прейсингер попал к нему в удачную минуту и, увидев, что рейхскомиссар поднимается ему навстречу с любезными словами:—Как поживаете, герр Прейсингер?—тут же решил, что дни его страданий миновали и что этот приветливый чиновник, вероятно, будет сначала усиленно извиняться перед ним от имени немецкого правительства, а потом освободит его.

Рейнгардт сделал Менкебергу знак, чтоб он подал Прейсингеру стул. Тот передвинул стул от стены на место, указанное Рейнгардтом. Прейсингер, олицетворённое достоинство, уселся, широко расставив ноги, со свисающим на колени животом.

Неожиданно Рейнгардт направил резкий свет лампы на генерального директора. Этот ослепительный свет заставил Прейсингера почувствовать себя арестантом, которого вызвали на перекличку, но он постарался отделаться от этого впечатления. Он несколько не обиделся на рейхскомиссара. В полиции у них всегда так, уверял он себя, жмуря воспалённые глаза.

— Моя фамилия Рейнгардт,—начал рейхскомиссар, наклоняясь над столом, чтобы лучше разглядеть Прейсингера. Он впервые видел этого человека, который был стержнем всей его интриги, осью, вокруг которой вертелось всё. Это ради его богатств Рейнгардту приходилось фабриковать убийство Глазенапа, хватать и расстреливать заложников, преследовать очаровательных студенток, проводить бессонные ночи на утомительных допросах...

Глядя на апоплексическое лицо Прейсингера с сетью мелких склеротических сосудов, резко выступивших при свете лампы, на его седые, щетинистые волосы, на мясистые уши и твёрдый подбородок, рейхскомиссар видел перед собой шахматную доску, на которой он разыгрывал — и должен был выиграть — очень сложную партию, и это доставляло ему наслаждение; так увлекательно было двигать человеческие пешки и самому придумывать правила игры.

Прейсингер осторожно кашлянул, чтобы привлечь внимание Рейнгардта. — Арест, грубое обращение ваших людей и невольное пребывание в подвале вашего штаба не особенно приятны, герр Рейнгардт. Надеюсь...

— Знаю, — прервал его Рейнгардт, — мы ещё очень далеки от совершенства. Вы должны понять, что у гестапо слишком много дела, особенно потому, что ваши соотечественники серьёзно мешают нам, так что трудно оказывать каждому то внимание, которого он заслуживает.

— Я понимаю, — любезно улыбаясь, уверил его Прейсингер. — Прекрасно понимаю. — Потом он замолчал, выжидая. Он надеялся, что Рейнгардт произнесёт, наконец, решающее слово, которое освободит его. Но рейхскомиссар не начинал разговора, и Прейсингер продолжал: — Тем не менее, для человека моего круга, моего влияния и положения в обществе всё это было очень унижительно.

— Без сомнения, — улыбнулся Рейнгардт. — Я надеюсь, что вы не без пользы провели время. Даже фюрер, как вы знаете, сидел однажды в тюрьме. Там он написал свою книгу, которую вы, конечно, читали.

Прейсингер её не читал. Но он нашёл более дипломатичным ответить, что она не раз наво-

дила его на серьёзные размышления и возвышала его душу.

К сожалению, рейхскомиссар не обратил никакого внимания на комплименты, адресованные литературным трудам фюрера. Он разглядывал кинжал с буквами „SS“ на стальном лезвии и, казалось, был всецело поглощён этим. Он держал лезвие так, что свет отражался от кинжала. Вдруг он задал Прейсингеру самый неожиданный вопрос:— Когда вы в последний раз видели лейтенанта Глазенапа?

Удивлённый Прейсингер ответил, заикаясь:— То есть... как в последний раз?

— Будьте любезны ответить покороче и совершенно точно.

— Не думаете же вы, что я причастен к этому преступлению?— возразил Прейсингер.

— Когда вы его видели в последний раз?

— Я его совсем не видел—то есть, может быть, и видел, но как я могу это знать? Я даже в лицо его не знаю; в баре было много немецких офицеров,— сколько именно, не помню,— я не смотрел на них. Я не видел, что они делали и куда уходили. У меня и своих забот довольно, уверяю вас. Меня очень удивило и раздосадовало, когда вашим людям вздумалось арестовать меня в связи с этим делом. И я должен спросить вас...

— Уважаемый герр Прейсингер!— Рейнгардт остановил его, подняв руку.— Вы, мне кажется, находитесь в заблуждении, право. В этом кабинете, в этом здании и, смею сказать, в этой стране я задаю вопросы,— я, а не вы!

Взбешённый Прейсингер вскочил с места. Но, вскакивая, он увидел свои измятые, грязные брюки, почерневшие манжеты когда-то безукоризненно свежей рубашки, забрызганные грязью башмаки, почувствовал, что сам он давно не-

мыт и небрит.— О боже мой!— простонал он вслух, а про себя подумал: что я делаю? Я во власти этого человека, я такой же заключенный, как все остальные. Пока я здесь, надо держать себя в руках.

Он снова сел, чувствуя благодарность уже за то, что ему позволили сидеть.

— Простите,— смиренно извинился он.— Я не привык к такому... к такому...

— Обращению?— закончил за него Рейнгардт.

— Нет, нет! Это пустяки.— Он заискивающе улыбнулся, как могла бы улыбнуться собака, получив сердитый пинок от своего хозяина.

— Позвольте мне всё же спросить — не справлялись ли обо мне мои коллеги из Чешско-моравского угольного синдиката? Я генеральный директор синдиката, и в конце концов не мог же я пропасть без всякого следа, так, чтобы меня не разыскивали!

Рейнгардт опять взялся за кинжал.— В этом отношении вы можете быть спокойны — ваши коллеги и ваши подчинённые проявили трогательную лояльность. Мы получили массу запросов, и личных и в письменной форме. Даже сам президент, ваш близкий друг, как я слышал, испросил аудиенцию у протектора Гейдриха и хлопотал о вашем освобождении.

— Ах, я очень рад!— вздохнул Прейсингер. Так, значит, его не забыли! Механизм пущен в ход, и этот незначительный чиновник гестапо просто один из тех скучных людей, которые тратят попусту много драгоценного времени, прежде чем доберутся до сути.— Разумеется,— поспешил уверить Прейсингер,— я буду только рад помочь вам в разгадке этого ужасного преступления, убийства лейтенанта Глазенапа.

— Ничего другого я от вас и не ожидал,— ответил Рейнгардт, слегка кланяясь.

— А теперь... вы, быть может, дадите мне нужные бумаги?— Рейнгардт бросил кинжал на стол. В полной тишине этот лёгкий стук показался оообенно зловещим.

Он в явном изумлении поднял брови:— Какие бумаги?

— Для выхода на свободу!

Рейхскомиссар наморщил лоб, словно не понимая.

— Разве не вы должны дать мне пропуск, чтобы часовые меня пропустили?— голос Прейсингера упал до шопота; подконец ему совсем нехватило голоса.

Рейнгардт рассмеялся долгим, протяжным смехом. Он наслаждался ситуацией. Хлопнув себя по ляжке, он хлопнул затем и Менкеберга. Тот, получив шлепок, тоже захохотал.

Рейнгардт редко смеялся так, он вообще не умел смеяться. Но он рассчитывал добить этим смехом Прейсингера. Он с самого начала понял, что Прейсингер надеется на освобождение. Уверившись, что его жертве неизвестно ровно ничего о смерти Глазенапа, Рейнгардт просто играл с ней. Он не спрашивал себя, зачем ему надо сломить сопротивление Прейсингера; для его плана это было совсем не нужно. Но ему забавно было видеть, как корчится этот человек, как всё ниже опускается его бычья голова, как судорожно дёргаются узловатые пальцы.

Наконец Рейнгардт решил, что смеяться достаточно. Тонким платком, извлечённым из внутреннего кармана, он вытер вспотевший лоб.

— Вы в самом деле думаете,— начал он, представляясь удивлённым,— что мы вас выпустим? Только потому, что вы Лев Прейсингер, гене-

ральный директор Чешско-моравского угольного синдиката?

— Уважаемый, плохо же вы понимаете нас, национал-социалистов!

— Ведь мы утверждаем, что мы народное движение и называем себя социалистами. Какой же это социализм, если мы будем расстреливать одних только бедняков? Какое же это правосудие, если человек ускользает от кары только потому, что он миллионер? Что скажут ваши соотечественники, которых мы стараемся воспитать для сотрудничества с нами, если мы будем брать заложниками Карелов, Иоганнов и Петеров, делая исключение для Льва Прейсингера?

Прейсингер дал этой буре упрёков пронестись над своей головой. Он сидел на стуле, словно поражённый громом, чувствуя себя опустошённым, опустошённым до дна. До сих пор он то воспарял высоко, окрылённый надеждой, то погружался в отчаяние, переходя от одной крайности к другой. Теперь он сорвался и падал всё ниже и ниже.

— Если мы выпустим вас,—продолжал Рейнгардт,—рухнет вся наша система. Мы берём заложников, так как это является репрессивной мерой в отношении тех ваших соотечественников, которые отказываются признать протекторат.

— Но я же сотрудничал с вами!—оправдывался Прейсингер.—Я увеличил добычу угля, для того чтобы выполнялись военные заказы вашего правительства. Я делал всё, что было в моих силах, чтобы помочь вам!

— Знаю, знаю!—в улыбке Рейнгардта сквозило сожаление.—Вы недооцениваете того затруднительного положения, в котором мы находимся. Если мы вас выпустим, эта низшая раса

будет говорить: заложники, ха-ха! Нацисты только пугают нас. Посмотрите на Прейсингера — они выпустили его живым и невредимым! — Это дело принципа, и в этом отношении мы так же лишены свободы действия, как и вы, уважаемый герр Прейсингер.

Слова Рейнгардта о принципах возвратили Прейсингера из глубин отчаяния в мир действительности и трезвого рассудка. Эти „принципы“ были ему хорошо известны. Всякий, кто хотел сорвать с него подороже, первым долгом заговаривал о принципах. Так, патриотические принципы требовали десятипроцентной прибавки. На деловую принципиальность приходилось набавлять процентов пятнадцать-двадцать, а моральная принципиальность обходилась процентов в двадцать пять. Во что ценит рейхскомиссар свои принципы, ему было неизвестно, но он узнал руку, протянутую ладонью кверху в ожидании взятки.

— Мы рабы своих принципов,— начал он.— Как это верно, как верно! Но я бы чувствовал себя гораздо свободнее, если бы вы на время отпустили вашего секретаря, герр Рейнгардт!

— Менкеберга? Менкеберг — надёжный человек, это могила.

Прейсингер поморщился. Рейнгардт может обидеться, если ему предложить взятку при подчинённом. Или Рейнгардт так наивен, что даёт этому Менкебергу возможность шантажировать его впоследствии?

— Это личный вопрос, он касается только вас и меня — вы понимаете?

— Да,— улыбнулся Рейнгардт,— я вас понимаю. Менкеберг, можете идти. Я позову вас, когда вы понадобится.— Менкеберг вышел, и Прейсингер, убедившись, что дверь плотно закрыта, придви-

нулся ближе и облокотился на стол рейхскомиссара.

— Вы сразу меня поняли, герр рейхскомиссар, — начал он, понизив голос. — Я это очень ценю. Конечно, это плохая для вас реклама, если вы меня выпустите. Ваша карьера, ваши принципы значат для вас очень много, я понимаю. Думаю, однако, что это можно устроить. Я человек деловой, занимался и политикой, так что меня учить не надо. Если вы меня выпустите, я скроюсь на некоторое время — ничего не может быть легче. Я много работал, и последние дни отнюдь не укрепили моего здоровья. Мне нужен отдых. Я мог бы поехать в Баден-Баден или в Швейцарию, куда хотите, и под другим именем, чтобы выждать время. Что вы на это скажете, герр рейхскомиссар, и что я могу для вас сделать в отплату за эту маленькую любезность?

Рейнгардт не ответил. Ему интересно было узнать, во что Прейсингер ценит свою жизнь. Он знал, что взятки стали обычным явлением и в Германии, и в оккупированных областях. Он знал, что существуют списки, в которых против фамилий гаулейтеров, губернаторов, высших военных чинов проставлены соответствующие цифры. Копии таких списков хранились и у него в канцелярии. Это был очень удобный способ держать взяточников в руках, а некоторый процент с их доходов поступал, разумеется, на текущие счета гестаповских главарей в банках Швеции и Швейцарии в виде твёрдых ценностей: недвижимость, драгоценные камни, коллекции марок...

Прейсингера ободрило выжидательное молчание Рейнгардта. — Миллион крон? — предложил он на пробу.

Рейнгардт только улыбнулся.

— Пять миллионов? Десять?

— У меня не найдётся столько наличными— придётся продать некоторые бумаги, если вы хотите больше, но на это потребуется время...

Рейнгардт опять взял кинжал и начал задумчиво играть им.

— Вижу,— нащупывал почву Прейсингер,— что при неустойчивости денежного рынка наличные мало интересуют вас. Вы умный человек, герр рейхскомиссар. Но не ждите слишком многого. Моё состояние не так велико, как можно было бы думать. Я контролирую Угольный синдикат потому, что мне принадлежат основные акции в руководящих предприятиях. Но всё же, есть одна угольная копь,— надо сказать, жемчужина, близ Моравской Остравы,— я мог бы передать её вам.

Прейсингер помолчал.

— Почему же вы не отвечаете, герр рейхскомиссар?— спросил он тревожно.

Тот перестал играть кинжалом.— Как же я буду управлять угольной копью, сидя в штабе гестапо?

— Совершенно верно,— согласился Прейсингер.— Я об этом не подумал. Хотя со временем, после войны, вы, может быть, захотите заняться этим делом... Что ж, хорошо, пусть это будут акции. Простые акции дадут вам больше дохода, зато с привилегированными удобнее оперировать и больше возможностей нажить капитал. Я с удовольствием буду вам советовать...

Тут Рейнгардт вышел из себя.— Вы, как видно, мало цените вашу жизнь! Из ваших слов я заключаю, что вы рассчитываете освободиться, пожертвовав только частью своего состояния. Это просто смешно! После смерти вы уже ничем владеть не будете!

— Вы хотите меня ограбить!— крикнул Прей-

сингер.— Меня, который помог вам без труда завоевать эту страну, который сделал для вашего нового порядка больше, чем сотня господ из гестапо, взятых вместе. Неужели на свете нет больше благодарности? Или признания заслуг?

— Нет. И я попросил бы вас говорить потише. Это противозаконно — подкупать немецкого офицера.

— Сколько же вам нужно?— простонал генеральный директор, потрясённый таким бесстыдством.

— Всё.

— Всё?..— Прейсингер тихо ахнул. Вены на его шее вздулись от волнения. Он с усилием поднялся на ноги и остановился перед Рейнгардтом, сутулясь больше, чем всегда. Страх бедности уже теперь делал его похожим на нищего, и говорил он плачущим, разбитым голосом, точно слепец на углу Вацлавской площади.— Как? А на какие средства я буду жить? Неужели у вас нет жалости, нет сердца? Человек вы или камень? У меня столько расходов, жена, дети, хозяйство...

Рейнгардт тоже поднялся с места. Он чувствовал свою значительность и величие, он воплощал Правосудие и Рок. В данную минуту, готовясь раздавить эту вошь, Прейсингера, он верил в величие идеи, в национал-социализм!

— А ваша жизнь?— спросил он сухо.

Прейсингер пошатнулся и закрыл глаза.— Берите всё,— прохрипел он.— Берите! Берите! Я хочу жить!

— Так!— сказал Рейнгардт.— Наконец-то вы опомнились и говорите дело. Я очень рад, что вы к этому пришли. Подумайте, сколько мы могли бы сэкономить времени. Но неужели вы не в состоянии додумать до конца, сделать

логический вывод, учитывая ваше положение? Я большой поклонник логики. Потому я и работаю в полиции.

— Неужели этого мало?—Прейсингер начал смеяться безумным смехом.—Вы хотите получить золотые зубы, фунт моего мяса?

— Я хочу, чтобы вы думали, уважаемый герр Прейсингер. Подумайте! Вы предлагаете нам всё ваше состояние в обмен на вашу жизнь. Чего стоит это предложение? Разве в вашем положении можно предлагать что-нибудь? Неужели вы не понимаете, что мы получим всё, как только вы умрёте?

Льву Прейсингеру казалось, что холодная рука сжала его мозг. Он надеялся, что мучительная пульсирующая боль убьёт его тут же на месте. Но нет, он жил напряжённее, видел зорче, слышал малейший звук, и особенно отчётливо выступало перед ним это дьявольское лицо на фоне тёмной стены, серебряные пуговицы на чёрном мундире, металлическая пряжка пояса с неприятно блестящей резьбой.

Жить! Только бы жить! думал он. Рейнгардт—это смерть, чёрная смерть с серебряными пуговицами. Лев Прейсингер мучительно цеплялся за жизнь.—Держись за жизнь, цепляйся за неё ногтями, зубами, всеми фибрами своего существа!

И с той ясностью, которая приходит только перед смертью, Лев Прейсингер увидел путь к спасению. Он вспомнил Валлерштейна и его насмешливые слова: *„Прейсингер, уверяю вас, выдаст кого угодно, лишь бы спасти свою драгоценную жизнь“*.

...Да, выдам! Клянусь богом! Если я не буду заложником, они меня не расстреляют. Это для меня так же ясно, как то, что передо мной воплощённый дьявол.

Ему стало легче. Он даже посмеялся над собой. Как глупо приходить в отчаяние! Он, Лев Прейсингер, у которого тысячи идей, тысячи планов, который создал царство угля, мощную промышленную цитадель, приходит в отчаяние, теряется перед ничтожным полицейским! Если он чему-нибудь научился за те годы, когда ворочал делами,—а дела были его страстью,—то именно этому: всегда есть выход, всегда есть последнее средство, козырь, который держишь про запас. Пойти с него в решительную минуту — и выигрыш за тобой.

Рейнгардт с удивлением заметил, что Прейсингер воспрянул духом. Он опять расселся, положив ногу на ногу, в позе человека, довольного собой и всем светом. Рейхскомиссар невольно почувствовал уважение к Прейсингеру и понял, почему финансист сумел нажить такое богатство и занять такое влиятельное положение.

Прейсингер быстро перебрал в уме возможных кандидатов. Надо было учесть и репутацию человека, и ряд других обстоятельств. Только один из заложников отвечал всем условиям и, кроме того, Прейсингер его недолюбливал.

— Яношек! — сказал Прейсингер. — Яношек убил лейтенанта Глазенапа. Он сознался нам в камере. Откровенно говоря, я бы предпочёл выйти на свободу, не доводя это до вашего сведения, герр Рейнгардт. Но так как другого пути нет, приходится сказать вам правду. Вот ваш убийца. С этой минуты я перестаю быть заложником, и, надеюсь, вы выполните ваш долг.

Уважение, которое питал Рейнгардт к Прейсингеру, теперь дошло почти до восхищения. Сам незаурядный мерзавец, Рейнгардт любовался законченным негодяем, который оставался верен себе до конца.

— Не падаете духом, а, герр Прейсингер?

Рейнгардт не поверил доносу Прейсингера, но он навёл его на размышления. Почему Прейсингер выбрал именно Яношека? Рейхскомиссару Яношек показался слабоумным простаком, не похожим на убийцу. Однако Прейсингер, в течение нескольких дней наблюдавший Яношека и, вероятно, позаботившийся о правдоподобии своего доноса, остановился на безобидном стороже при уборной. Рейнгардта начал беспокоить Яношек, который всё ещё не вернулся из кафе „Манес“.

Сняв телефонную трубку, он отдал несколько коротких распоряжений, не понятных Прейсингеру. Потом повернулся к генеральному директору.— Чем вы это докажете? Если я начну допрашивать Яношека, он, вероятно, отопрётся.

— Конечно!— согласился Прейсингер.— И заключённые из моей камеры, вероятно, поддержат его. Но позвольте мне предостеречь вас. Этот Яношек вовсе не так глуп, как кажется. Он очень хитёр. Он прикидывается идиотом, чтобы замаскировать свои настоящие мысли и действия. Среди чехов этот тип встречается довольно часто. Не попадитесь на удочку.

— Не попадусь,— твёрдо ответил рейхскомиссар, хотя был вовсе не уверен в этом. Возможно ли, что Рейнгардта, с его опытом и умом, одурачил какой-то Яношек? И с какой целью?

Нет, решил он. Прейсингер всё это выдумал. Он старается представить Яношека опасной фигурой только для того, чтобы оправдать свой донос.

— Такие, как Яношек,— продолжал Прейсингер,— ненавидят власть, вашу и мою. Они против установленного порядка, стремятся низвергнуть его. Если память мне не изменяет, Яношек

пришёл в бар вытирать пол уже после того, как Глазенап спустился в уборную. У него было достаточно времени, чтобы убить лейтенанта,—как вы думаете?—Прейсингер чувствовал, что ему удалось по крайней мере заронить сомнение в душу рейхскомиссара.—А кроме того...

Прейсингер остановился, услышав за спиной волочащиеся шаги. Увлёкшись своей речью, он не заметил, как открылась дверь. Он обернулся.

Менкеберг вёл человека, каждый шаг которого, повидимому, причинял ему нестерпимую боль. Что-то в нём показалось знакомым Прейсингеру. И вдруг он с ужасом узнал в незнакомце Прокоша.

Но на него смотрела тень Прокоша, а не живой актёр.

— Что с вами случилось?—не сразу выговорил Прейсингер.

Прокош едва мог стоять: Менкеберг поддерживал его. Прейсингер хотел встать и предложить актёру стул, но не в состоянии был пошевелинуться.

Рейнгардт совершенно спокойно смотрел на эти остатки человека. Он дал двум заложникам время насмотреться друг на друга. Потом спросил Прокоша:—Вы изменили ваше показание?

Прокош едва мог говорить. Сначала беззвучно зашевелились его губы. И, только сделав несколько попыток, он, наконец, заговорил совершенно неузнаваемым, разбитым голосом:—Я убил Глазенапа.

Вырвавшись из рук Менкеберга, он неверными шагами подошёл к столу и повторил:—Я убил Глазенапа.

— Хорошо, хорошо!—отозвался Рейнгардт.—Я слышал.—Он обернулся к Прейсингеру с совершенно безразличным выражением лица.—

А теперь вы, быть может, повторите ваше заявление?

Прейсингер растерялся. Он вздохнул с облегчением после слов Прокоша в уверенности, что теперь его освободят. Он был потрясён, представляя себе, какими средствами Рейнгардт добился сознания от актёра. Он был встревожен, потому что это сознание противоречило его доносу на Яношека и создавало новые осложнения. Он злился на Рейнгардта: тот знал, что Прокош сознался в убийстве, и позволил себе поставить его, Прейсингера, в глупое положение.

— Что же, герр рейхскомиссар, — натянуто улыбнулся он, — теперь вы видите — я невинен.

— Ничего подобного я не вижу, — презрительно ответил Рейнгардт. — Извольте повторить ваше заявление.

— Но вы же не хотите, чтобы я...

— Лучше повторите добровольно, — предостерег его Рейнгардт.

Прейсингер, не смея взглянуть на Прокоша, пробормотал что-то.

— Громче! — потребовал Рейнгардт.

— Яношек убил Глазенапа! — Прейсингер наклонился вперёд, сидя на стуле. Он смотрел на свои забрызганные грязью башмаки и чувствовал себя несчастным, беспомощной жертвой жестокой игры гестапо.

— Лжёте! — безжизненным голосом произнёс Прокош. — Лжёте!

Жалость к себе перешла у Прейсингера в холодную злобу. Он был зол не столько на Рейнгардта, который устроил им очную ставку, сколько на Прокоша, который всё испортил.

— Сами вы лжёте! — крикнул он. — Убийца этот мерзкий Яношек, и вы это знаете! Вы сговорились

с ним. По злобе на меня, сговорились лгать! Поверьте, герр рейхскомиссар, этот Яношек...

Рейнгардт встал. Торжествующе выпрямившись, он казался выше своего роста. Он улыбался.

— Тише, господа, тише. По-моему, вы оба лжёте. У вас на это имеются, несомненно, свои причины. Они меня мало интересуют. С меня довольно фактов. Да будет вам известно, что мы, работники государственной тайной полиции, не терпим такого неуважения к правде. Я должен буду строго наказать вас обоих. Надеюсь, вы это понимаете?

Дверь распахнулась настежь. Рейнгардт замолчал. Энцингер и Вальтерс втокнули в комнату всклокоченного Яношека.

Грубер подошёл к столу, вытянулся и отряпывал:

— Имею честь доложить, герр рейхскомиссар, вернулись с обыска.

— Дайте мне письмо.

— Имею честь доложить, герр рейхскомиссар, письма не обнаружено. С вашего позволения, мне кажется, всё это выдумка. Никакого письма и не было.

— Так!—сухо сказал Рейнгардт. Он подбоченился, и сукно мундира туго натянулось на его груди. Покачиваясь на носках то вверх, то вниз, он заревел:—Ещё один лжец! Что вы думаете здесь такое? Детский сад? Вы ещё ничего ровно не видели. Менкеберг! Грубер! Взять их в карцер. И не церемониться с ними! Я сказал—не церемониться!

Он смотрел, как повели всех троих—Прокоша, повисшего на руке Менкеберга, Яношека, которого подталкивали Энцингер и Вальтерс, и Прейсингера, которого подгонял Грубер краткой, но выразительной немецкой бранью.

Потом рейхскомиссар сел. Он вдруг почувствовал, что очень устал. Почти двадцать четыре часа он работал без передышки.

Он взглянул в окно. Серый мягкий свет крался по улице. Настало утро, пасмурное и тихое.

Заложникам оставалось жить только один день. Рейнгардт был этому рад.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Милада вышла из дома Бреды с новыми, свежими силами, подкреплённая сном. Она уносила с собой тайну сердца, воспоминание о том трепетном волнении, которое заставил её пережить он, её возлюбленный. Горячая волна прошла по её телу, и, закрыв глаза, Милада вздрогнула от радости. Любовь Бреды, подобная освежающей буре, согнала с её горизонта тёмные, угрожающие тени; на всём лежал блеск, всё было светло и ясно. Что бы её ни ждало, она не утратит равновесия — теперь она не одна.

Пан Кратохвил, видя, что она вышла из дома и идёт к остановке трамвая лёгкой, молодой походкой, тоже был очень доволен. Истинный охотник — а таков и был пан Кратохвил — не чувствует ненависти к своей добыче. Скорее, он любит её, привязан к ней, словно сам создал быстроногую тварь, которую собирается убить. Убивать не так интересно. Увлекательна самая охота — подстеречь, обойти добычу, заманить её.

По улицам спешил народ. Но шаги звучали тяжело. Люди шли на работу, которую ненавидели, потому что работать надо было на угнетателей, изнурая себя долгие часы без отдыха. Они шли в лавки стоять в очереди за фальсифицированными продуктами, которые выдавали

в ничтожном количестве. Они шли в учреждения, чтобы сидеть без конца в приёмных, надеясь, что их допустят к наглому чиновнику, едва выслушивающему их просьбы — просьбы за отцов и братьев, — одни увезены в рабство на немецкие фабрики, другие арестованы и брошены в концентрационные лагеря и тюрьмы, третьих силой заставили рыть окопы для немецкой армии и возводить укрепления на Восточном фронте и на Балканах. Новый порядок разрывал связи между людьми, перебрасывал их по всем направлениям, на восток и на запад, на юг и на север.

Кратохвил без труда спрятался в толпе. Он вскочил на прицеп того вагона, в который села Милада. Стоя на переполненной площадке, он ловко уклонился от выдававшего билеты кондуктора, пользуясь методами, известными ему ещё с тех пор, когда он сам был контролёром. Но в поданном счёте он, конечно, проставит и стоимость проезда на трамвае.

Так он доехал до завода. В воротах, куда он собирался пройти за Миладой, его остановил часовой.

— Ваш пропуск?

Кратохвил, порывшись в карманах, извлёк документ в целофановой обложке, со множеством печатей и сунул его часовому.

— Проведите меня к вашему начальнику! — потребовал Кратохвил.

Часовой, увидев печать гестапо, проявил услужливость и подобострастие. — Сию минуту, сударь! Извините, сударь! — Он провёл Кратохвила в маленький одноэтажный домик, перед которым расхаживал взад и вперёд скучающий солдат с примкнутым к винтовке штыком.

Кратохвила принял немолодой лейтенант, ко-

торый лежал на койке, задрав на подушку ноги в носках. Лейтенант Шинклеин читал „Прагер цейтунг“. Он взглянул на Кратохвила и, увидев, что его посетитель простой штатский, продолжал читать газету.

— С добрым утром,— сказал Кратохвил.— Это вы начальник охраны?

Шинклеин пошевелил пальцами ног в носках, но потом запустил руку за воротник и с видимым удовольствием начал почёсывать шею.

— Что вам нужно?— проворчал он.

— Здесь работает некая Милада Маркова?— осторожно начал Кратохвил.

— А вам какое до этого дело?— сказал лейтенант, снова берясь за газету. Он перевернул страниду.— Здесь работают тысячи людей, и все с такими фамилиями, что не выговоришь. Одно беспокойство с ними. Кто вас ко мне пропустил?

— Мне не нравится ваш тон,— заметил Кратохвил.

Лейтенант подскочил.— Что такое?— спросил он, садясь.— Вам не нравится— это замечательно. Вот ещё новости!— Он подошёл к Кратохвилу неловкой походкой человека в носках. Он был похож на торгаша в маскарадном костюме.— Я тебе покажу, чешская вошь, что такое немецкий офицер!

Кратохвил мгновенно предъявил ему свой документ.

Лейтенант Шинклеин, взглянув на бумажку, ахнул от удивления. Выронив газету, он поспешно застегнул мундир на все пуговицы и стал искать башмаки, но не нашёл их. Он полез за ними под койку, сконфуженно бормоча что-то.

Наконец он привёл себя в порядок и мог оказать агенту достойный приём.

Они приступили к деловой беседе. Крато-

хвил, благодаря своей работе считавший себя во всех отношениях равным представителю господствующей расы, объяснил ему, что послан рейхскомиссаром для слежки за девушкой, о которой он уже говорил, Миладой Марекковой. Не поделится ли лейтенант своими соображениями, как это всего удобнее выполнить?

Польщённый таким доверием, лейтенант долго соображал и, наконец, придумал план, который пришёлся Кратохвилу по вкусу. Комбинезон и отвёртка превратят Кратохвила в рабочего, но к комбинезону будет приколот значок надзирателя. С этим значком он может проходить, куда сочтёт нужным, наблюдать за Миладой издали или вблизи, как ему удобнее, и брать на заметку людей, с которыми она разговаривает. Устраивает его это?

Вполне. Крепкое рукопожатие подтвердило взаимное удовольствие, доставленное знакомством. По наведённым справкам оказалось, что Милада работает в капсюльном цехе. Кратохвил узнал, как туда ближе пройти, и отправился облачаться в костюм пролетария. Вежливо приподняв серую шляпу, он распрощался с лейтенантом, который рассыпался в поклонах и улыбках, очень довольный результатами утренней работы.

Для Кратохвила завод был новым и удивительным миром. Ведя чисто паразитическое существование, он привык видеть людей вне их общественной среды. Здесь он встретил их за работой: одни торопливо бежали куда-то, другие, словно прикованные к станкам, без конца повторяли одни и те же движения. Он почувствовал одновременно и гордость и смирение. Гигантская организация и её мощь, подчинявшая себе всех этих маленьких людей, трудолюбивых, как боб-

ры, внушали ему уважение; с другой стороны, он гордился тем, что он, Кратохвил, неотъемлемая часть этой организации, необходимая для того, чтобы держать бобров в подчинении.

Он разгуливал по просторным цехам завода, и серая шляпа, с которой он не пожелал расстаться, являла разительный контраст с заплятанным комбинезоном, прикрывавшим тщедушное тело.

В капсюльном цехе он увидел бесконечную ленту конвейера, несущую ряды за рядами не готовые ещё снаряды по всей длине цеха. Чтобы не прекращать работу во время воздушных налетов, стеклянная крыша была покрашена в черный цвет, и тусклое искусственное освещение бросало на бледные лица работниц резкие тени, ещё более подчеркивавшие их бледность. За конвейером, довольно близко одна от другой, стояли женщины, молодые, пожилые и старухи, но все с одним и тем же выражением сосредоточенной усталости. Около женщин сутились надзиратели, иногда осматривая тот или другой снаряд, а чаще подгоняя женщин короткими резкими окриками.

Здесь была и Милада, повязанная голубой косынкой, совершенно закрывавшей волосы. Кратохвил прислонился к столбу, сдвинул шляпу на затылок и уставился на девушку. Милада сразу узнала вчерашнего бродягу и выронила капсюль, который был у нее в руках. Она стояла растерянная, а конвейер неумолимо двигался дальше.

— Эй, вы! — крикнул один из надзирателей. — О чём это вы думаете? Брак! Опять брак! Проклятые бабы! Всю ночь распутничают, а днем спят.

Милада машинально взялась за работу. Её руки так и летали, стараясь наверстать упущенное время. Но её снаряды ушли слишком далеко.

Попытки других работниц помочь ей ещё больше запутали дело. Пришлось остановить конвейер.

— Саботаж!— крикнул один из надзирателей.— Каждый час приходится останавливать конвейер.

Какая-то женщина пробормотала мрачно:

— Почему же вы не пустите его медленнее? Никто не успевает.

— Это кто сказал?

Ответа не было.

— Я позову охрану, и всех вас арестуют!

— Вот как? Что ж, позовите!— отозвался тот же мрачный голос.— Может, сами к станкам станете?

Но в эту минуту конвейер тронулся, и порядок восстановился: слышалось только звяканье металлических частей и скрип конвейера.

Через цех прошёл инструментальщик Бреда. Поровнявшись с Миладой, он остановился, нагнулся и подвинтил гайку; выпрямившись, он взглянул на неё и поздоровался лёгким кивком.

Он заметил, что она расстроена, и вопросительно поднял брови. Она незаметно кивнула в сторону Кратохвила. Бреда ничем не показал, что видит этот кивок. Он прошёл дальше, заговорил с одним из надзирателей, и только после этого, как бы случайно, взглянул на тот столб, к которому прислонился Кратохвил, наблюдая за всем, что происходит в цеху.

Бреда поднял руку, по-приятельски приветствуя его. Кратохвил удивлённо дотронулся до поля шляпы.— Я не знал, что вы здесь работаете!— крикнул Бреда, заглушая грохот в цеху.

Кратохвил указал на свой значок.— Надзирателем!— крикнул он в ответ.

— Желаю удачи!— отозвался Бреда.

— Что?

— Желаю удачи!

Бреда ушёл. Кратохвил упал духом: обмен приветствиями испортил ему настроение. Он встревожился и, чувствуя себя не совсем приятно, решил, что лучше переменить обстановку. Милада не могла отойти от конвейера до обеденного перерыва. Можно было не торопясь позвонить в штаб гестапо.

Но он запутался в заводском лабиринте. Отчасти это была его ошибка: встреча с человеком, который чуть не задушил его ночью, так поразила его, что он вышел в ближайшую дверь, вместо той, через которую вошёл в цех; он шагал, не думая о том, куда идёт. И вдруг, очнувшись, понял, что сбился с дороги.

Кратохвил спросил у одного из рабочих, как пройти в помещение охраны. Тот ему ответил вежливо, но довольно невразумительно. Он пошёл по указанному пути, пересек двор и опять заблудился. Человек, которого он спросил теперь, показал ему другую дорогу: прямо, налево, обогнуть здание и опять прямо. Кратохвил даже вспотел.

Стены цехов смотрели холодно и враждебно, их запylённые окна, казалось, говорили: мы тебя не видим, ты нам не нужен, ты не наш. Он заторопился. Переходя полотно узкоколейки, он испуганно шарахнулся в сторону от паровика, с невероятной быстротой промчавшегося мимо. Потом другой паровик — а может быть, тот же самый, — сердито свистя, надвинулся на Кратохвила уже по другим рельсам, и опять ему пришлось отскочить.

Он побежал спотыкаясь, словно за ним гнались. Ему казалось, что он слышит за собой чьи-то шаги, но, обернувшись, он никого не увидел. Тревожный, глухой гул работающих станков — штамповальных, прокатных, точильных — за-

хлестнул его.— Попался!— простонал он.— Попался! Попался!

Вот открытая дверь! Он бросился к ней и очутился в литейной. Это было огромное помещение со стальным креплением стен и перекрытий. Под крышей мимо целой сети рельс скользили краны, беззвучно, как призраки, переноса стальные болванки, колёса, стволы тяжёлых орудий и мортир.

Рабочих здесь было немного. Они были похожи на карликов в стране великанов и казались беспомощными и ненужными в этом царстве гигантских железных рук, с крюками вместо пальцев, подшипниками вместо суставов и стальными тросами вместо мускулов.

Кратохвил чувствовал себя совсем маленьким и затерявшимся. Он нерешительно двинулся к другому концу литейной, где большие пневматические молоты, опускаясь и поднимаясь, расплющивали то, что находилось под ними.

Опять ему показалось, что кто-то его преследует. Опять он обернулся, но никого не было. Вдруг что-то заставило его поднять голову, и он увидел прямо над собою скользкий кран. В этом не было ничего особенного, но он остановился. Остановился и кран. Он двинулся дальше, и кран двинулся за ним. Он пошёл направо, где виден был просвет между машинами,—кран тоже повернул направо. Что это, игра? Кто направляет кран? Никого не было видно—машины, казалось, действовали сами собой, холодные, неповоротливые и жестокие. Кратохвил побежал. Кран двигался быстрее— всё быстрее и быстрее. Если он догонит Кратохвила—конец, он это знал. Его преследуют машины! Он спотыкался, колени под ним подгибались, на губах

выступила пена, глаза горели — он в смертельном страхе напрягал все силы.

Вдруг он услышал чей-то окрик: — Эй, берегись!

Он взглянул вверх...

Страшный крик, который он готов был испустить, так и не успел сорваться с его губ. Его раздавила груда стальных полос. Над ним высился кран, разжавший свои челюсти, спокойный и безобидный.

Серая фетровая шляпа, гордость Кратохвила, лежала рядом с его стальной гробницей, как шлем нациста лежит на его могиле.

Работа в литейной остановилась. К месту происшествия бежали рабочие, санитары с носилками, заводской врач, мастер.

Один из рабочих осмотрел шляпу. — Кто же это такой? — спросил он. — У нас никто не ходит на работу в такой шляпе.

— Чтобы добраться до него, надо сначала поднять стальные полосы, — сказал один из санитаров. — Думаю, что от него не много осталось.

— Как это случилось? — спросил врач.

— Не знаю. Может быть, короткое замыкание.

— Но свет горит! — заметил врач.

— Оно может быть и местным. Нехватает людей для текущего ремонта. Ещё чудо, что это не каждый день случается.

— Хорошо, хорошо! Расходитесь по местам.

Все вернулись к работе, снова двинулись краны, заработали молоты, и снова по всей литейной пошёл гул и грохот. Сверху спустились железные крюки крана и подхватили стальные полосы так легко, как будто это были спички.

Врач, следивший за подъёмом, заметил, что кран был в полном порядке. Его это удивило, но он решил молчать. Лучше не впутываться

в эти дела, время сейчас опасное. Да это его и не касается. Что он смыслит в электричестве?

Отведя глаза в сторону, он распорядился, чтобы санитары убрали расплющенные останки пана Кратохвила. Потом он поднял осиротевшую серую шляпу, немного свидетеля трагедии.

Эта шляпа помогла лейтенанту Шинклею установить личность погибшего. Как только шляпу положили перед ним на стол, он сейчас же вспомнил Кратохвила и немедленно организовал обыск. Результаты обыска не оставляли никаких сомнений в том, что тут действуют какие-то таинственные силы, нарушая порядок во владениях Шинклея.

Лейтенанту это очень не нравилось. Назначением на завод он был весьма доволен, думая, что работа будет спокойная. Он не отличался воинскими доблестями, был хороший семьянин и пытался приспособить войну к своему образу жизни. Несчастный случай с Кратохвилем выбил лейтенанта из колеи, пробудил в нём дурное предчувствие, а главное, возложил на него тягостную ответственность, нести которую он был едва ли способен. В этот критический для его военной карьеры момент лейтенант был больше всего озабочен тем, чтобы свалить ответственность на кого-нибудь другого, и потому позвонил в гестапо. Ему пришлось ждать, пока его соединяли то с одним, то с другим отделом; он три раза докладывал одно и то же, пока ему не ответили, что это дело касается самого рейхс-комиссара Рейнгардта, и попросили его не отходить от телефона — может быть, удастся сейчас же соединить его с рейхскомиссаром.

Рейнгардт проспал несколько часов, но сон

не освежил его. Заложники и во сне преследовали его. Он проснулся, почувствовав, что Грубер трясёт его за плечо. Рейнгардт лежал на койке в той комнате, рядом с кабинетом, где он проводил заседания и отдыхал, когда время не позволяло уехать домой.

— Вас просят к телефону, герр рейхскомиссар,— сказал Грубер.— По очень важному делу. Я подумал, что лучше будет, если вы поговорите сами. Вы крепко уснули.

Рубашка Рейнгардта измялась во сне, он выглядел утомлённым, дыхание было несвежее. Набросив на плечи мундир, он, пошатываясь, подошёл к телефону.

— Да?— сказал он хриплым со сна голосом.

— Говорит лейтенант Шинклейн с Колбенского завода. Я начальник охраны, как вам известно...

— Да, да!— раздражённо прервал его рейхскомиссар.— Ближе к делу, пожалуйста!

Лейтенант, которому надоело повторять одно и то же, обиделся и сказал недовольным тоном:

— Ну, если вам всё равно, что вашего шпика убили, то мне и подавно наплевать. Но только, куда прикажете девать тело?

— Лейтенант, с вами говорит рейхскомиссар Рейнгардт. В чине полковника, если вам это неизвестно. Извольте рапортовать по форме, с должным уважением, понимаете?

— Слушаю, герр рейхскомиссар! Прошу прощения, герр рейхскомиссар!— Шинклейн мысленно щёлкнул каблуками и подумал: „Так я и знал, что с этим проклятым делом будут одни неприятности“.—Сегодня утром,— доложил он,— на завод явился чех и назвал себя агентом гестапо. Его зовут Кратохвил.

— Кратохвил?—переспросил поражённый Рейнгардт.—Что же с ним?

— Убит. Несчастный случай.

— Не верю!—сказал Рейнгардт.

— Уверю вас, герр рейхскомиссар, что его нет в живых. Изуродован до неузнаваемости. Раздавило в лепёшку. Поверьте мне, герр рейхскомиссар,—убеждал его лейтенант.

— Не верю в то, что это несчастный случай, вот что я хотел сказать,—сердито объяснил Рейнгардт.—А что делал Кратохвил на заводе? И почему вы оставили его без охраны?

Шинклеин оправдывался:—Мне показалось, что он и сам за себя постоит. А кроме того, я не уполномочен вмешиваться в дела государственной тайной полиции.

— Хорошо, хорошо! Что же он делал на заводе?

— Он вёл слежку за Миладой Марковой, которая работает в капсюльном цехе.

Рейхскомиссар тихо, но выразительно свистнул. Потом продолжал:—Какие же меры вы приняли?

— Опознали труп. Установили причины несчастного случая. Кажется, короткое замыкание. Кратохвил был раздавлен стальными полосами.

— Кратохвил меня больше не интересует!—оборвал его Рейнгардт. Что за болваны, эти армейские офицеры!—Даже вы, Шинклеин, могли бы догадаться, что мёртвый шпик мало чем может быть полезен. А что вы сделали с этой Марковой?

— Ничего!

— Я так и думал. Будьте любезны, немедленно арестовать её и направить в штаб. Можно на вас положиться, или я должен послать специальную команду?

— Да, герр рейхскомиссар! То есть нет, мы

сами её арестуем, можете на нас положиться!— Шинклейн собирался было рассыпаться в извинениях, но услышал, что трубку положили на рычаг. Шинклейн был очень недоволен собой, заводом, Кратохвилем и судьбой, которая обрела его, бывшего кассира „Торгового кредита“ в Оснабрюке, отвечать за события, к которым он не имеет отношения. Шинклейн был бы недоволен и Рейнгардтом, но на это он никак не мог отважиться.

Рейнгардт в своём кабинете одевался с помощью Грубера, который почистил ему мундир и ботинки. Бреясь, комиссар недовольно хмурился. Смерть Кратохвила нельзя было рассматривать обособленно, это ясно. Она была частью целого, частью заговора, в котором он пока ещё не мог разобраться, не мог найти ни конца, ни начала. Начать дело Глазенапа было всё равно, что растревожить осиное гнездо, и осы теперь летали роями и жалили.

Надо будет проверить, нет ли связи между всеми событиями. Самопожертвование Прокоша, бесцельное, с первого взгляда, путешествие Яношека в кафе „Манес“, упорное молчание Миллады, донос Прейсингера на Яношека, а теперь смерть человека, погнавшегося за осой. Но к чему всё это сводится? Кто и что скрывает? В чём состоит их заговор, что они затевают? Кто ещё участвует в нём?

Муртембахер прав. Перестрелять их всех! Но это не решит задачи— может быть, часть сети ещё уцелела, ткутся новые нити,— словом, положение останется без перемен. Надо докопаться до дна, найти корни, найти людей, которые стоят во главе заговора. Но они ускользают от закона.

Это всё равно, что бороться с туманом. Можно войти в него, разогнать его то здесь, то там, но он смыкается снова, окружает вас, душит вас, слепит, угрожает вам.

Туман, думал он. Но ведь туман — это стихия. Может быть, тут не до чего докапываться, нет никаких корней и никто не стоит во главе? Может быть, это народ?

Но тогда с этим невозможно бороться. Тогда это перестает быть делом полиции, с этим не справятся все Рейнгарты на земле, взятые вместе. Нет, с этим он не хочет и не может согласиться.

Нужно искать смысла в этом заговоре. Но в нём одно противоречит другому. Если Прокош хотел выдать себя за убийцу Глазенапа, к чему тогда было Яношеку выдумывать второе письмо Глазенапа? Если Милада знала о самоубийстве, почему она отрицала это так энергично, хотя её обвиняли в убийстве? Почему Прейсингер выдал Яношека, а не Прокоша? Все ли они участвуют в заговоре, или не все, и какая связь между Миладой и заложниками? Возможно ли, что Глазенап действительно убит, а не покончил с собой?

Всё было зыбко, все растекалось, и он чувствовал, как его затягивает эта трясина.

Надо выбраться на твёрдую почву. Это необходимо, иначе я не только провалю дело, но и сам сойду с ума. Чем больше он думал, тем больше запутывался.

В нём прсснулся страх. Страх, что он столкнулся с чем-то, чего не в силах одолеть, а ему нельзя бояться. Нельзя терять голову. Надо вернуться к действительности, к старым, испытанным методам полицейской работы — к допросам, обыскам, арестам, пыткам. Надо добиться определенных результатов!

Он сегодня же как следует допросит Миладу и на этот раз, обещал он себе, сломит её сопротивление. А Яношека он просто разнесёт в клочки. И если нужно будет вырвать у этого человека сердце, чтобы добраться до его тайны, он вырвет! Его же замысел остаётся без изменений: Глазенап убит неизвестными лицами. И Прейсингер должен быть расстрелян вместе с другими заложниками!

Все приготовления к допросу Яношека были закончены, прежде чем Рейнгардт спустился в котельную в подвале гестапо, чтобы добавить последние штрихи.

Яношека вытащили из стоячего гроба. Младенец отбил ему все почки, и он еле добрёл до котельной. Там его встретил Менкеберг. Закатав рукава, он приказал Яношеку раздеться и осмотрел его. Эсэсовцы, среди которых он узнал Эндзингера и Вальтерса, ухмылялись и отпускали остроты насчёт его волосатости, насчёт его половых органов, сократившихся от нервного страха, хотя сам Яношек не боялся ничего.

Менкеберг ощупал его, исследовал мускулы спины, упругость кожи, крепость плеч. У Менкеберга были опытные руки, и они говорили ему: это здоровяк. Он уже не молод, но у него крепкое тело, он выдержит очень многое. Он оценивал Яношека, словно скотопромышленник, покупающий быка на убой.

Исследовав Яношека, Менкеберг выбрал хлыст, который нашёл наиболее для него пригодным, — гибкий и длинный стальной прут, который при умелом употреблении глубоко врезался в тело. Он почти ласкающим жестом пропустил этот хлыст сквозь кулак. Потом закурил папиросу

и стал ждать. Длинный столбик пепла он осторожно отряхнул на хлыст.

Яношек наблюдал всё словно со стороны. Ему это казалось немыслимым, нереальным. Он должен был напомнить себе, что именно он, Яношек, стоит голый перед этими людьми, у которых такой деловой вид и которые смотрят на него так же равнодушно, как рабочий в прачечной смотрит на простыню, прежде чем пропустить её через каток. Яснее всего он ощущал шершавость цементного пола под ногами, он шекотал ему подошвы, когда он переступал с ноги на ногу, чтобы немного размяться.

— Какого чорта мы дожидаемся?— спросил Грубер, которому не терпелось начать. В Яношке он видел личного врага, ибо этот чех не выказывал к нему уважения.

Менкеберг рассеянно обернулся к Младенцу:— Рейнгардта,— ответил он.— Рейхскомиссар будет сам присутствовать при допросе.

— Не приготовить ли заключённого?— предложил Грубер.

Менкеберг не возражал.— Ну что ж. Свяжите его покрепче. Не люблю, когда они шевелятся.

Это он обо мне, сообразил Яношек. Чтобы меня приготовили. Чтобы меня связали покрепче. Не хочет, чтобы я шевелился. А зачем мне шевелиться? Я буду лежать спокойно, не напрягаясь. Чем меньше я буду напрягаться, тем меньше почувствую.

Энциндер и Вальтерс подошли к нему.

— Идём-ка,— сказал Энциндер вовсе не враждебным тоном. Для них все это было не ново. Для них Яношек перестал быть человеком с умом и сердцем, душою и нервами. Для этих мастеров заплочного дела он стал объектом работы. Если б Яношек сопротивлялся, они бы

живо с ним расправились. Но он казался podatливым.

Они повели Яношека к столу. Не успел он опомниться, как его уже подхватили и растянули на столе, животом вниз. Его тело защищалось. Мускулы напряжались, сопротивляясь впивающимся в тело ремням, но грубая сила надзирателей одолела непокорную плоть: удар по затылку расслабил мускулы, и ремни сошлись, притянув Яношека к продолговатому столу, отполированному его бесчисленными предшественниками.

Его голова была прижата боком к столу. Он ясно видел полоску дерева, а за нею кусок пола, угол одного из котлов и часть серой стены. Во всём этом не было ничего утешительного, но оно неизгладимо врезалось в память Яношека.

Он услышал торопливые шаги, слова приветствия и догадался, что вошёл Рейнгардт. Скоро застучала машинка, и сухой голос рейхскомиссара начал диктовать: — Дело Глазенапа, допрос Яношека, пол — мужской, национальность — чех, продолжение. — Голос умолк, потом спросил: — Какой час, точно? — Кто-то ответил: — Десять минут двенадцатого, герр рейхскомиссар. — Голос продолжал: — Одиннадцать десять, вторник, четырнадцатое сентября тысяча девятьсот сорок первого года.

Машинка перестала стучать. Наступило молчание, которое показалось Яношеку вечностью. По лёгкому скрипу башмаков он догадался, что к нему кто-то подходит. Потом в поле зрения появились брюки и сапоги. За ними кто-то поставил стул. Человек сел. Перед Яношеком было бледное лицо Рейнгардта.

— Я пришёл, чтобы сдержать своё слово, — сказал Рейнгардт. — Помните?

Яношек понял, что отвечать не надо.

— Мы отнеслись к вам слишком либерально, Яношек. Это была ошибка. Мы всегда готовы сознаться, совершив ошибку. Вы злоупотребили нашей гуманностью, нашим великодушием и не сказали нам ни слова правды о смерти лейтенанта Глазенапа.

Машинка в углу громко стучала. Резкое дребезжание каретки при каждом переходе на новую строку сопровождало проповеди Рейнгардта.

— Не думайте, что это пройдёт для вас безнаказанно. Я известен как человек своего слова. Но вы можете избавить себя от лишних мучений, сказав мне, что заставило вас предпринять этот, повидимому, ненужный обыск в кафе „Манес“.

Оба упорно смотрели друг на друга не опуская глаз, но видели один другого под углом в девяносто градусов. Яношеку тонкий нос рейхскомиссара казался горизонтальным, а бескровные губы непристойным обрамлением чёрной вертикальной щели его рта.

Рейхскомиссар, у которого поле зрения было шире, видел два глаза своего врага один над другим, но в обоих была одна и та же ненависть, одно и то же презрение. Прежде эти глаза были полускрыты тяжёлыми веками или глядели на мир сонно и лениво. Рейнгардту казалось, что он первый раз в жизни видит Яношека без маски.

И опять он ощутил то же замирание под ложечкой, то же недоброе предчувствие, какое у него было, когда он услышал о несчастном случае с Кратохвилем.

Губы Яношека зашевелились. Рейнгардт не мог понять, что он говорит. Он наклонился ниже, к самому его лицу.

Яношек прошептал:— Что же вы не начинаете, Рейнгардт?

Рейхскомиссар невольно отшатнулся. Человек был крепко привязан к столу, в этом не могло быть сомнения. И всё же Рейнгардту на миг показалось, будто на него нападают. Потом он взял себя в руки.

Яношек увидел, что губы Рейнгардта сомкнулись ещё плотнее.

Это было его последнее впечатление от Рейнгардта — губы, сжатые плотно, точно створки раковины.

Рейнгардт пересел подальше от Яношека на другой, более удобный стул, рядом с машинкой. Сухой голос продолжал:— Так как заключённый отказался отвечать, допрос передан сержанту Менкебергу.

Верный Менкеберг, который до сих пор не двигался с места и курил одну папиросу за другой, снял галстук и расстегнул воротник рубашки. Потом взглянул на своего начальника.

— Начинайте,— сказал Рейнгардт.

Грубер облизал губы. Его нетерпеливые мальчишеские глаза следили за тем, как Менкеберг по-кошачьи осторожно подходит к своей жертве. Он видел живое тело Яношека, перетянутое в нескольких местах ремнями. Он видел, как Менкеберг поднял руку и быстро взмахнул ею.

Хлыст засвистел и хлестнул по телу. Эсэсовцы, казалось, вздохнули с облегчением. Рейнгардт вытянул поудобнее ноги и стал смотреть на ярко начищенные носки башмаков. Рука Менкеберга поднялась для второго удара.

Яношек тоже почувствовал облегчение. Он ждал, что боль этого первого удара будет невыносимой. К его удивлению, эта боль распадалась на несколько ощущений, и все они уложились в ка-

кую-то долю секунды. Тут было и дрожание кожи, и чувство внезапного ожога в месте удара. Тут была и боль, расходившаяся волной от того места, по которому ударил хлыст, и хлынувшая к затылку. Тут была и непроизвольная реакция мускулов, они сокращались, стремясь подбросить его кверху, но ремни удерживали его на месте. Тут было и желание кричать. Откуда-то из глубины что-то подкатывало к горлу и рвалось наружу. Потом начал работать разум. Началась борьба между его разумом и нервами. Ему нужно было на чём-нибудь сосредоточиться. И вот вокруг чего он собрал все оставшиеся силы: я не закричу!

Он чувствовал, что кожа лопнула там, где хлыст оставил вспухший рубец. Кровь просочилась из опухоли и потекла по коже, тёплая и влажная. Яношек покрылся холодным потом и, облизав губы, почувствовал его солоноватый вкус.

Яношека удивило, что его мозг способен работать даже под наплывом боли. Он работал, как сейсмограф, отмечая сотрясение нервов. Может быть, я это и вынесу, подумал Яношек.

Второй удар хлыста. Опять лавина боли, опять шок и потрясение всей нервной системы. Третий удар. И четвёртый, пятый, шестой.

Менкеберг избивал его методично, неторопливо и сосредоточенно. Вот почему Рейнгардт не боялся доверить ему эту ответственную работу. И опыт у Менкеберга был колоссальный. Прежде всего точность прицела. Удары ложились параллельно, на ладонь один от другого. Он не ударял по открытым ранам, чтобы заключённый не потерял сознания раньше времени. Он знал, что потерявший сознание человек уже не в его власти.

Нет, Яношек не потерял сознания. Он не кри-

чал, но не мог удержать глухих стонов, рвавшихся сквозь крепко стиснутые зубы. Услышав их, Энцингер заметил:— Силён, как бык, чорт его дерит!

Вальтерс ответил:— Некультурный, в этом всё дело. Эти низшие расы знать не знают, что такое нервы.

Грубер побледнел. Его руки тряслись, когда он закуривал папиросу. Он выронил папиросу изо рта и должен был поднять её. Она запачкалась, и, выругавшись, Грубер придавил её ногой.

Седьмой удар. Восьмой.

И всё же разум Яношека боролся с нервами. Боль теперь бушевала в нём. Где-то в глубине начинали глухо дрожать струны, звук усиливался, достигал яростного напряжения и угасал.

Яношек услышал сухой голос Рейнгардта:

— Ну, как он, в псрядке?

И Менкеберг проворчал в ответ:— Да, герр рейхскомиссар, да!

Всё это слышалось точно издали. Они были в этом мире, а он ушёл в иное измерение, куда они не могли следовать за ним.

Девятый удар. Десятый.

Он ощущал боль, но это уже не имело значения. Глаза его были полны слёз, он ничего не видел, сколько ни старался держать их открытыми. Но его разум всё ещё боролся.

Все его мысли были теперь сосредоточены на комочке бумаги, валявшемся на полу уборной в кафе „Манес“. На адресе Вацлика. Он думал о тени лысого грузчика, и эта тень принимала гигантские размеры, заслоняя собой клочок белой бумаги. Потом появились руки Бреды, сильные, надёжные руки. Потом руки исчезли, и он увидел всплески жёлтого, красного и белого света, поднимавшиеся до невероятной высоты.

Одиннадцатый удар.

Он засмеялся. Он в самом деле засмеялся. Это был слабый, вымученный смех. Он прозвучал так страшно, что Грубер вопросительно оглянулся — кто здесь может смеяться? Младенец не сразу понял, что смеётся Яношек.

В эту минуту открылась дверь. На вошедшем поверх чёрного мундира был белый халат. Голова у него была наголо выбрита, и один, стеклянный, глаз оставался неподвижным, в то время как другой, живой, глядел на Рейнгардта.

— Здравствуйте, доктор! — приветствовал его рейхскомиссар. — Пришли взглянуть?

Доктор кивнул. Он подошёл к столу, на котором лежал окровавленный Яношек, с судорожно подёргивающимися ногами.

Здоровый глаз доктора сосчитал рубцы. Он стал следить за хлыстом Менкеберга, поднятым для двенадцатого удара. Он видел, как тело Яношека извивается под ударами. Он видел, как кишечник Яношека изверг кровавую массу кала. Приложив к носу платок, он отечески пожурил Менкеберга:

— Остановитесь, дорогой Менкеберг. Вы его убьёте.

— Он ещё в сознании, — ответил Менкеберг, отирая тряпкой хлыст.

Доктор обернулся к Рейнгардту: — Что вы намерены с ним делать?

— Он заложник. Завтра мы его расстреляем.

Глаз доктора был устремлён на тонкие губы Рейнгардта. — Если вы будете продолжать в этом духе, то пули вам не понадобятся.

— Сейчас я не собираюсь его убивать. — Рейхскомиссар, казалось, оправдывался. — Мне нужно добиться от него некоторых сведений.

— Облейте его водой. Отпустите ремни. Пусть

отдохнёт полчаса,—посоветовал доктор. Потом нагнулся к рейхскомиссару и шепнул: — Ваши мотивы, конечно, очень важны, но есть известный предел физической выносливости. — А вслух прибавил: — Интересная медицинская проблема, очень интересная.

Секретаря отправили за водкой. Доктор уселся в кресло рядом с Рейнгардтом и продолжал, закинув ногу на ногу: — Упорный народ, и физически и во всех других отношениях. У вас что-то не ладится?

— Нет, всё в порядке.

Доктор опустил живой глаз, в то время как стеклянный взирал на рейхскомиссара. — У вас усталый вид. Может быть, хотите в отпуск? Я с удовольствием вас осмотрю в любое время.

Рейнгардт не верил, чтобы заботливость доктора объяснялась альтруизмом. — Будет уж! — сказал он. — Что вам нужно?

Принесли водку, и разговор прервался. Рейнгардт налил её в рюмки. — Ну, за фюрера! — Полагалось выпить рюмку одним глотком.

Вторую рюмку собеседники осушили за здоровье друг друга.

— Упорный народ,— философически повторил доктор. — Я занимаюсь исследованиями в этой области. Мной составлены сравнительные диаграммы выносливости, но представьте, как мне не везёт — не могу подвести итога. Всё время приходится исправлять диаграммы и, заметьте, всё время в сторону повышения. Чем шире мы применяем наши методы, тем больше закаляются пациенты. Очень неприятно! Очень!

— Prosit! — Третья рюмка. Глоток.

— Ну, так что вам от меня нужно?

— Дело касается одного моего коллеги, кото-

рый находится у вас, уважаемый герр рейхскомиссар.

— Валлерштейна?

Доктор кивнул.

— Боюсь, что ничего не могу для вас сделать. Он будет расстрелян завтра вместе с другими заложниками.— Голос Рейнгардта звучал очень решительно.

Доктор придал своему здоровому глазу изумлённое выражение.— Да нет! За кого вы меня принимаете? Я не собираюсь его спасать. Я хотел попросить вас — он вёл очень интересную работу. Где его бумаги? Мне хотелось бы взглянуть на них.

— Да, ещё бы!— Рейнгардт улыбнулся.— Он даже сделал мне удивительное предложение, на которое я согласился. Он записывает свои наблюдения над заключёнными и над самим собой в камере смертников — представляете?— Рейнгардт с гордостью смотрел на доктора. Он не только не чужд научным интересам, но и некоторым образом меценат.

Глаз доктора завистливо блеснул.— А что вы будете делать с записками Валлерштейна?

Рейнгардт счёл нужным уклониться от ответа.— Не знаю. Прочту как-нибудь.

— Послушайте, рейхскомиссар, мы с вами всегда были в хороших отношениях, не правда ли?

— У меня нет врагов,— улыбнулся Рейнгардт.

— Отдайте мне эти бумаги,— клянчил доктор.

— Для напечатания? Под вашей фамилией?

Стеклянный глаз смотрел на Рейнгардта без стыда, а в здоровом мелькало что-то вроде смущения.

— Что же, я непрочь. Я бы написал вступительную статью. Это делается сплошь и рядом.

— Отпуск мне едва ли нужен,— сказал Рейнгардт.

Доктор ухмыльнулся.— Вот как?— Потом наклонился к нему:— Вы мне сделаете это одолжение?

— Если я одобрю содержание записок, то почему бы и нет.— Рейнгардт опять наполнил рюмки.

— Что касается вот этого,— доктор показал большим пальцем на Яношека,— то не спешите. Перемените лекарство и закатывайте дозы поменьше. Советую как учёный учёному!

И, закрыв оба глаза, живой и стеклянный, доктор рассмеялся и, смеясь, вышел из комнаты.

Этот смех привёл Яношека в сознание. Теперь его не били, и в нём осталась только боль. Эта боль, казалось, жила своей отдельной жизнью. Она стояла над ним, как жестокий хозяин, подгоняя каждое биение его сердца; она обволакивала его тяжким жаром, от которого не было спасения.

Он лежал в чём-то мокром и липком. Он сделал усилие, чтобы понять, что это такое,— и сразу понял, что это его собственная кровь.

Ремни были отпущены, и он попробовал пошевелиться. Но боль была так остра, что он бросил всякие попытки и лежал неподвижно. Он чувствовал себя очень слабым и измученным и спрашивал себя: неужели это конец? Тогда прекратится боль, против которой он безоружен. Прекратится всё.

Но он знал, что ему не отделаться так легко. Рейнгардт ясно дал понять, что ему нужно. То, что испытал сейчас Яношек, было только началом, в этом он не сомневался.

Его удивляло, что он может думать о себе так

разумно. Какая-то часть его мозга, остаётся до сих пор работоспособной, другая же только воспринимает боль. Надо думать и заглушать этим боль, потребовал он от себя. Надо думать о таких важных вещах, о таких значительных, чтобы мысли о них пересилили боль.

Важно, нашёл ли грузчик адрес Вацлика.

Он слышал голоса своих мучителей. Они приближались к нему. Важно, успеют ли во-время взорвать баржи со снарядами.

Сухой голос Рейнгардта сказал что-то насчёт того, чтобы ремни опять стянули.

Важно хранить упорное молчание, от этого зависят жизни тысяч русских солдат на Восточном фронте, против которых посылаются баржи со снарядами.

Он услышал голос Рейнгардта.— Ну, как вы себя чувствуете?— Он догадался, что вопрос задан ему.

Важно, чтобы русские продолжали драться и помогли освободить его маленькую страну, его родную Прагу, шахтёров Кладно, батраков Моравии.

— Вы молчите, значит, чувствуете себя не совсем хорошо. Не так ли? Скажите мне — давал вам Глазенап письмо? Да или нет?

Важно, чтобы он вынес пытку. Другим это удавалось, удастся и ему. Да, он выдержит.

— О чём вы сговорились с Прокошем?

Важно... но при чём тут Прокош? Почему он о нём спрашивает?

— Что вам известно о смерти Глазенапа?

Важно... Какие глупости спрашивает этот человек? Я давно миновал это, все это где-то далеко внизу, вокруг меня стена боли, непроницаемая, несокрушимая.

— Менкеберг! — позвал Рейнгардт, пожимая

плечами и отходя от Яношека.— Менкеберг, передаю его вам.

Отдохнувший Менкеберг критическим взглядом окинул распростёртое тело.— На нём живого места нет,— пробурчал он.

Он начал хлестать Яношека по ляжкам и постепенно дошёл до колен и икр.

Он добрался до нежной впадины под коленом, когда явился вестовой и доложил, что привезли Миладу Мареккову.

Комиссар поспешно встал.— Грубер!— крикнул он, заглушая стоны Яношека.— Вот список вопросов. Допрашивайте его и сообщите мне, когда он сдастся.

— Менкеберг!

Менкеберг без рубашки, с грудью, блестящей от пота, вытянул руки по швам.

— Слушаю, герр рейхскомиссар!

— Когда он потеряет сознание, остановитесь. Приведите его в сознание, чтобы он дожил до завтра!

— Слушаю!

Рейхскомиссар удалился, уверенный, что оставляет Яношека в надёжных руках.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Заскрежетав тормозами, трамвай медленно подошёл к последней остановке. Пассажиры вышли и разбрелись в разные стороны.

Бреда подхватил поудобнее свой ящик с инструментами и зашагал сначала прямо, потом свернул влево по красивой, обсаженной деревьями пригородной улице. Он, видимо, успел приглядеться к этим местам заранее, чтобы не спрашивать у встречных дороги.

Походка у Бреды была усталая, в ней не чувствовалось прежней твёрдости. Он часто останавливался и рассеянно смотрел то на зелёные изгороди, то на маленькую плотину из камней, которой дети запрудили ручеёк, бежавший в канаве после дождя. Ручеёк давно пересох, а камни так и остались памяткой о детском весельи и смехе.

Бреда был погружён в свои мысли, но они не имели никакого отношения к тому делу, которое предстояло ему сегодня. Он шёл к нацистскому диктору пражской радиостанции Отокару Симеку. Раньше, когда Бреда выполнял какое-нибудь важное задание, все его помыслы устремлялись в одну эту точку. Но сейчас он насильно заставлял себя думать о Симеке, о том Отокаре Симеке, который, как говорили, был похож на него и лицом и фигурой. Этот Симек, в недавнем прошлом массажист при лечебных ваннах на Карлсбадском курорте, тяготился своей унижительной ролью прислужника крупных еврейских коммерсантов, страдающих ожирением или диабетом или и тем и другим вместе. Не находя в себе сил отказаться от их щедрых подачек, он решил примкнуть к местной организации Генлейна.

После Мюнхена, когда Карлсбад и вся Судетская область отошли к Третьей империи, Симек верой и правдой служил гаулейтеру, присланному новыми властителями из Кёнигсберга. Он до тех пор травил бывшего директора лечебных ванн, чеха, который, не пожелав расстаться с собственным домиком, отказался выехать вместе с другими служащими в изувеченную Чехословакию, пока тот не повесился на чердаке своего дома. Жёну и детей директора ваяли к себе сердобольные родственники, а дом отошёл

к Симеку, который занял его весь целиком, за исключением чердака, куда он избегал подниматься.

Потом наступил тот день, когда Гитлер решил занять всю Чехословакию, и Симек, говоривший по-чешски и по-немецки и получивший блестящую рекомендацию от своего гаулейтера, был послан на пражскую радиостанцию. На этой работе он проявил себя с самой лучшей стороны. Он читал речи Гитлера в переводе на чешский, в точности имитируя интонацию фюрера, а в особо ответственных местах завывал даже громче его.

Бреда заставлял себя думать об Отокаре Симеке, о том, как Симек изумится, когда перед ним вдруг предстанет то самое подполье, на которое он ежедневно призывал гром и молнию. Но мысли его неизменно возвращались к Миладе, к её аресту.

Когда с Кратохвилем было покончено, Бреда зашёл в капсюльный цех. Милада стояла у конвейера, её руки двигались машинально, лицо было усталое, такое усталое! И Бреда тут же решил, что надо попытаться перевести её на более лёгкую работу. Он уже хотел выйти из цеха, как вдруг туда проследовал отряд немецких солдат во главе с лейтенантом Шинклейном.

Конвейер остановили. В настороженной тишине раздался жирный голос лейтенанта:— Кто здесь Милада Мареква?

И вслед за этим Бреда увидел, как хрупкую девушку — его девушку — обступили гитлеровские солдаты. Она не произнесла ни слова, даже не взглянула на него. Живое человеческое существо, затерявшееся среди серых мундиров.

Бреда посмотрел на оставленную детьми за-
пруду и, злобно ударив по камням носком баш-
мака, раскидал их в разные стороны. Симек не
мог ждать ничего хорошего от предстоящей ему
встречи.

Бреда вошёл в небольшой садик и увидел
на одной из скамей Подебрадского и Франти-
шека. Франтишек жевал хлеб. Он сидел, сдвинув
кепи на затылок и подставив лицо солнцу.
Оба они были в рабочих комбинезонах, так же
как и Бреда, и, глядя на них, случайный прохожий
мог подумать: вот люди урвали минутку от обе-
денного перерыва и пользуются заслуженным
отдыхом.

Подебрадский и Франтишек подвинулись, осво-
бодив место для Бреды. Несколько минут они
сидели молча. Мимо прошли две женщины с дет-
скими колясками. Всё было тихо, мирно.

Убедившись, что их никто не подслушивает,
Подебрадский сказал: — У меня хорошие новости.

Франтишек продолжал жевать хлеб. Бреда
сидел всё такой же мрачный.

— Я говорю: хорошие новости! — повторил По-
дебрадский.

— Ну?

— Сегодня ко мне в аптеку забежал маль-
чишка Вацлика. Говорит, что за свёртком прихо-
дил какой-то высокий, лысый.

Франтишек аккуратно завернул оставшийся
хлеб в бумагу и положил его в сумку.

— Ну, Бреда? — сказал он. — Ты разве не по-
нимаешь, что это значит? Твой Яношек настоя-
щий маг и кудесник. Ухитрился всё-таки свя-
заться с грузчиками. Да ещё откуда — из геста-
повского застенка! Что же ты молчишь?

Бреда сложил руки на груди. — Хорошие вести, —
сказал он, — очень хорошие.

— Да не хорошие, а замечательные! — сердито крикнул Франтишек. — Я готов не знаю что сделать — то ли плакать, то ли пуститься в пляс. А ты говоришь: хорошие вести! Как будто тебе сообщили, что жене троюродного брата твоей тётки вырезали миндалины и операция прошла благополучно.

Бреда прекрасно понимал, что Яношек совершил подвиг. Он вспомнил их последнюю встречу в кафе „Манес“ и молчаливое рукопожатие, вспомнил, как ему хотелось сказать Яношеку на прощание что-нибудь тёплое, дружеское, и, увидев перед собой рядом с нетускнеющим образом Милады старика Яношека, Бреда почувствовал, как судорога сжимает ему горло.

Подебрадский понял, что Бреда чем-то глубоко взволнован. — Что-нибудь случилось? — спросил он. — Почему у тебя такой расстроенный вид?

Женщины с детскими колясочками сделали круг по садику и снова появились у скамейки. Бреда долго смотрел им вслед. Он хотел успокоиться.

Потом он сказал: — Вы не тревожьтесь. Наше дело тут ни при чём. Я расстроился из-за этой девушки.

— Какой девушки?

— Из-за Милады, той, которая рассказала мне про Глазенапа. Её сегодня арестовали у меня на глазах. Тяжелее всего то, что стоишь рядом и ничем не можешь помочь. Не можешь пальцем шевельнуть, не смеешь окликнуть её. А потом начинаются терзания: не по моей ли это вине? Может быть, я не доглядел? Может быть, всё это из-за меня?

— А почему из-за тебя? — спросил Франтишек.

— Гестаповский начальник, Рейнгардт, каким-

то образом пронюхал, что Милада знала Лавенапа. Он допросил её, но ничего не добился. Арестовать не арестовали, а установили слежку. А сегодня на „Колбенке“ с этим шпиком произошёл несчастный случай.

— А! — сказал Франтишек.

Подебрадский пытался разубедить Бреду: — Тебе не в чем себя винить. Со шпиком так или иначе пришлось бы разделаться. А чем они докажут ее причастность к его смерти?

Доводы Подебрадского не убедили Бреду.

— Я знаю, — сказал он. — Знаю. Тысячу раз повторял это самому себе, а всё-таки не легче.

Франтишек сидел с обиженным и разочарованным видом. — Ты всегда учил нас, что личные чувства не должны мешать делу, — сурово сказал он. — А сам... — и осекся, поняв, что горе Бреды гораздо сильнее, чем кажется с первого взгляда.

— Учил? — грустно сказал Бреда. — Неужели я кого-нибудь учил? Скверная привычка. В следующий раз остановите меня, если я опять начну наставлять вас.

Подебрадский дотронулся до его руки и заговорил с теплотой, которую рождает у людей общая опасная работа. — Не сердись, Бреда, я хотел сказать, что такие, как ты, должны держаться крепко. Что бы было со мной и с ним, если б ты вдруг пошатнулся? Мы берём пример с тебя — не подводи же нас.

Бреда посмотрел на часы и сказал: — Пора идти. Тянуть нечего. Ну, и удивится же наш Отокар!

— Я вчера слушал его, — сказал Подебрадский. — Он самого себя превзошёл. Рассказывал о немецком ефрейторе, который один, имея только револьвер, взял в плен шестьдесят русских,

с оружием и со всем прочим. Потом доставил пленных в штаб, посмотрел на свой револьвер и ахнул — не заряжен... Поразительная история, правда?

Франтишек не разделял его восторга. — Рассказывать по радио о нацисте, который забыл зарядить револьвер? — мрачно пошутил он. — Нечего сказать, хорош солдат!

Бреда усмехнулся. — У этого ефрейтора есть все шансы стать рейхсканцлером. Двадцать пять лет назад Гитлер заработал железный крест за такую же сказочку. История повторяется.

Впереди за деревьями показалась летняя вилла Отокара Симека. Он жил там в одиночестве. По утрам к нему являлась уборщица, но к полудню она кончала работу и уходила. Таковы были сведения, добытые Франтишеком.

Они рассчитывали застать Симека одного и поэтому были неприятно удивлены, услышав чей-то громкий голос, доносившийся из открытого окна. Повидимому, в комнате шёл горячий спор на политические темы. Говорил Симек: — Если мы не хотим, чтобы слово „чех“ было вычеркнуто со страниц истории, нам надо в корне изменить своё отношение к Германии. Довольно твердить о верности и покорности, давайте докажем это на деле. Одной покорности мало — от нас ждут сотрудничества!

— Мерзавец! — неожиданно громко вырвалось у Франтишека.

Подебрадский предостерегающе поднёс палец к губам.

Повидимому, собеседники Симека не решались опровергать эти истины, ибо он повторил, но уже с другой интонацией: — Одной покорности мало — от нас ждут сотрудничества.

И вдруг глаза у Франтишека блеснули. — Слу-

шайте, друзья! — радостно шепнул он. — Ведь птичка-то одна! Он репетирует. Но на сей раз дальше репетиции дело не пойдёт!

Они прошли садом к главному входу и позвонили. Декламация прекратилась. В холле послышалось шарканье туфель. В чуть приоткрывшейся двери показался глаз. Симек внимательно оглядел их.

— Что нужно?

— Мы водопроводчики... — начал Бреда, но Франтишек не дал ему договорить и, навалившись всем телом на дверь, распахнул её настежь.

— У вас ванна протекает! — сказал он, входя в холл.

— И слив не в порядке, — добавил Подебрадский.

Симек запротестовал: — Это недоразумение! Как вы смеете врывать ко мне в дом! У меня всё в идеальном порядке, я недавно купил эту виллу. Вы ошиблись адресом. Уходите отсюда, мне некогда с вами возиться!

— Нам тоже некогда, — сказал Бреда.

И это было последнее, что услышал Отокар Симек. Он схватился было за револьвер, но поздно. Бреда и Франтишек скрутили ему руки. Подебрадский ударил его гаечным ключом по голове, и Симек повалился на пол.

Они стояли рядом с бесчувственным телом, тяжело переводя дух. Подебрадский оправился первый. Он опустился на колени и, приподняв Симеку веки, поглядел на его желтоватые белки. — Не сразу очухается. Давайте сюда, на стул. Привяжем его, чтобы не сполз. Хорошая модель — тихо будет сидеть.

Симека крепко-накрепко привязали к стулу. Пригладили ему взъерошенные волосы.

— А теперь, друг мой,— Подебрадский придвинул второй стул и знаком пригласил Бреду сесть,— теперь мы займёмся двойником Симека.

Сняв пиджак и засучив рукава, он достал из свёртка коробочку с гримом и принялся за дело. С увлечением, как настоящий художник, наклеив Бреде маленькие усики, Подебрадский отступил назад, чтобы лучше осмотреть своё произведение и натуру.

— Слушай, Бреда. Когда войдёшь в студию, не забудь поджать губы. А теперь займёмся волосами.— Он извлёк из свёртка рыжеватый парик, наложил его на тонкие прямые волосы Бреды и расчесал на прямой пробор.— Вот так чудо! — воскликнул он.— Пронырливый, грязный интриган!

Чудесное превращение Бреды ещё не было закончено, как вдруг Симек шевельнулся. Франтишек схватил гаечный ключ, готовясь ударить радиодиктора ещё раз.

Но его опередил Подебрадский. Отложив в сторону ножницы и гребёнку, он достал из своей сумки шприц и сказал Франтишеку: — Помоги мне.— Они развязали Симеку руки и засучили на левой рукав. Подебрадский воткнул своему пациенту иглу повыше локтя и, медленно нажимая на головку шприца, ввел ему в вену какую-то прозрачную жидкость.

— Теперь заснёт,— пробормотал он.— Заснёт и будет спать спокойно, спокойно.— Щёки у Подебрадского горели, на лбу мелкими каплями проступил пот.

— Не торопись,— сказал ему Бреда.— Времени у нас много.

— Поскорей бы выбраться отсюда,— сердито буркнул Подебрадский, снова принимаясь за работу. Наконец он, повидимому, удовлетворился

результатами своих трудов и подвёл Бреду к зеркалу в углу комнаты.

Бреда глянул в зеркало. Какое странное ощущение! Лицо, смотревшее на Бреду, было его и вместе с тем чужое.

Теперь посмотрим, какие у него есть костюмы,—сказал Подебрадский. Они оставили безмолвствующего диктора и поднялись в верхний этаж. В одном из шкафов нашёлся элегантный синий костюм со свастикой в петлице. Пока Бреда переодевался, Подебрадский наставлял его:—Смотри не вспотей. До усов не дотрагивайся. Если парик растреплется, поправь его до студии. А в остальном положишься на меня. Ты похож на Симека, как две капли воды,—в этом не сомневайся.

—Смотреть противно! Физиономия кирпича просит. А ты помнишь, Бреда, как пройти?

—Через главный вход, лифт направо—с дежурным не разговаривать, кивнуть ему и поднять руку—третий этаж, по коридору, комната номер триста восемнадцать.

Бреда не в первый раз держал такой экзамен, добродушно покоряясь Франтишкеу.

—Дальше!—не отступался Франтишек.

—Фонограф стоит направо от двери. На нём пластинка „Гогенфридбергский марш“, которым всегда начинаются выступления Симека. Я дождусь, когда над дверью загорится зелёная лампочка „Эфир“, пушу патефон, проиграю первые десять тактов и заменю эту пластинку своей.

—А потом?

—Потом удирать во все лопатки,—со смехом сказал Бреда, застёгивая пиджак на все пуговицы.

—Ничего смешного тут нет!—осадил его Франтишек.—Иди не спеша, как ни в чём не бывало. В лифт не садись... Желаю тебе удачи.

Новоявленный Симек — безупречная копия с оригинала, вплоть до изысканного шёлкового галстука — взял со стула портфель. — Ну, кажется, всё в порядке, — сказал он. — А теперь уходите. Спасибо вам обоим. Вы так ловко всё обделали, что, надо думать, дальше тоже пойдёт, как по маслу. Если же я не вернусь, вы знаете, что делать.

— Не вернёшься? Да будет дурить! — засмеялся Подебрадский.

Франтишек крепко пожал Бреду руку. — Я там наговорил всякой ерунды... Ну, сам знаешь... так ты забудь, не поминай лихом. Ты замечательный парень!

— Ладно, ладно! Ведь уговорились — без проповедей. Держитесь за сучок, чтобы мой дебют на радио сошёл гладко. Есть? — Бреда рассмеялся.

Он проводил товарищей вниз по лестнице.

— Счастливо! — сказал Подебрадский.

— Скоро увидимся! — сказал Франтишек.

— Спасибо! Да... Подебрадский! Как ты думаешь, когда Симек очнётся? Я хочу убраться отсюда заранее.

— Симек? — Подебрадский запнулся. — Да он, собственно, не очнётся... Никогда не очнётся.

— Как так? Но ведь... — растерянно проговорил Бреда. Они с самого начала предвидели, что Симека, может быть, придётся убить, но ни к какому определённомu решению не пришли...

Франтишек сказал: — Симек меня видел. Мог потом узнать в студии.

— Что верно, то верно. — Бреда кивнул.

Подебрадский строго смотрел на Бреду. Его взгляда нельзя было избежать. — Слушай, — сказал он. — Уничтожайте их, как они уничтожают нас. Убивайте их, как они убивают нас.

Бреда обнял старого провизора и расцеловал в обе щеки. В этом порыве было всё — извинение, благодарность, а главное, вера в друга, который не подведёт.

Они ушли. Бреда остался один в доме. Он сел за письменный стол Симека, взял газету, попытался читать. Нет, ничего не выходит. Тогда он передвинул стул и вперил взгляд в неподвижное лицо диктора.

— Видишь,— сказал Бреда Симеку,— вот мы с тобой и расквитались... Ты был всего лишь крохотным винтиком в нацистской машине, и это чистая случайность, что час расплаты наступил для тебя раньше, чем для других. Я только инкассатор, получающий по счёту. Этот счёт предъявляют тебе Яношек, Милада, её Павел и многие другие. Этот счёт предъявляют тебе те, имён которых я не знаю, кто восстанет из безвестных могил и потребует: око за око, зуб за зуб. Меня воспитывали в покорности десяти заповедям. Не убий! Ха, ха! Отокар Симек, ты перечеркнул эту заповедь, а заодно и остальные девять. Теперь я стал судьёй, и я сужу по новым законам, которые останутся в силе, пока мир не будет очищен от всех Симеков, Рейнгардтов и тех, кто верховодит ими. Я буду хорошим судьёй, суровым судьёй. У нашего правосудия зоркие глаза, они проникают в самые сокровенные уголки твоего сердца.

— Ты слушаешь меня, Отокар Симек?

Мертвец, так похожий на Бреду, безмолвствовал.

Бреда поднялся и взял из коробки на столе папиросу. Присутствие мёртвого больше не беспокоило его. Он не спеша докурил, взял портфель, куда аккуратный Подебрадский сунул пластинку с записью речи, и вышел из дома. Какой-то прохожий, повидимому сосед Симека, почти

тельно раскланялся с ним. Бреда весело помахал ему рукой:— Прекрасная погода!

— Совершенно верно, герр Симек,— ответил тот, снова приподняв шляпу.

— Милада!— мечтательно сказал Рейнгардт и провёл языком по губам.

Он сидел в кабинете один; сидел уже минут десять молча, не двигаясь, и думал. После допроса конвойные повели её в одиночку.— У вас будет время обдумать наш разговор. Может быть, вы сами вызоветесь ответить на мои вопросы,— сказал Рейнгардт. Он был так терпелив, так мягок с ней, что восхищался сам собой. Он только что присутствовал при избииении Яношека, а сейчас вдруг такая перемена, такая джентльменская выдержка!

Тем не менее, он дал ей понять, что никакие увёртки не помогут. Она вся в его руках и по своей же собственной вине. Расправу над несчастным Кратохвилем, которому было поручено охранять её, он рассматривает как самую чёрную неблагодарность. Его подозрения оправдались, и вывод из всего этого можно сделать только один: она женщина опасная, отчаянная и не желает пойти ему навстречу.

Когда Милада заявила, что ей ничего не известно о существовании Кратохвила, Рейнгардт отказался поверить ей.

Теперь, вспоминая свою беседу с Миладой, Рейнгардт чувствовал, что может быть доволен собой. Вечером он вызовет её снова и на сей раз пожнёт плоды своих трудов. Как приятно будет вырвать признание у этой девушки!

А пока что надо допросить Лобковица и остальных пятнадцать человек. Тогда можно быть

спокойным: всё будет сделано шито-крыто, - и правда о Глазенапе не просочится наружу. А потом ещё Валлерштейн — Валлерштейн и его записи.

Рейнгардт придавал большое значение этим записям. Рейхскомиссар считал себя знатоком человеческой души. Правда, его методы и цели несколько отличались от методов и целей профессиональных эскулапов, но всё же некоторая связь между тем и другим была. И чем больше усложнялось дело Глазенапа, тем больше Рейнгардт надеялся отыскать хоть какую-нибудь путеводную нить в наблюдениях психиатра. Его надежды особенно окрепли, когда к этим записям протянул свою лапу одноглазый врач. Одноглазый был не дурак и знал цену работе Валлерштейна.

Вот почему, несмотря на целый ряд неблагоприятных обстоятельств, Рейнгардт был так хорошо настроен, когда к нему ввели Валлерштейна. Уверенный, что всё обернётся как нельзя лучше, он встретил свою жертву с сияющей улыбкой. — Ну-с, доктор, надеюсь, вы находите время для научных занятий в гестаповском застенке?

Рейнгардт не мог не заметить, что со времени их первой встречи Валлерштейн сильно изменился. Блуждающий взгляд, покрасневшие веки, щеки запали, губы дёргаются. Он даже постарел.

— Благодарю вас, — сказал Валлерштейн. — Я старался, как мог. — Он судорожно глотнул. — Когда... когда это кончится?

— Завтра на рассвете, — сказал Рейнгардт. — Около шести часов.

— Убийца Глазенапа не найден?

Рейнгардт улыбнулся. — Как это ни странно, но у нас есть уже несколько кандидатов на такую

роль. К счастью, нам удалось разоблачить этих мистификаторов.

— К счастью?—взгляд Валлерштейна остановился на рейхскомиссаре. Рейнгардт отвёл глаза в сторону. Он побаивался пронизательности этого человека.

— Да, к счастью!—грубо повторил Рейнгардт.—Мы вовсе не хотим зря проливать кровь. Нам нужен настоящий убийца.

— Такие соображения делают вам честь,—сказал Валлерштейн.

Рейнгардт почувствовал иронию в этих словах.—Ещё не поздно,—отпарировал он удар Валлерштейна.—Вы были в кафе „Манес“ в тот вечер, когда произошло убийство. Если у вас есть что сообщить, почему вы молчали всё это время? Почему молчите сейчас? Что вам известно по делу Глазенапа? Ваша жизнь всё ещё в ваших руках.

Валлерштейн чувствовал страшное утомление и слабость. Стоять перед Рейнгардтом было трудно—болели ноги. Ему хотелось только одного: поскорее отделаться от этой нелепой процедуры.

— Что вы от меня хотите?—через силу спросил он.—Чтобы я признался в убийстве Глазенапа? Или донёс на кого-нибудь? Или сказал, что Глазенап не был убит, а покончил с собой?

— Что?—вскрикнул Рейнгардт.

Но Валлерштейн не заметил того впечатления, какое произвели на рейхскомиссара его слова, не понял, насколько они были близки к истине. Он продолжал:—Плести вам всякие небылицы только для того, чтобы вы уличили меня во лжи? Чем это мне поможет?

Рейнгардт быстро овладел собой, но не удержался

жался и спросил:— Почему вы заговорили о самоубийстве? Вы допускаете такую возможность? Что вам об этом известно?

— Кое-что известно,— сказал Валлерштейн.— Самоубийство — есть одна из фаз психического заболевания, точнее, конечная фаза.

— То есть, рассуждая теоретически?

— Разумеется. Как же ещё я могу рассуждать? Что я знаю о Глазенапе? Личная жизнь немецких офицеров никогда меня не интересовала и вряд ли будет интересовать.— Он замолчал. Потом вдруг спросил с удивлением:— Почему мы вдруг заговорили о самоубийстве, в частности о самоубийстве Глазенапа? Вы подозреваете...— Валлерштейн побледнел, и в глазах у него загорелся луч надежды.— Вы не уверены, что...

Рейхскомиссар встал. Теперь ему было ясно, что Валлерштейн ничего не знает.— Мне жаль вас разочаровывать,— сказал он,— но Глазенап был убит, это вне всякого сомнения. Самоубийство, почтеннейший доктор Валлерштейн, типично для вырождающихся рас. Нам — немцам, будущим властителям мира — нет нужды кончать жизнь самоубийством... А теперь разрешите мне взглянуть на ваши записи.

Валлерштейн нерешительно протянул ему свою рукопись.— Пожалуйста, сохраните её,— умоляюще сказал он.— Это единственный экземпляр. Единственное, что после меня останется. Я написал письмо редактору „Ежемесячника по вопросам психологии“, оно тут же, вместе с рукописью.

Он нескоро прекратил бы свои мольбы, но Рейнгарт быстро просмотрел первую страницу, исписанную чётким, ровным почерком, и сказал:— Садитесь. И не мешайте мне читать.

Валлерштейн настороженно следил за глазами рейхскомиссара, бегавшими по строчкам, следил за его рукой, листавшей страницу за страницей.

ЗАМЕТКИ О СМЕРТИ И РАСПАДЕ ПСИХИЧЕСКИХ НОРМ

Вальтер Валлерштейн, доктор медицинских наук

Самым грандиозным и самым решающим событием человеческой жизни является то, что подводит её к концу: смерть.

Со смертью прекращает свою деятельность не только организм человека, но и его психика. Медицинская наука и общественные институты установили для процесса, именного смертью, точный симптом. Мы регистрируем факт смерти с того момента, как сердечная мышца перестаёт действовать. Однако всем нам известно, что процессы жизни и угасания взаимодействуют, что некоторые части нашей живой ткани отмирают непрерывно.

Смерть есть самое грозное табу, установленное человечеством.

Наблюдая за самим собой и за другими, каждый индивидуум приходит к выводу, что он должен умереть. Этот факт неотъемлем как от нашего сознания, так и от сферы подсознательного. Светофоры на перекрёстках обращаются к сознанию человека, предостерегая его от опасности; свист снаряда над головой заставляет солдата припасть к земле, то есть вызывает у него реакцию подсознательную. Таковы наши простейшие и каждодневные способы борьбы со смертью.

В данном случае нас больше всего интересует то действие, которое страх смерти оказывает на человеческую психику и та борьба между сознательным и подсознательным, которая разгорается в ней перед лицом смерти, предreshённой с точностью до часов и минут.

В обычной обстановке врач никогда не бывает настолько жесток, чтобы сказать своему пациенту, что смерть его наступит, предположим, в полночь. Наоборот, мы всячески стараемся до последней минуты поддержать в нём надежду, отчасти и потому, что медицинская наука ещё далека от непогрешимости. Мы хотим уберечь своего пациента от психической пытки, которая неминуема при ожидании конца.

В некоторых случаях, как, например, перед казнью, «пациент» проводит свои последние часы в камере смерт-

ников и знает, когда наступит его конец. Как известно, многие преступники испытывают приступы ярости или же полной депрессии; одни с аппетитом съедают свой последний обед, другие выплёскивают тарелку в лицо надзирателю; иногда смертник ищет утешения у священника, иногда проклинает его. Та или иная реакция обусловлена всей прежней жизнью «пациента», его развитием и многими другими обстоятельствами.

К сожалению, нам неизвестны случаи, когда такой «пациент» провёл бы свои последние дни и часы под наблюдением опытного психоаналитика. Следовательно, мы почти ничего не знаем об изменениях, которые имеют место в психике индивидуума, заранее знающего время своей смерти.

Благодаря благосклонному содействию пражского отделения гестапо, в лице высокочтимого рейхскомиссара Гельмута Рсйнгардта, мне удалось вести наблюдение над группой людей, оказавшихся именно в таком положении. В эту группу входит сам автор, который заранее просит читателей извинить его, если ему не удалось убрать из своей работы всё личное. Автор уверен, что читатели примут во внимание обстоятельства и не откажут ему в загробном прощении.

Факты вкратце таковы: нас арестовали в четверг 9 октября 1941 года. На следующий день мы узнали, что через пять дней нас расстреляют как заложников. В моей камере и под моим наблюдением находятся четверо: молодой журналист Л., актёр П., крупный промышленник Пр. и некто Я-к, не имеющий определенной профессии. Все они узнали о предстоящей нам казни от меня. Я имел полную возможность беседовать с ними, задавать им интересующие меня вопросы и наблюдать за их реакциями.

Выше я указал, что смерть является самым грозным табу, установленным человечеством. Если б это было не так, общество, его законы, его этические нормы подверглись бы коренным изменениям. Человек, ожидающий смерти, не знает никаких запретов, ибо его уже никто не властен покарать — ни общество, ни собственная совесть. Он недостижим для возмездия.

Весь конгломерат внушённых воспитанием запретов и самоограничений, иными словами — совесть, перестаёт функционировать. Перед лицом неминуемой смерти человек абсолютно одинок, и это делает его сверхэгоистом.

Такое превращение с наибольшей ясностью можно было наблюдать у П. и Л. Оба они любили одну женщину. Муж, П. не знал об отношениях, существовавших между его же-

ной и Л., но, возможно, подозревал их. При обычных обстоятельствах Л., несомненно, не выдал бы своей тайны. Зная, однако, что ему грозит смерть, и не стерпев непрестанных разглаговольствований П. о жене, он заявил, что был любовником госпожи П., и назвал себя отцом её ребёнка. Это привело к бурной вспышке со стороны П., прекратить которую было весьма нелегко.

Но почему же П. спровоцировал Л. на такое признание и тем самым способствовал полному раскрепощению последнего от запретов, и без того ослабленных мыслью о неминуемой смерти?

Здесь я имел возможность наблюдать особого рода реакцию, также основанную на грозном табу. Близость смерти ведёт к столкновению с табу, к раскрепощению от законов, выработанных сознанием.

П. старался найти оправдание для своей жизни, важнейшим фактором которой были его отношения с женой, — отношения, не совсем удовлетворительные. Следовательно, он тщился приукрасить их и перед самим собой, и перед нами.

Читатель, не знающий, что такое близость смерти, спросит: почему же пятеро вполне нормальных мужчин так быстро перестали бороться за жизнь? На этот вопрос можно дать два ответа.

Первый будет чрезвычайно лестен для гестапо. Мы знали, что эта организация умеет держать своё слово, во всяком случае тогда, когда речь идёт о смертном приговоре.

Второй ответ несколько сложнее. Борьба за жизнь продолжалась. Ведь, стараясь представить себе неизбежность конца, преступая границы запретного, человек испытывает такой ужас, что не может примириться с мыслью о полном исчезновении из жизни.

Этим объясняется частая смена настроений у всех заложников, за исключением одного. Я займусь этим человеком позднее. Мы метались между полной депрессией и лихорадочной активностью. Читатель может предположить, что у нескольких человек, брошенных в тесную камеру и ожидающих одинакового рокового конца, должно проявиться чувство солидарности и товарищеской близости. Однако в действительности имели место явления обратного порядка. Среди нас царила враждебность, раздражительность и неприязнь друг к другу.

Наиболее чёрствый и самоуверенный из нас, крупный промышленник Пр., оказался в этой обстановке и наиболее неуравновешенным. Положение, которое всегда занимал Пр., выработало в нём уверенность, что труд, страдания и

смерть есть удел всех людей, кроме него, и поэтому он до последней минуты не сможет примириться с мыслью о неизбежности собственных страданий и собственной смерти.

Пр. явил собой наиболее яркий пример полного маразма в отхода от моральных, психических и общечеловеческих норм, вызванного близостью конца. Вывод отсюда напрашивается сам собой: такая реакция характерна не только для Пр., но и для всех тех, кто, пользуясь прерогативами власти, привык отстаивать только свои личные интересы.

Остальные тоже продолжали бороться за жизнь, но в ином плане. Мы знали, что здесь, в этой камере, нет свидетелей, которые сказали бы грядущему поколению: они умерли, как герои. И всё же мы делали слабые попытки утвердить своё бессмертие.

Пр., будучи субъектом крайне элементарным и лишённым всякого воображения, думал только о том, как бы продлить своё физическое существование.

Л., верный инстинктивной тяге каждого человека продлить свою жизнь в потомстве, заявил о своих правах на ребёнка, отцом которого до сих пор считался П.

Актёр П., пользующийся известностью в театральном мире и рассчитывающий, что его смерть вызовет сожаление у публики, всячески преувеличивал перед товарищами по камере свои успехи как в жизни, так и на сцене.

И мне, в свою очередь, не следует таить, что я вёл эти записи, не желая примириться с мыслью о смерти и полном исчезновении. Я хотел оставить после себя нечто, имеющее непреходящую ценность. Разве учёный не такой же человек, как и все? Единственное, что у меня теперь есть — это мои записи, хотя науки в них нет и следа. Это вопль. Я задыхаюсь и пишу только о том, что чувствую. Настанет, может быть, день, когда кто-нибудь захочет уделить время и внимание моей отчаянной попытке отстоять себя.

Я ещё ничего не сказал о Я-ке.

Если предположить, что все наши страхи явление патологическое, то Я-к прошёл сквозь них целым и невредимым. Он отнюдь не кретин, которому недоступны человеческие чувства. Я обнаружил в нём ум, проницательность и доброту. Он способен и ненавидеть и презирать. Доказательством этому служит его отношение к Пр. Но он точно так же отнёсся бы к Пр., если б они встретились не в тюремной камере, а на улице или в деловой обстановке.

На мой взгляд, Я-ку неведом страх смерти. Он не подчинился правилам затейной мною игры.

По временам мне стоило большого труда подавить в себе

чувство ненависти к этому человеку, вызванное лишь тем, что он оказался сильнее болезни, которой поддался я — врач. С другой стороны, работая в области такой молодой науки, как психиатрия, я не могу стать на чисто академическую точку зрения и заявить: того, чего нет в книгах, нет и в жизни.

В жизни это есть!

Чем же объяснить поведение Я-ка? Может быть, ему так часто приходилось сталкиваться со смертью, что он уже не боится её?

Может быть, он проникает взором в будущее, неведомое нам?

Может быть, он принадлежит к той редкой породе людей, которых называют героями, и я должен благодарить судьбу, пославшую мне напоследок встречу с ним?

Или тут действуют все эти три причины разом?

Я стараюсь быть объективным. Может статься, что этот человек передаст мне хоть немного своей силы — той силы, отсутствие которой всегда сказывалось в моей жизни и продолжает сказываться и сейчас. Ибо скромный Я-к смеётся не только над смертью, но и над теми, кто несёт её нам.

Дальше рейхскомиссар читать не стал. Этого не может быть, думал он. Вздор! Ведь Валлерштейн сам признаётся, что его мозг поражён страхом. Эти записки — бред перепуганного интеллигента, и больше ничего!

Но характеристика Прокоша дала рейхскомиссару ключ к загадочному поведению актёра. Теперь ему стало ясно, почему тот признался в убийстве Глазенапа. Прокош захотел овеять славой свою смерть! Но если догадка Валлерштейна правильна, значит, в его наблюдениях над Яношеком тоже есть доля истины. А тогда становится понятным, почему Прейсингер оклеветал Яношека.

Все они видят этого мужлана насквозь, только он, Рейнгардт, ничего в нём не понял и остался в дураках.

Как ему ни хотелось отмахнуться от этих записей, в глубине души он знал им цену. Он знал, что корень всех его неудач Яношек, этот безобидный идиот, который несёт бог весть какую чепуху и смотрит на вас такими невинными, бессмысленными глазами.

Теперь Рейнгардт был уверен, что какие-то силы действуют против него и что в центре этого заговора стоит Яношек. Но кто они, эти силы? Где остальные соучастники? Ответа на такой вопрос не было. Его снова окружило туманом. Перед ним мелькали какие-то смутные очертания, но до чего они зыбки, неуловимы, как схватить их, как задержать?

И он решил сорвать злобу на недочитанной рукописи, которая ясно говорила о постигшей его неудаче.

— Вы, вероятно, гордитесь своей работой?— спросил Рейнгардт.— Так вот, разрешите вам сказать: это чистейший вздор, и мне некогда тратить на него время. Я знал с самого начала, что вся ваша братия себя не помнит от страха. Жалкие трусы!

— Когда человеку вскрывают брюшину, это зрелище тоже не из приятных,— ответил Валлерштейн, становясь на защиту своего труда.

— Яношек — герой! Смехотворно!

Валлерштейн встал.— Мы с вами не понимаем друг друга.

— Нет, я вас прекрасно понимаю!— крикнул Рейнгардт, тоже вставая.— Вы не дурак, доктор Валлерштейн.— Он обогнул стол, подошел к Валлерштейну вплотную и с ненавистью зашипел ему прямо в лицо:— Решили отомстить мне? Хитро придумано! Наплели тут всякого учёного вздора, воображаете, что я в нём не разберусь, не пойму, что вы меня выставили дураком?

— Нет, нет!— в отчаянии запротестовал Валлерштейн, трепеща за свою рукопись.— Вы меня не так поняли...

— Яношек — герой! Хотите полюбоваться на своего героя? Может быть, я доставлю вам это удовольствие сегодня вечером. Из вашего героя получился хороший бифштекс. И мне очень хочется вкатить вам дозу такого же лекарства за всю ту наглую ложь, которой вы меня угостили!

— Подумать только!— продолжал Рейнгардт.— Чтобы я, серьёзный человек, работник гестапо, способствовал опубликованию этой дребедени! Нет, доктор, на сей раз вы просчитались!

Рейнгардт разорвал рукопись на клочки и, швырнув их на пол, стал топтать ногами.— Вот, что я с нею сделаю! Видите? Вот!

Валлерштейн не сразу осознал, что его напоследие погибло навсегда.

— Ваше поведение совершенно понятно,— сказал он, как профессионал заинтересовавшись этим зрелищем,— нацист, уничтожающий мысли и слова!— Вы стараетесь растоптать то, что вас страшит, господин рейхскомиссар. Растоптать истину.

У Рейнгардта потемнело в глазах от бешенства. Валлерштейн рухнул на пол, и рейхскомиссар только тогда понял, насколько силен был его удар.

Он вызвал звонком конвоира.— Отнести его в камеру,— и вышел из кабинета с твёрдым намерением вырвать у Яношека его тайну.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Вечер в гестаповском подземельи наступает скорее, чем за его стенами. Сумерки прежде всего приходят сюда, словно жалея заключённых.

Валлерштейн и Лобковиц сидели в камере одни. Валлерштейн осторожно растирал левую щеку и висок, всё ещё нывшие после удара Рейнгардта. Стараясь не думать о завтрашнем дне, он цеплялся за каждую мимолётную мысль, искал в ней забвения.

Моё тело, говорил он себе, которое продолжает функционировать всё с тем же беззаботным упрямством, выказывает больше разума, чем весь этот сложный механизм сознательного и подсознательного, доставляющий мне столько страданий. Если б я мог увидеть себя в перспективе истории ничтожной пылинкой, лишённой веса и значения. Но сфера подсознательного отказывается выслушать урок, преподносимый ей разумом. В результате компромисс — хитрая вылазка в расчёте на крохи бессмертия. Но эта обезьяна, этот Рейнгардт, помешал и тут.

И теперь мы стоим такие же голые, какими пришли в мир. Нас лишили средств самозащиты. Наша философия, наши знания, — разве они помогут в последний час? Чем я отличаюсь от такого субъекта, как Прейсингер, который не в состоянии понять, что он тоже стоит голый пред лицом судьбы, голый — без богатства, без власти. Смерть, господин Прейсингер, — институт демократический. Это чувствуют даже нацисты, торгующие смертью оптом и в розницу. Вот почему они стараются подкупить её гекатомбами и воздвигнуть себе памятники из костей и пепла. Тщетно, всё тщетно — ничто не поможет!

Вот Лобковиц, думал Валлерштейн. Сидит, бедняга, на койке, не поднимая головы. — Что вы грустите? Ведь когда-никогда всё равно придётся умирать.

— Мне бы хотелось быть таким же циником, как вы, доктор. Но я, вероятно, недостаточно

пожил на свете, чтобы отказаться от последней надежды. Мне бы да ваши годы! Чего бы я только не успел сделать!

— Ошибаетесь, друг мой. Человек всегда ждёт от завтрашнего дня чего-то особенного, нового. Гете лгал. Миг полного удовлетворения жизнью, к которому приходит его Фауст, никогда не наступает. Хотите — верьте, хотите — нет, но я, Вальтер Валлерштейн, тоже не могу примириться со смертью. Поэтому, если вы вдруг услышите ночью, что я плачу, царапаю ногтями стены или рву на себе одежду, знайте: меня сводят с ума те же мысли, что и вас.

— Ну, нет,— сказал Лобковиц.— Я не доставляю нацистам такого удовольствия. Правда, мне повезло, Рейнгардт потратил на меня всего пять минут. Но я не дал бы этому ничтожеству восторжествовать надо мной. Ни за что!

— Вот видите, насколько вы сильнее меня,— сказал Валлерштейн.— Мне, например, совершенно всё равно, перестану я владеть собой в момент расстрела или нет. Превращусь в хаотический комок рефлексов, буду отбиваться, кричать, исходить пеной — пусть! Вы счастливый человек, Лобковиц, у вас есть ребёнок. Может быть, вашему ребёнку когда-нибудь скажут: твой отец не опустил головы перед дулом винтовки. А какой смысл цепляться за установленные нормы поведения мне? Кому это нужно? —

— Я оставляю письмо своему ребёнку! — Лобковиц вдруг оживился и вскочил с нар.— Дайте мне бумагу и ваше вечное перо.

— Можете не утруждать себя! Я хотел написать письмо всему миру, но его разорвали на клочки. Меня только пощекотали соломинкой, за которую хватается утопающий.

— Он уничтожил вашу рукопись?

Валлерштейн кивнул.

— И поделом. Ведь мы были для вас подопытными кроликами, вы подстрекали нас, науськивали друг на друга, и ради чего? Ради вашего драгоценного письма к миру! Вы хотели продать нацистам наши души, наши страдания за чечевичную похлёбку славы. Но вам, очевидно, не пришло в голову, что нацисты интересуются только своей собственной славой. Несчастный Прокош! Несчастливая Мара!

— Стоит ли их жалеть? Завтра все мы будем по ту сторону добра и зла—это единственное благо, которое несёт нам предстоящая казнь.

— Болтовня! Болтовня!

— Совершенно верно. Что ж, презирайте меня!—Валлерштейн потёр болевшую щеку и вдруг замер. Звон ключей за дверью предвещал какие-то события. Они вскочили с мест, подчиняясь нелепой тюремной рутине.

В камеру вошли Прейсингер и Прокош. Прейсингер, чуть не падая от слабости после бесконечного стояния в карцере, еле добрёл до нар и повалился на них ничком.

Не в лучшем состоянии был и Прокош. Он уцепился за металлическую раму верхних нар и невнятно пробормотал:— Где Яношек?

Догадываясь, какие муки пришлось перенести этим людям, Валлерштейн и Лобковиц кинулись к ним, чтобы хоть чем-нибудь облегчить их страдания. Но Прокош продолжал твердить своё:— Где Яношек?

— Мы не знаем...—нерешительно проговорил Валлерштейн.—Когда вас увели вчера вечером, его сейчас же вызвали к Рейнгардту. С тех пор он не возвращался.

— Да, его нет,—подтвердил Лобковиц и потом, словно спохватившись:—А вы знаете, что с ним?

— Я жду самого худшего,— пробормотал Прокош,— самого худшего.— Его руки разжались, он повалился на нижние нары и крикнул, обращаясь к Прейсингеру, который лежал напротив.— Эх!.. Такой скотине и названия не подберёшь! Я стоял в тёмном карцере, обливался потом, задыхался, себя не помнил от боли и усталости, а мозг всё время сверлила одна мысль: как его назвать, какое ему имя придумать!

— Что случилось?— спросил Лобковиц.— Что он сделал?

— Так ничего и не придумал! Нет такого слова в нашем языке!— продолжал актёр, поворачиваясь к Лобковицу.— Вы отняли у меня жену, она родила от вас ребёнка, вы погубили меня— значит, вам известны пути зла. Так вот скажите, как назвать человека, который идёт к нашему мучителю с доносом на такого же несчастного, как все мы?

— Иуда!— сказал Лобковиц.

Валлерштейн, всё ещё не веривший, что Прейсингер действительно оправдал самые худшие его предположения, накинулся на Прокоша с вопросами:— Откуда вы это знаете? На кого он донёс?

Прейсингер простонал, не обращая на них внимания:— Воды... воды!

— Воды!— передразнил его Прокош.— А вы думали о воде, когда торговались с Рейнгардтом? Да, он торговался, он хотел продать Яношека по дешёвке, за свою собственную шкуру. Заявил, что Глазенапа убил Яношек...

— Это явное безумие,— сказал Валлерштейн.— Рейнгардт, конечно, не поверил?

— Конечно, нет!— задыхаясь от кашля, ответил Прокош.— Он устроил нам очную ставку, и мы изобличали друг друга во вранье.

— Ничего не понимаю! Какое враньё?— спросил Лобковиц, волнуясь за Яношека и с трудом сдерживая своё возмущение.

Силы изменяли Прокошу, но он всё же поднялся и стал рассказывать, упиваясь предательством Льва Прейсингера и своим собственным бескорыстием. Прокош рассказал, как он принял на себя вину за убийство Глазенапа, потому что жизнь потеряла для него всякую цену. Как он хотел, чтобы их освободили всех, в том числе Лобковица, отца ребёнка Мары. Как он старался победить сомнения Рейнгардта и твёрдо стоял на своём.— В конце концов Рейнгардт поверил бы мне!— Как Прейсингер подвёл их своей наглой ложью и тем самым дал рейхскомиссару возможность опровергнуть предыдущее показание и обречь на гибель всех заключённых.

Кончив, Прокош бессильно повалился на нары.— Теперь нас ждёт смерть, бессмысленная, глупая смерть,— сказал он и заплакал от жалости к самому себе, от злобы и слабости.

Лобковиц не верил, что драматическая исповедь Прокоша могла хотя бы в какой-то степени поколебать Рейнгардта. Короткая беседа с рейхскомиссаром убедила его в том, что этого нациста не собьёшь с намеченного им пути никакими ухищрениями. Следовательно, донос Прейсингера никак не повлияет на судьбу заключённых, а только озлобит Рейнгардта против Яношека. Чем больше Лобковиц думал об этом, тем сильнее разгоралась в нём ярость.

Лобковиц был человек принципиальный. Он видел акт высокой справедливости в том, что Прейсингер, отдавший их страну в руки врагов, теперь запутался в собственных сетях и уже никакими силами не вырвется на свободу.

Лобковиц понимал, что историческое преступ-

ление Прейсингера неизмеримо страшнее, чем донос на Яношека. Но это последнее его деяние заслоняло собой всё остальное именно своей бессцельностью. Сотрудничество с нацистами принесло Прейсингеру неограниченную власть и огромные доходы. Подставляя же Яношека под удар, он не мог не знать, что таким путём освобождения не добьёшься. А может быть, этот король угля страдал слепотой, неведомой простым смертным,— слепотой, которую рождает сознание власти и уверенность в том, что купить и продать можно всё и всех.

Завтра они умрут. Преступление Прейсингера нельзя окупить никакими адскими муками. Для расчёта с ним осталась одна эта ночь. Мне будет легче, если я хоть как-нибудь накажу его, думал Лобковиц. Пусть поплатится за Яношека, за наше отступление от линии обороны. За всё. Сама судьба посылает мне этого человека, который изуродовал и искалечил мою жизнь.

Грешно не воспользоваться такой возможностью.

Прейсингер даже сквозь полузабытьё чувствовал враждебность своих соседей по камере. Когда Лобковиц подошёл к нему, он огрызнулся, как разъярённый пёс:— Оставьте меня в покое!

— Я даже рук не хочу о вас марать. Бог или кто другой, кому надлежит этим ведать, поручил мне произвести с вами кое-какие расчёты. Вы человек деловой, вам должно быть известно, что старые долги надо платить.

Прейсингер почти ничего не понял из слов Лобковица, приняв его иронию за шутку.

— Какие расчёты?— с трудом пробормотал он.— У меня ничего не осталось. Всё отняли. Я нищий.

Лобковиц был не такой человек, чтобы вспы-

лить и через минуту успокоиться. Его ярость разгоралась медленно, но верно.

— Итак, вы оклеветали несчастного, беззащитного Яношека только потому, что ваша собственная жизнь кажется вам гораздо значительнее и полноценнее.

— Я раскаиваюсь в этом,— промямлил Прейсингер.

— Выгодная сделка — бросить Яношека на съедение волкам и спасти свою шкуру.

— Я хотел подкупить его.

— Кого?

— Рейнгардта.

— Что за слепота! — воскликнул Лобковиц. — Вы потеряли всё, а суетесь с подкупом! — он махнул рукой. — Плохо придумано. Более веских доводов у вас нет?

Прейсингер вдруг понял, что его судят, и возмутился. — Кто дал вам право?..

— Никто — сам взял. Меня тоже завтра расстреляют. Я тоже ничего не боюсь... Ну?

Прейсингер молчал, чувствуя, что в этом мире всё перевернулось вверх дном. Нацисты, которые до сих пор покровительствовали ему, оказались предателями. Люди, которыми он привык повелевать, вдруг стали его судьями. Это хаос, но он, Прейсингер, к нему непричастен. Ему хотелось закрыть глаза, отдохнуть от всех мук, и пусть кто-нибудь скажет ему — пусть это будет его мать: „Не бойся, Лев, никакой тюрьмы нет, расстрела не будет, выпей чайку, тебе приснился страшный сон, забудь его“.

Неумолимый Лобковиц продолжал допрос: — Что вы можете выставить в свою защиту?

— Я не хочу умирать... — простонал Прейсингер.

Этот довод подействовал на Лобковица, как красная тряпка на быка. Он готов был ринуться

на Прейсингера и дать волю своей ярости, но его остановил звон ключей в коридоре. Заложники застыли на месте, словно марионетки, брошенные кукловодом.

Яношека швырнули в камеру, как грудку старого тряпья.

Все забыли о Прейсингере, глядя на эту бесформенную окровавленную массу. Прейсингер в ужасе поднялся с нар. Он понял, что ответственность за состояние Яношека в какой-то степени надо взять на себя ему. Прейсингеру, и взвыл, как старая баба, захлёбываясь истерическими слезами.

— Вот она — нечистая совесть! — сказал Валлерштейн и со всего размаху ударил Прейсингера по физиономии. Вопли так же внезапно прекратились.

Под потолком вспыхнула лампочка, зажжённая из коридора. Её тусклый свет падал на бледные лица, на изуродованное тело Яношека. В камере стояла мёртвая тишина.

Казалось, четверо заложников чего-то ждут.

Сколько изощрённой жестокости в этом Рейнгартде! — думал Проконш. — Он хочет, чтобы мы провели нашу последнюю ночь вот с этим существом, которое когда-то было человеком, а теперь потеряло человеческий облик.

Доктор Валлерштейн первый услышал слабое бормотанье. Он опустился на колени и приложил ухо к тому, что было когда-то ртом Яношека. Потом с лихорадочной быстротой сорвал с себя рубашку и стал вытирать кровь, запёкшуюся у Яношека на лице. — Воды! — крикнул он. — До-станьте воды!

Лобковиц с отчаянием застучал кулаками в дверь. Через несколько минут в камеру вошёл чех с ведром воды. — Перестаньте кричать! Я при-

нёс воду, хоть это и не полагается,—сказал он и вышел, так и не взглянув на Яношека.

— Дайте кто-нибудь рубашку! — скомандовал Валлерштейн, швырнув свою в угол.

Прокош опередил остальных.— Только очень грязная,— извиняющимся тоном пробормотал он.

Ловкие руки Валлерштейна быстро делали своё дело.

— Теперь давайте положим его,—сказал он.— Втроем они осторожно подняли Яношека с пола и опустили его на нары. Вместо подушки под голову ему подсунали два свёрнутых пиджака.

— Осторожнее! Осторожнее!—говорил Валлерштейн.— Спина—сплошная рана. Нужно бы резиновый матрац с водой...

— Резиновый матрац!—иронически скривив губы, сказал Лобковиц.— Вы так говорите, точно у нас есть время лечить его.

Валлерштейн вытер ладони о брюки.— Он ещё протянет немного. Организм здоровый, сильный... сильнее наших. Жизненные центры вряд ли затронуты. Нацисты сохранили ему жизнь для предстоящей пытки. Яношек будет жить... и умрёт вместе с нами.

— А он очнётся?—спросил Прокош.

Валлерштейн пожал плечами.— Хорошо, если бы не очнулся. Будь у меня морфий, я бы продержал его в забытии до самого конца.

Он сел рядом с Яношеком, пощупал его пульс.— Температура высокая. Организм продолжает бороться...— И вдруг испуганно вскрикнул:— Посмотрите, что у него с рукой! Все пальцы сломаны!

Лицо Яношека передёрнулось. Он с видимым усилием приоткрыл один, оставшийся целым, глаз и снова зажмурился.

— Очнулся,—сказал Лобковиц.

Валлерштейн кивнул.— Ничего, Яношек,— сказал он.— Скоро вам будет лучше.

Подняв здоровую руку, Яношек поманил Валлерштейна к себе. Тот нагнулся над ним. Яношек силился сказать что-то.

— Что?— спросил врач. Он не верил собственным ушам. Яношек повторил, с трудом выговаривая каждое слово:— В жизни... лучше... себя не чувствовал...

Лобковиц захохотал, трясась всем телом; на глазах у него выступили слёзы.— Мерзавцы! Сукины дети!— проговорил он сквозь взрывы истерического смеха и, повернувшись к Прейсингеру, схватил его за шиворот и с яростью оттолкнул от себя. Прейсингер даже не пикнул. Он встал с пола и, дрожа от страха, забился в угол.

— Лобковиц!— шепнул Яношек.

Тот в два шага очутился рядом с ним.

— Я молчал,— прохрипел Яношек.— Ни слова... от меня... не добились...— Он перезёл дух.— Стены... падут... Вот увидите!..

Что это было— бред? Может быть, он начал заговариваться?— Да,— сказал Лобковиц.— Конечно. Так оно и будет.

На самом же деле мозг Яношека работал с обострённой точностью. В часы пыток в нём жили две мысли:— „Молчи!“ и „Баржи с вооружением должны взлететь на воздух!“ Он цеплялся за них, как цепляются за единственную точку опоры, и ему казалось, что успех дела зависит только от него, от его мужества и стойкости.

Для Лобковица и остальных слова Яношека прозвучали пророчески. Боль и страдание вызывают к себе благоговейное чувство. Ты пострадал за своё дело, значит, оно стоит того. В противном случае разве ты поднял бы такую тяжкую ношу?

И вот на ослабевшие от пыток плечи Яношека легла мантия предводителя. Боль, обжигающая всё его тело, и мысль о взрыве барж не позволили ему заметить это сразу. Но вскоре он почувствовал в их взглядах не только сострадание и понял, как нужно сказать этим людям что-то важное, значительное.

Медленно собравшись с мыслями, Яношек пожалел, что ему нельзя открыть своей тайны. Какой жестокой должна казаться смерть Лобковицу, Прокошу и Валлерштейну — людям, которые, несмотря на своё внешнее презосходство, не могут увидеть будущее таким, каким видит его он, Яношек, — светлым, стоящим того, чтобы за него умереть, которые не могут даже расквитаться с нацистами.

Надо передать им свои силы, приобщить их к своей надежде. Разве он не обязан приподнять уголок завесы, скрывающей от этих людей тысячи и тысячи их ближних, которые, несмотря ни на что, всё же одолеют мрак и смерть?

Бунтарь Лобковиц, честолюбивый Прокош, не видящий ничего, кроме своей науки, Валлерштейн тоже за что-то борются. Почему же они должны умереть одинокими?

Беда моя в том, думал Яношек, что мысли у меня неплохие, а выразить их словами я не могу.

— Слыхали когда-нибудь про Владислава Ванчуру? — спросил он, с трудом шевеля распухшими губами.

— Нет, — ответил Лобковиц.

— Вам нельзя говорить, — Валлерштейн положил ему на лоб компресс, сделанный из рукава рубашки Прокоша. — Нельзя напрягаться.

— Ванчуру с Вышеградской улицы, — настойчиво продолжал Яношек, — сапожника?

— Пусть говорит,— сказал Прокош,— он любит рассказывать.

— Этот Ванчура возглавлял общество хорошего пения, был знаменосцем местной сокольской организации, барабанщиком добровольческой пожарной дружины,— словом, без него нигде не обходилось. А жене это было не понутру...

Яношек передохнул. Лобковиц, Прокош и Валерштейн с болью смотрели на него, зная, что недолго ему осталось рассказывать свои басни.

— Дома он почти никогда не бывал...

— Да,— сказал Лобковиц,— женщины этого не любят.

— Где форма и оркестр, там и Ванчура...— Яношека одолевала сонливость. Но он заставил себя продолжать. Владислав Ванчура, о котором Яношек ни разу не вспомнил за эти годы, Ванчура, который, вероятно, давно умер, снова должен был выполнить свой долг.

— В тысяча девятьсот восемнадцатом году отправился он как-то к заказчику. Идёт по улице медленно, поглядывает по сторонам, раскланивается со знакомыми: здравствуйте, да как поживаете, да какая сегодня хорошая погода...

— Замечательный был человек этот ваш Ванчура,— сказал Прокош.

Яношек замолчал. Он заметно слабел и с трудом боролся с болью.— Замечательный? И да и нет. Самый обыкновенный, вроде меня. Простой сапожник.

Снова наступило молчание. Прейсингер вылез из своего угла и подошёл к ним.— Убирайтесь отсюда!— сказал Лобковиц. Тот съёжился и покорно отступил.

Яношек заговорил снова:— И вдруг видит — идёт группа людей. Несут впереди знамя и стараются шагать в ногу. И ничего у них не выходит.

Он перешёл на шопот.— Ванчура увидел это и закричал:— „Эй вы, увальни! Разве так маршируют?“

— А из рядов ему отвечают — кто-то из знакомых попался: „Ванчура, пойдём с нами! Почишь нас маршировать и флаг понесёшь“.

Яношек перебил свой рассказ коротким смешком, но смеяться ему было больно. Он видел, как старик Ванчура, высокий, поджарый, примыкает к рядам, берёт в руки древко флага, выпячивает грудь...

— Отправился, конечно, с ними. Пожалел только, что сокольской формы не надел или хотя бы пожарной каски...

Валлерштейн смочил ему губы водой.— И затянул песню. Сначала „Родину“, потом „Рождество бывает раз в году“, „Блондинки и брюнетки“ — одну за другой, все, какие знал. И скоро наладил дело. Демонстрация растёт с минуты на минуту. Он оглянулся назад, видит — ей конца-краю нет.

Яношек открыл один глаз и посмотрел на Лобковица.— Шагает гордый, а куда столько народу идёт, это ему невдомек, и спрашивать уже поздно. Ведь он вёл их за собой.

Лобковиц кивнул.— И флаг нёс.

— Пришли в центр Праги, а там полно жандармов и солдат с пулемётами. Ванчура удивился: что им тут надо? Только мешают маршировать его колонне. Жандармы и солдаты думали, что он увидит пулемёты и остановится. Да не тут-то было!

Яношек замолчал, пытаясь одолеть барьер боли. И ему удалось это не хуже, чем Ванчуре.

— Он знал только одно: за ним идут люди и, если сейчас остановиться, все ряды смешаются и получится затор — ни взад, ни вперед не дви-

нешься... Тогда он взял да и крикнул: „Прочь с дороги! Вы разве не видите, что это парад? Я — сапожник Ванчура“. И запел „Татры“ — под неё ноги сами идут.

Валлерштейн дотронулся до кисти Яношека. Пульс был учащенный.

— Потом доскажете,— попробовал он остановить его.

— Офицеры начали стрелять, а солдаты поняли, что раз Ванчура несёт флаг и ведёт за собой столько народу, значит, останавливаться ему нельзя. Поэтому стрелять они не стали, и кое-кто из них даже примкнул к демонстрации... В тот день правительство пало.

— А что случилось с Ванчурой?— спросил Валлерштейн.

Яношек ответил не сразу.— Ох уж этот доктор Валлерштейн! Ему всё выложи!

— Что случилось с Ванчурой? Он увидел, что люди маршировать научились, и передал флаг другому. Встретил своего приятеля, у которого сапожные гвозди покупал, и пошёл с ним в кабачок выпить пива, съесть пяток сосисок... Ведь от маршировки аппетит здорово разыгрывается.

Лампочка под потолком потухла.

Лобковиц спросил в темноте:— А какой смысл этой истории?

Яношек не ответил.

Лобковиц продолжал:— Вы хотите сказать, что кто бы мы ни были — сапожники, врачи, актёры, уборщики — и что бы мы ни делали, никто из нас не может предвидеть, какие огромные последствия будут иметь наши поступки. Значит, важно только одно: идти вперёд, не останавливаясь? Правильно я вас понял?

Прокош ворчливо сказал:— Каждый волен толковать по-своему.

Но через минуту Яношек снова зашептал:— Завтра, когда нас расстреляют, может быть, какой-нибудь Ванчура услышит звуки выстрелов. Такие выстрелы рождают громкое эхо.

Нервное напряжение рейхскомиссара Рейнгардта достигло такой силы, что опасность и трудности чудились ему даже там, где их не было. Он не мог дождаться той минуты, когда взводный крикнет: „Огонь!“ и пули прекратят дело Глазенапа. Его мучили дурные предчувствия.

Подводя итоги следствию, Рейнгардт должен был признать, что и сейчас, накануне казни, он знает столько же, сколько в самом начале, когда было решено выдать Глазенапа не за самоубийцу, а за жертву гнусного преступления. Из Милады и Яношека ничего не удалось выжать. Куда ни повернёшься, всюду глухая стена, на которой, словно на валтасаровом пиру, горят слова „Mene tekel“.

Теперь он начинал понимать жалобы своих коллег на тупое отчаяние, ярость, которые нападали на них в этой борьбе с тенями. Да, раньше он смеялся над ними, уверял, что всё это вздор, что ему, Рейнгардту, ничего не стоило бы разобратся в любом таком деле и разнести врагов в пух и прах.

А что получилось теперь?

Он вызвал Миладу не потому, что собирался снова допрашивать её. Материала для дальнейшего допроса у него не было — ни рукопись Валлерштейна, ни разговор с Лобковицем и с другими пятнадцатью заложниками, ни истязания, которым подвергли Яношека, не дали ничего но-

вого. Но Рейнгардт чувствовал потребность испробовать на ком-нибудь свою силу и власть. Поэтому, когда Милада вошла к нему в кабинет, он встретил её надменно, почти грубо. Он уставился на девушку, словно желая уничтожить её холодным, безжалостным взглядом.

— Вот, посмотрите!— начал Рейнгардт, бросая на стол какую-то фотографию. Милада с недоумением взяла её в руки.— Это всё, что осталось от Кратохвила!— прочувствованным голосом сказал рейхскомиссар.

Теперь Милада разглядела фотографию. Какая мерзость! Она положила её обратно на стол, как можно дальше от себя.

— Вы вздрогнули!— сказал Рейнгардт.— Его расплющило грудой металла. И вы ответите за это. Вы и те, остальные, которых я ещё извлеку на свет божий.

— Вы считаете нас жестокими. Это неверно. Жестока и бессмысленна война. Но почему она ведётся?

— Эта война началась только потому, что вы и вам подобные отказались признать разумные основы нового порядка, который мы хотим установить.

— Ваше дело проиграно, поэтому вы с таким отчаянием сопротивляетесь нам. Ваше оружие отравлено, методы, которыми вы пользуетесь, совершенно недопустимы. Мы принимаем брошенный нам вызов. Берегитесь!

Рейнгардт замолчал, упоённый собственным красноречием. Но Милада выслушала его с совершенно безучастным видом. Подыскивая, чем бы подкрепить свои доводы, он начал:— Превосходство нордической расы...

Милада перебила его:— Вы ошибаетесь. Я вовсе не вздрогнула. Меня уже ничем не удивишь. С той

самой минуты, как вы вошли в мой дом, я поняла, что это конец. Вам ничего не стоит заставить меня замолчать, ведь револьвер при вас.

— Продолжайте, продолжайте,— сказал он, криво усмехнувшись.— Поскольку вы отдаёте себе отчёт в вашем положении, я с удовольствием послушаю этот мышинный писк.

— На вашей стороне оружие и такие сторожа, как Кратохвил. Да вы сами такой же Кратохвил, только большего масштаба.

— Но вам не следует забывать, кому вы навязываете свой новый порядок. Мы люди! Правда, сил у нас мало, и вам не трудно было справиться с нами, ведь мы предпочитали жить мирно, любить, петь, работать и не замышляли войны. Но вот эту мирную жизнь наш народ и будет защищать.

— Чем?— спросил он.

— Ваши замыслы настолько фантастичны, что они не сразу входят в сознание людей. Но теперь мы раскусили их, теперь борьба против вас разгорается во всём мире. Скоро вы сами в этом убедитесь. Вы говорите, что войну начали мы. Отчасти это верно. Когда крестьянин, проснувшись среди ночи, видит, что воры уводят его скот и поджигают амбар, он стреляет в них.

— Вы сулите нам мир, такой мир, при котором этого крестьянина на следующее же утро заставят отдать вора́м землю, да и самому пойти к ним в кабалу ради голодных ребят. Такой мир для нас неприемлем.

Милада смутилась и замолчала. Откуда такая смелость? Почему она вдруг разговори́лась с этим солдафо́ном? Что увлекло её? Откуда взялись все эти слова?

Такие мысли рождались у неё в голове и раньше. Но она никогда не приводила их в

систему, никогда не пыталась придать им форму, чтобы противопоставить силе и лозунгам захватчика.

Теперь слова нашлись сами собой, потому что она была обречена на гибель, потому что каждая её фраза могла быть последней. И в то же время Милада чувствовала, как нелепо изливать свою душу перед этим человеком, не способным понять её. Рейнгардт вынесет из всего этого только одно — она признала себя его врагом — и поступит с ней соответственно.

Изложив Миладе план будущего мира, управляемого из имперской канцелярии на Вильгельмштрассе, рейхскомиссар несколько увял.

Ему не удалось поразить эту девушку, зато она произвела на него сильное впечатление. Ему наскучило иметь дело с бессловесными жертвами и применять к ним обычные меры воздействия.

Рейнгардт встал и направился к Миладе. Она невольно подалась назад, испугавшись одного его взгляда.

— Хорошо, что мы понимаем друг друга, — сказал Рейнгардт. — Я, конечно, обязан по долгу службы расправиться с вами, потому что вы принадлежите к самому опасному сорту людей — к идеалистам. Но как и когда я это сделаю, зависит исключительно от меня. И здесь слово за вами, Милада.

— Мы могли бы выработать нечто вроде преёскуранта, причём я готов начать с малого: скажем, ценой приветливой улыбки вы можете купить себе час жизни. Всякая искренняя попытка одарить меня благосклонностью зачтётся вам за день, а полное удовлетворение моих желаний — за три дня.

Он достал из кармана блокнот и карандаш и протянул ей.— Вы сами будете вести расчёты. Я доверяю вам.

Она мотнула головой.

— Не хотите? А, понимаю, такие мелочи не достойны вашего внимания?

Милада отступала всё дальше и дальше, но это не смущало его. Он старался сохранить прежнее расстояние между нею и собой.

— Я распоряжусь, чтобы вас хорошо кормили. Велю поставить вам удобную кровать — мне не хочется, чтобы ваше прекрасное тело покрылось синяками, ведь тюремные койки жёсткие. Надеюсь, вы оцените мою заботливость.

Глаза Милады расширились от ужаса.

— Стойте на месте!— вдруг крикнул Рейнгардт.

Этот окрик помог Миладе освободиться от гипнотического оцепенения.

Она видела его со страшной ясностью, как видит паука муха, запутавшаяся в паутине.

Дальше была стена—отступить некуда. Милада толкнула его, но он не сдвинулся с места. А потом длинные руки Рейнгардта протянулись к ней и стиснули её, словно железным кольцом. Она пыталась вырваться из этих объятий и ничего не могла сделать.

У неё закружилась голова, колени подогнулись. Если б Рейнгардт не подхватил её, она рухнула бы на пол.

Она потеряла сознание.

Рейхскомиссар поднялся с дивана, взял папиросу и, закурив, сделал глубокую затяжку.

Милада медленно приходила в себя. Рейнгардт пошёл в кабинет за бутылкой и стаканами, стоявшими на письменном столе. Когда он

вернулся, Милада лежала, открыв глаза, её обнажённое тело было прикрыто рубашкой.

Он наполнил оба стакана и протянул один ей.

Она покачала головой.

— Пейте.

Тогда Милада взяла стакан и с жадностью осушила его. Вино согрело её, придало ей сил.— Я хочу одеться,—сказала она.—Пожалуйста, уйдите отсюда.

Рейнгардт засмеялся, пожал плечами и, ответив ей поклон, ушёл в кабинет. Милада слышала, как он включил радио. Через несколько минут раздались звуки томного венского вальса. Рейнгардт негромко подпевал мелодию.

Милада ни о чём не думала и не хотела думать. Что ей осталось в жизни, кроме чувства гадливости и унижения? Павел, Бреда, свет прежних дней, прежние надежды,— всё это ушло куда-то далеко, далеко..

Она осталась одна—одна, как перст. Покончить с собой... пронеслось у неё в мозгу.

— Скоро?—спросил Рейнгардт из кабинета. Она молчала.

— Хотите папиросу?—он остановился в дверях и смерил её взглядом с головы до ног.—Надо достать вам новое платье. Какой цвет вы предпочитаете?

Венский вальс кончился. Заговорил диктор. Потом слышались звуки Гогенфридбергского марша. За ним должна была последовать передача известий.

— Хотите послушать?—галантно осведомился Рейнгардт.

— Зачем спрашивать?—с горечью сказала Милада.—Ведь всё равно вы делаете так, как вам хочется.

— Правильно! — захохотал Рейнгардт. — Но почему не быть любезным? Мне не трудно...

И тут произошло чудо. Всю комнату заполнил голос Бреды — он словно сам был здесь. Сильный, тёплый, полный страсти голос. Он говорил чётко, ясно:

„Граждане Праги! Завтра будут расстреляны двадцать заложников за убийство одного нациста, некоего Глазенапа. Этого человека никто не убивал. Он покончил с собой“.

Рейнгардт побелел, сразу потеряв самообладание. Он кинулся к столу, схватил телефонную трубку, назвал не тот номер, закричал, выругался.

„У гестапо нет даже мотива мести за убитого. Ваши сограждане — жертвы подлого обмана и чудовищного произвола завоевателей“.

Милада пошла за ним. Она остановилась в дверях кабинета и торжествующе засмеялась. Рейхс-комиссар продолжал яростно кричать в трубку.

„Нет больше иллюзии закона, хотя бы даже нацистского закона. Нет больше безопасности, как бы вы ни гнули головы. Ваша жизнь и жизнь ваших близких находится во власти беспринципных, озверевших убийц“.

Милада ликовала. Пусть её тело поругано, сердце её поёт, смеясь над растерянностью Рейнгардта, который волей-неволей слушал весь список своих преступлений и выходил из себя, не зная, как заглушить этот голос.

„Они убивают ради того, чтобы убивать, мучают, чтобы мучить, их злоба топчет вас без разбора, как град колосья“.

Эти слова были обращены ко всем, но голос Бреды звучал только для неё. В час горчайшего унижения она была отомщена. Любимый, пело её сердце, я здесь. Я с тобой.

„Мы должны восстать против них. Мы должны портить работу, которую от нас требуют, пускать под откос поезда, поджигать и взрывать их склады, их транспортные средства, их жилища“.

— Прекратить это!— рычал Рейнгардт в телефон.— Немедленно прекратить!

— Не удастся!— крикнула Милада.— Нас много. Мы здесь, там—мы повсюду!

„Давите их, как они давят нас! Уничтожайте их, как они уничтожают нас! Душите их, как они душат нас! Убивайте их, как они убивают нас!“

Рейнгардт стучал кулаком по столу. Глаза лезли у него на лоб, он заикался, путался в словах.

Потом в репродукторе что-то щёлкнуло. Чей-то прерывистый, дрожащий голос приносил извинения.— Досадный случай. Русские... Не та волна...

Рейнгардт с яростью выключил радио.

Он отдавал себе отчёт в том, что произошло. Противник нанёс удар. Его тайна, так тщательно охраняемая, обнародована. Теперь её знают миллионы. Знают все.

Его хитрые планы, его работа — всё пошло прахом! Он станет посмешищем всей Праги, всей Европы.

Рейхскомиссар положил руки на стол и уткнулся в них лицом. Гейдрих! пронеслось у него в голове, и он похолодел от страха. Муртенбахер много рассказывал ему о протекторе. Этот человек не знает жалости.

Он услышал чей-то смех.

Он поднял голову и увидел Миладу.

— Это вы? — Рейнгардт забыл, что, кроме него, в кабинете кто-то есть.

Он сразу выпрямился и, растянув губы в привычной улыбке, сказал:

— Да, досадный случай. Не хотел бы я сейчас быть на месте этих ослов на радио.

— Теперь, если вы ещё не забыли о своём любезном предложении, — сказала Милада, — угостите меня папиросой.

Он открыл портсигар и подошёл к ней. — Спичку?

— Благодарю вас.

Она закурила. Рейнгардт следил за колечками папиросного дыма. Ему хотелось сейчас одного: добить эту женщину, доказать ей, что он всё ещё прежний всесильный Гельмут Рейнгардт.

— Мне кажется, вы обольщаете себя какими-то ложными надеждами, — начал он. — Этот радиофортель ничего не меняет. Заложники будут расстреляны. Важны не слова, а действия. Если я приглашу вас полюбоваться казнью, надеюсь, это не испортит вам настроения.

Папироса выпала у неё из рук.

Рейнгардт нагнулся и поднял ее. — Жалко портить такие прекрасные ковры. Их прежние хо-

зьева были, повидимому, люди со вкусом...
Итак, я настаиваю на своём приглашении.

Она опустила голову. Он снова взял над ней верх.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Капитан Патцер всегда был строгим блюстителем духа корпоративности и чести мундира.

Глазенап не входил в число его ближайших друзей, и всё же капитан видел в нём товарища, павшего почти рядом с ним от руки гнусных убийц. Считая для себя делом чести принять участие в расправе над преступниками, он подал начальству рапорт с просьбой возложить на него командование взводом в утро казни.

Погода стояла прекрасная. Солнце ещё не поднялось над крышами Праги, но звёзды на востоке уже меркли, уступая предрассветным сумеркам. Капитан поёжился и плотнее запахнул шинель. Звяканье его шпор резко врывается в тишину безлюдных улиц.

Капитан Патцер не замечал красоты уходящей ночи, всецело поглощённый своими нозыми обязанностями. Ему впервые предстояло отдать ту роковую команду, которой отправляют на тот свет измученных, безгласных людей. Сообщив Патцеру, что его просьба уважена, майор Граутгоф тщательно прорепетировал с ним всю предстоящую процедуру.

Патцер откашлялся, прочистил горло и сплюнул. Надо, чтобы голос звучал ясно, как трубный клич, возвещающий о мести за убитого Глазенапа,— трубный клич, подхваченный ружейным залпом.

— Огонь!— крикнул он. И ещё раз:— Огонь!— Команда отдалась эхом от тёмных стен. В одном

из окон загорелся свет. Чья-то голова выглянула на улицу и сейчас же спряталась. Единственный слушатель короткого монолога Патцера признал его мундир и счёл за лучшее ничего не видеть и ничего не слышать.

Улицы светлели; сияние вокруг фонарей меркло; несколько старух молча вошли в церковь.

Взвод ждал капитана у казармы. Унтер сделал шаг вперёд.

— Взвод на месте, капитан. Унтер-офицер Голлеран и двенадцать солдат!

— Вольно! — Патцер отдал честь. — Вперёд, марш! — Эта команда оказалась излишней. Унтер махнул рукой в сторону подъезжающего грузовика. Грузовик остановился, солдаты забрались в него, Патцер и унтер-офицер сели рядом с шофёром. Подскакивая на сиденьи, Патцер шевелил губами, на все лады примеряясь к команде „Огонь!“ Произнести её вслух он не решался, боясь, что унтер сочтёт его новичком.

Приблизительно в это же время надзирательчех вошёл в камеру к пяти заложникам с ведром, кофе и хлебом. Кроме того, по собственному почину он принёс из дому миску бульона для Яношека. Это были остатки его вчерашнего ужина.

Лобковиц, не сомкнувший глаз всю ночь, принял миску из рук надзирателя.

Тот мотнул головой в сторону Яношека. — Это ему.

— Я покормлю его, — сказал Лобковиц, беря горячую миску другой рукой. — Мы с ним друзья.

— Смотрите, чтобы не обжёгся, — надзиратель протянул Лобковицу ложку. — Бульон горячий, я его под курткой нёс.

Он взглянул на Яношека ещё раз, покачал головой и вышел, тихо прикрыв за собой дверь.

Прейсингер хлебнул кофе из кружки, потом откусил хлеба, но кусок застрял у него в горле. Он выплюнул непрожёванный мякиш.

Прокош держал кружку в руке, не сводя глаз со стены. Его длинные ноги свисали с верхних нар, как у мёртвого. Он поднял брови и сказал, обращаясь к Валлерштейну.— Вы уверены, что смерть наступает мгновенно?

Лицо у Валлерштейна было серое.— Да, если попадут сразу. Обычно так и бывает. Ведь они привычные — каждый день этим занимаются.

— А что, если рука дрогнет?

— Офицер потом проверяет. Если вы всё ещё будете показывать признаки жизни, вас пристрелят из револьвера.

— Я не боюсь, — извиняющимся тоном сказал Прокош.— Но страх перед выходом испытывают даже старые актёры. Правда, после первых же слов это проходит... Сегодня последний акт. Я хочу доиграть свою роль с блеском, а для этого нужно знать, что предшествует твоему уходу со сцены.

Лобковиц кормил Яношека бульоном и поддерживал ему левой рукой голову. Он отдавался заботам о товарище, чтобы не думать о себе, о своём отчаянии, черпая силы в беспомощности того, другого.

Ночью Яношек спал. Муки и напряжение предыдущего дня погрузили его в забытие, и, проснувшись, он ещё сильнее почувствовал боль, горевшую во всём теле. Заботливость Лобковица тронула его.

— Значит, сегодня? — не то шутливо, не то задумчиво спросил он, с наслаждением глотая горячий бульон.— Сколько всяких событий прои-

войдёт за один день! Родятся дети. Молодые парочки будут целоваться. Кое-кто напьётся пьяным, несмотря на то, что пиво у нас стало совсем жидкое. Расстреляют заложников. Глядишь, и какой-нибудь сюрприз будет...— Он проглотил ещё одну ложку бульона.— Заранее не угадаешь. Неожиданности случаются каждый день.

Кончив свой скудный завтрак, Валлерштейн и Прокош тоже подсели к Яношеку. Спокойная сила, исходившая от этого измученного человека, влекла к нему всех.

Валлерштейн сказал:— С добрым утром!— и, взяв его здоровую руку, пощупал пульс.— Дело идёт на поправку. Какой у вас сильный организм!

— Да что вы!— рассеянно сказал Яношек. Он прислушивался к чему-то. Ему хотелось сейчас только одного: убедиться напоследок, что его вылазка в кафе „Манес“ увенчалась успехом. Он боялся, как бы толстые стены тюрьмы не заглушили звука взрыва.

— Таким пациентом можно гордиться,— продолжал Валлерштейн.

— Я не хочу, чтобы меня вывезли на расстрел в кресле.— Яношек приподнялся на локтях, сел и закрыл свой единственный глаз, борясь с болью.— Хочу вместе с вами выйти и вместе с вами стать к стене.— Он снова прислушался. В подземельи стояла глухая тишина. Как в молитле, подумалось ему.

Прейсингер сидел на нарах всеми забытый. С ним никто не разговаривал; он был парней здесь. Надежда всё ещё не оставляла Прейсингера: приедет специальный посланный из Берлина или от протектора, и его спасут, его вознаградят за все перекошённые униженья. Но эта

слабая искорка надежды не могла противостоять тяжелой поступи минут и секунд.

Прейсингер встал и сделал несколько шагов, пытаясь одолеть ту пропасть, которая отделяла его от остальных. Он подошёл к Валлерштейну и сказал:— Может быть, я могу что-нибудь сделать? Разрешите мне помочь ему.

Приниженный, слезливо-ханжеский тон Прейсингера взбудоражил их всех. Лобковиц, кончив кормить Яношека, поставил миску на пол и бросил в неё ложку. Прейсингер съёжился, услышав этот резкий металлический звук.

— К несчастью, нас расстреляют вместе с вами,— сказал Прокош.— Создастся впечатление, что вы были с нами заодно. А это не так. Ваша кровь осквернит чистоту нашей смерти. Мне противно думать, что ваше грязное имя будет стоять в одном ряду с нашими.

— Доктор Валлерштейн!— взмолился Прейсингер.

Тот повернулся к нему.— Не советую вам ввязываться в наше прощанье друг с другом. Люди не любят, когда им мешают в такие минуты. Уж в такой-то степени надо считаться с человеческой психикой.

Прейсингер опустил свою бычью голову, оттолкнул Валлерштейна и вплотную подошёл к койке Яношека.— Одно слово! Скажите хоть что-нибудь! Не оставляйте меня одного!

Яношек ждал той громовой вести, которую ему так хотелось услышать. Он увидел Прейсингера, словно сквозь туман.

— Когда я работал на ваших шахтах в Кладно,— начал Яношек,— был там у нас некий Петка. Совсем ещё мальчик. Водил слепых лошадей, которые возят вагонетки с углем.

— Этот Петка умер. Придавило породой, на-
смерть.

— Мы просили у вас тёса на крепление. Но
вы считали, что тёс стоит денег, а человеческая
жизнь товар дешёвый.

Он закашлялся. Фигура, видневшаяся ему
сквозь туман, словно съёжилась.

— Я был около Петки, когда он умирал,
Держал его за руку... Совсем ещё мальчик.

Прейсингер никогда не слышал про этого
Петку. Он не понимал, какое отношение имеет
Петка к его одиночеству.

— Таких, как Петка, много,— сказал Лобко-
виц.— Теперь они поднимаются на вас... будьте
вы прокляты!

— Вы все против меня,— крикнул Прейсингер.

— Да,— подтвердил Валлерштейн,— все!

Личное послание Гейдриха было получено
рейхскомиссаром в два часа ночи—и без того
беспокойной.

Вернувшись в Градчаны после очередного лю-
бовного похождения—вторая фигурантка справа
в кордебалете—протектор нашёл у себя на столе
рапорт о радиовылазке противника и тут же
продиктовал письмо рейхскомиссару. Каждая
строчка этого письма была пропитана яростью.
В язвительных, саркастических словах Рейнгард-
ту предлагалось явиться к протектору ровно в
девять часов утра.

Рейхскомиссар смял бумагу и со злобой швыр-
нул комок в корзину. Потом вынул его оттуда,
разгладил и снова перечел грозное послание
Гейдриха:

*„Я поручил вам серьёзную задачу, выполнение
которой требовало величайшего такта. Вы не*

только не сумели сохранить в тайне истинную подоплёку дела Глазенапа, но и допустили, чтобы эта тайна была разглашена по радио на весь протекторат. Поздравляю..."

И так далее и тому подобное.

Рейнгардт размышлял. Если сказать разгневанному Гейдриху, что охрана радиостанции не входит в обязанности рейхскомиссара, это мало чему поможет. Связь между ловким ударом, нанесённым противником, и делом Глазенапа была слишком очевидна.

Хуже всего то, что приходится признать за собой грубейшую ошибку, которую только может совершить полицейский,—недооценку противника. Он не смог обнаружить звенья цепи, связывающей заложников с внешним миром. Правда, во всём этом были некоторые смягчающие вину обстоятельства. Ни Муртенбахер, ни даже сам Гейдрих не могли бы сломить железное упорство Яношека. Ему, Рейнгардту, просто не повезло, что он натолкнулся на такого субъекта. Но разве можно защищать себя от сокрушительного презрения Гейдриха школьнической ссылкой на невезенье.

Какое счастье, что протектор не знает о самом непростительном его промахе — поездке Яношека в кафе „Манес“ на поиски письма Глазенапа. Теперь рейхскомиссару было совершенно ясно, чего добивался Яношек: установить с кем-то связь, подготовить смелый удар, нанесённый на радиостанции. Но каким образом ему стало известно о самоубийстве Глазенапа? Неужели это произошло при нём? Или же его осенила догадка на основании каких-нибудь слов, обронённых им, Рейнгардтом, во время допроса? А может быть,—после случая на радио рейхскомиссар готов

был поверить всему,—Глазенапа убил Яношек, и версия о самоубийстве всего лишь скороспелый, ни на чём не основанный домысел.

Эти вопросы один за другим проносились у него в мозгу. Ответа на них он не находил. Дело Глазенапа попрежнему оставалось загадкой, и тот единственный человек, который мог разрешить её, молчал и скоро замолчит навеки.

У Рейнгардта мелькнула мысль: не отложить ли казнь, не приняться ли снова за Яношека. Непокойная совесть полицейской ищейки твердила, что ведь по существу дело Глазенапа не было разрешено. Но длить это чувство неопределённости и напряжения, которые владели им с того самого дня, когда он прочёл письмо Глазенапа к Миладе, было невыносимо. Нет! заложников надо казнить немедленно — иначе он рискует сойти с ума. Это прежде всего. А потом вернуться в нормальное состояние. Пусть Гейдрих беснуется. Он будет сидеть смирно, будет слушать и поддакивать ему во всём. Протектор погневается и перестанет.

Миладу ввели в кабинет. На ней было новое тёмное платье, реквизированное в каком-то магазине по распоряжению Рейнгардта.

Рейхскомиссар был приятно удивлён. Ничто так не освежает женщину, как новый туалет, в какой бы она ни побывала передраге.

— Шикарно!

Она промолчала.

— Траур Миладе к лицу,—продолжал он, потирая руки. Потом взял телефонную трубку и заказал завтрак на две персоны. Вскоре в кабинет вошёл вестовой с подносом, на котором были яйца, горячие булочки, кофе, сахар и сливки.—

Как видите, быть с нами выгоднее,—сказал Рейнгардт, показывая на поднос.

Он ловко расстелил на столе салфетку, намазал булочки маслом и разлил кофе по чашкам.

В другое время Милада отдала бы должное такому завтраку. Но общество Рейнгардта и мысль о второй части программы отравили своей горечью даже кофе, которое она только попробовала.

— Может быть, вы предпочитаете позавтракать после казни?—спросил он.—Какая чрезмерная чувствительность! Вспомните раздавленного Кратохвила. Наши люди работают чище.

Рейнгардт ел с жадностью, громко чавкая. Видя, что Милада не притрагивается к еде, он подвинул к себе её тарелку.—Сегодняшний день для меня весьма знаменателен,—начал он, жестикулируя надкушенной булочкой.—Сегодня мы уплатим за убийство Глазенапа по существующему курсу: двадцать чешских жизней за жизнь одного немецкого офицера. Ложь, пущенная вчера по радио, не меняет дела—факты остаются фактами.—Он сделал паузу, дожидаясь ответа. Милада молчала. Он повторил:—Против фактов не спорят.

Милада опустила глаза. Колени у неё дрожали. Она знала, что Рейнгардт не верит в убийство Глазенапа. А может быть, она ошибается? Может быть, он сам запутался в расставленной им сети? Может быть, это провокация?

Выступление Бреды по радио всё изменило. Теперь она может говорить о самоубийстве, не выдавая себя.

— Глазенап не был убит,—медленно сказала Милада,—и вы прекрасно это знаете. Ваше единственное основание для расправы над заложниками уничтожено.

Рейнгардт улыбнулся.— Это не совсем так. Вы забываете, что факты устанавливаем мы. Если я говорю, что Глазенап был убит, моё утверждение становится фактом... Это преимущество власти. Да и с какой стати...— его пронзительный взгляд заставил её поднять голову,— с какой стати ему надо было решаться на самоубийство? Может быть, вам что-нибудь известно по этому поводу?

Милада не ответила ему.

— Может быть, вам что-нибудь известно?— всё так же ласково спросил Рейнгардт.

Милада отвернулась к окну. С улицы доносился какой-то шум, приглушённые звуки взволнованных голосов.

— Мне ничего не известно,— прошептала она.— Разве только, что Глазенап всегда был кандидатом в самоубийцы, так же как и вы. Ведь непрерывные войны, грабежи, насилия хоть кого измотают.

— Вот как?— Вопрос прозвучал иронически, но в глубине души Рейнгардт удивился, что эта женщина, которая могла говорить только наобум, так уверенно коснулась его ран, его колебаний, помешавших ему распутать дело Глазенапа до конца. На смену удивлению пришла злоба, следом за злобой— ярость. Никто не должен подозревать всей глубины его растерянности,— и меньше всех эта женщина.

— Романтический вздор!— крикнул Рейнгардт.

Шум за окном становился всё громче и громче.

— Я покажу вам действительность.— Он знаком подождал её к окну.

Улица была забита толпой. Она стояла без знамён, без плакатов. У многих женщин в руках были сумки для провизии. Люди чего-то ждали, переговаривались между собой, жестикулировали.

Некоторые показывали на здание гестапо, во дворе которого должна была совершиться казнь.

Часовые в чёрных мундирах и стальных касках как ни в чём не бывало прохаживались взад и вперёд по тротуару. Появились чешские жандармы. Все их попытки разогнать толпу ни к чему не привели. Она просто поглотила их.

— Вот результаты вашей радиопередачи!— презрительно сказал Рейнгардт.— Неорганизованная толпа, сама не знающая, что ей нужно.

Он подошёл к телефону и отдал какое-то приказание.

Милада увидела, как к гестапо подъехал грузовик с солдатами. Капитан Патцер спрыгнул на мостовую. Унтер-офицер Голлеран повёл взвод к дверям. Толпа раздалась, уступая им дорогу.

И вдруг из-за угла, угрожая автоматами, размахивая резиновыми дубинками, выскочили эсэсовцы. Несколько человек упало. Толпа подалась назад, сминая ряды, громко крича.

Милада вспомнила Бреду, его силу, которой ей так нехватало сейчас.

Рейнгардт взял её за руку.— Пора итти,— сказал он,— нас ждут.

Ему пришлось поддерживать её на ходу, чтобы она не упала.

Парк при дворце Петчеков, где помещалось гестапо, не был приспособлен для гестаповских дел. Прежние его обитатели устраивали здесь летом роскошные приёмы, а в другие времена года парк служил местом прогулки для собак и стоянкой для автомобилей и карет. При новом режиме деревья в парке вырубili, и на образовавшемся широком плацу эсэсовские и воинские части проходили строевые занятия.

Из основного корпуса дворца вела на плац массивная дверь. Окна нижнего этажа против этой двери были наскоро заложены кирпичом, красневшим на серой облицовке фасада, словно кровь.

Сейчас эта дверь открылась. Первыми на плац вышли два эсэсовца в чёрных мундирах, за ними поодиночке появились пятеро заложников — каждый под конвоем.

Впереди, втянув голову в плечи, шёл доктор Валлерштейн. Он волочил ноги, отвыкнув ходить после долгого сиденья в камере, где через каждые два-три шага человек натывается на стену.

Валлерштейн посмотрел на ярко-синий безоблачный квадрат неба над плацем и повёл плечами, ёжась от утреннего холода.

За ним величественно выступал Прокош. Актёр вспомнил свои выходы в роли Отелло-победителя, сильного своей правотой человека, не ведающего о коварном замысле, жертвой которого ему суждено стать. Конвойные казались маленькими по сравнению с Прокошем. Величественностью осанки он старался побороть страх, холодной рукой сжимающий ему сердце. Прокош думал о Маре — о той Маре, которая подошла к царственному Эдипу и бросила свою жизнь к его ногам, словно плащ. Он поднял руку, благословляя небо, землю и жизнь, и испуганно вздрогнул, когда конвойный зарычал на него:— Это ещё что такое!

Лобковиц, который шёл за Прокошем, тоже думал о Маре. Он видел её такой, какой она была на вокзале перед его отъездом на фронт.

Эта Мара — смысл всей его жизни — принадлежала ему одному. Чёрные спины конвойных говорили о том, что этой жизни пришёл конец. И, как это ни странно, Лобковиц, был доволен

ею. Он испытывал чувство отрешенности и, словно гость после обильного пира, готов был сказать:— Благодарю вас. Больше мне ничего не надо.

Яношек с трудом передвигал ноги, стараясь подавить невольные стоны. Он то сердился на свою судьбу, то умолял её исполнить последнее его желание, ради которого ему пришлось вытерпеть такие муки... пусть это случится до того, как пуля прервёт его скромную жизнь. Ведь он никогда ничего не просил, не требовал никаких наград, никаких воздаяний.

Яношек держал здоровой рукой искалеченную правую, словно безмолвно умоляя о чём-то, его распухшие губы шевелились. Он наклонял голову набок, стараясь не пропустить ни единого звука, который мог донестись из внешнего мира до замкнутого квадрата двора. Осталось так мало времени. Грохот взрыва может не достичь его слуха.

Заложники почти поровнялись с застывшей линией взвода.

И вдруг Яношек чуть не рассмеялся. Он вспомнил одного шахтёра из Кладно, Франту Хорака, который как-то жаловался ему на свою горькую судьбину. Обидно, что сейчас уже никому не расскажешь, как Франта Хорак свалился пьяный в канаву и проспал в ней двое суток кряду. Как за это время на его шахте произошёл обвал. Как Хорак проснулся, побрёл домой, а дома пусто, на столе лежит записка: все ушли в церковь на заупокойную службу по нему, по Франту Хораку. Он бегом в церковь, послушать, что пастор будет о нём говорить, посмотреть, много ли свечей поставлено на упокой его души. Прибежал, а служба уже кончилась, все выходят на улицу. Вот не повезло

человеку! На собственные похороны, и то опоздал!

Яношек улыбнулся, забыв на секунду о лысом грузчике... раздобыл ли он адрес Вацлика, успела ли их группа передать динамит на баржи.

Застывшая линия взвода разомкнулась, пропуская пятерых заложников и конвойных.

Валлерштейн первый увидел кирпичную кладку, исцарапанную пулями. У стены стояла лужа свежей крови. Он остановился и закрыл глаза, пытаясь вычеркнуть из сознания это зрелище. Но оно не уходило. Вытравить его можно было только одним способом — убить мозг, в котором оно запечатлелось.

Прейсингеру, шедшему последним, потребовалось несколько секунд, чтобы понять значение этой стены и лужи крови у её подножия. Колени у него подогнулись... И вдруг он с силой оттолкнул конвойных и понёсся по двору, крича страшным, нечеловеческим голосом: — Нет, нет. Это ошибка! Я Лев Прейсингер!

В последовавшей за этим суматохе полную неподвижность сохранили только четверо заложников и стоявший навытяжку взвод. Они образовали букву Т: солдаты — её горизонтальную линию, заложники — вертикальную.

Эсэсовцы кинулись за Прейсингером, стараясь скорее перехватить его. Прейсингер метался из стороны в сторону, пробиваясь сквозь смыкающийся круг преследователей. Лицо у него было багровое, волосы стояли дыбом, он хрипел так, что было слышно по всему двору.

Это было и смешное и трагическое зрелище. Солдаты с горящими от возбуждения глазами охотились на огромного тучного зверя. Наконец один из конвойных поднял револьвер, прицелился и выстрелил Прейсингеру в колено. Тот упал

ничком и отчаянно забил руками и здоровой ногой, кусая и царапая землю. Чтобы поднять и удержать его, понадобилось четверо конвойных. Они отнесли его на место и поставили на колени лицом к стене, так как стоять он не мог.

Потом туда же подвели и остальных заложников. Яношек всё ещё наклонял голову набок и прислушивался. Он видел перед собой только мощный квадрат двора... В щели между плитами набилась пыль. Крохотный блестящий жучок торопился куда-то, а потом распустил крылышки и улетел.

Рейнгардт ввёл Миладу в скупо обставленную комнату, из окон которой открывался хороший вид на плац и серую стену с кирпичной кладкой. Единственным украшением этой комнаты, где, вероятно, работали младшие чины гестапо, служила аляповатая репродукция с портрета Гитлера в образе средневекового странствующего рыцаря в блестящих латах. В одной руке сей рыцарь держал сверкающий меч; ядовито-жёлтое солнце вставало у него за спиной, бросая отблески на его напыженную голову.

Рейнгардт со своей пленницей были здесь одни,— рабочий день гестаповцев ещё не начинался.

Как истый лакомка, который приберегает самую вкусную конфету к концу, Рейнгардт распорядился, чтобы группа Яношека была расстреляна последней.

Взвод делал своё дело с точностью механизма. Капитан Патцер трижды поднимал саблю и чётким, хорошо поставленным голосом командовал: „Смирно!“ — солдаты вытягивались. — „Цельсь!“ — Солдаты поднимали винтовки. — „Огонь!“

Звуки выстрелов трижды оглашали двор, отдаваясь эхом от стен дворца.

Заложники — партиями по пять человек — трижды падали наземь, и их тела оттаскивали от стены, волоча по пыли и грязи лицом вниз.

Наблюдая за всем этим, Рейнгардт молчал, как каменный. С папиросы, торчавшей у него в углу рта, изредка спадал пепел, и только это говорило о том, что он живой человек, а не статуя.

Милада, стоявшая рядом с ним, не могла отвести глаз от того, что происходило во дворе. Залпы словно сотрясали всё её тело; побелевшие губы казались мертвенными на бескровном лице; ее ногти впивались в ладони.

Когда последняя группа заложников во главе с Валлерштейном вышла на плац, Милада повернулась к рейхскомиссару и сказала беззвучным голосом: — Я больше не могу.

Рейнгардт продолжал молчать.

Она отошла от него и села на стул, стараясь остановить взгляд на чём-нибудь... на чём-нибудь другом, лишь бы не видеть этой страшной стены, похожей на тир с падающими фигурками мишеней.

— Идите сюда! — скомандовал Рейнгардт, не повышая голоса.

Она покачала головой.

— Я хочу показать вам Яношека, — сказал он. — На редкость упорный старик. Прошу вас полюбоваться, как его упорство будет сломлено раз и навсегда.

Милада не могла оставить без внимания это имя. Она услышала слова Бреды: *„Из всех, кого я знаю, самый бесстрашный человек — Яношек...“*

Чувство огромной усталости и грусти охватило

Миладу. Она встала, покоряясь выпавшей на её долю миссии — быть свидетельницей последних минут жизни и смерти бесстрашного Яношека.

— Иду, — сказала она и, с трудом передвигая словно налитые свинцом ноги, подошла к окну.

Как раз в эту минуту Прейсингер вырвался из рук конвойных. Сверху, из окна, его отчаянная попытка спастись казалась особенно трагической и бессмысленной.

Рейнгардт пришёл в восторг, глядя на прыжки и метания Прейсингера.

— Посмотрите! Нет, вы только посмотрите! — кричал он, водя пальцем за кидающейся из стороны в сторону жертвой. — Этот Прейсингер, милочка, один из самых могущественных людей в Чехии. Вы не верили мне, — вот вам яркая иллюстрация моих слов. Смотрите, как мы весело охотимся на них, ловим их и уничтожаем. Сегодня в Европе нет никого сильнее нас, завтра...

— Который Яношек? — перебила его Милада.

— Вон тот, — сказал он, — слегка изукрашенный.

Яношек следил за погоней. Милада могла разглядеть лишь общие контуры его обезображенного побоями лица. Она видела, как Яношек поддерживал левой рукой изуродованную правую, видела, что куртка у него вся в кровавых пятнах, что на месте глаза и рта у него чёрные вмятины.

Потом Прейсингера схватили и понесли. Яношек повернулся и, припадая на одну ногу, занял своё место у стены, где ему было суждено встретить смерть.

Нельзя плакать, уговаривала себя Милада, я не буду плакать. Надо увидеть всё до конца. Так мне велено судьбой. Это мой долг, в нём смысл моей жизни.

Рейнгардт бросил на пол папиросу и застег-

нулся на все пуговицы. Его лоб и нос покрылись капельками пота.

Капитан Патцер, весь красный от сознания важности возложенной на него миссии, стал на левом фланге взвода и отставил ногу, чтобы сохранить равновесие при взмахе саблей.

Клинок блеснул на солнце.— Смирно! Цельсь!— Двенадцать солдат, все как один, сделали шаг вперед.

И вдруг чей-то хриплый голос крикнул:— *Pravda vitezi!* Правда победит!

С такими словами несколько веков назад умер борец за свободу Чехии— Ян Гус.

— Огонь!— ответил на них Патцер.

— *Pravda vitezi!*

Залп.

С такими словами в октябре 1941 года умер Яношек, скромный сын своего народа.

Треск выстрелов пробудил могучее эхо. Где-то у реки раздался оглушительный грохот. Квадрат синего неба над плацем пересекли вспышки жёлтого пламени. Потом всё втянуло дымом. Взрыв следовал за взрывом, потрясая дворец до самого основания.

Среди офицеров, солдат и конвойных началась паника. Спотыкаясь, толкая друг друга, крича, они бросились ко дворцу, ища в нём защиты от разбушевавшихся стихий. Где-то вдали зенитки открыли огонь по невидимому врагу. Завыли сирены. Пожарные машины с грохотом помчались по улицам.

Лишь одни заложники остались недвижимы. Они лежали в разных позах. Лобковиц сжимал в руке комок земли. Валлерштейн покоился на боку, чуть раздвинув губы в улыбке. Руки Прокоша были сплетены отнюдь не эффектно. Прей-

сингер вытянулся на спине, и лица его не было видно из-за огромного живота.

Яношек лежал, всё так же наклонив голову набок, словно он и мёртвый прислушивался к тому грохоту с реки, который для него пришёл поздно.

Рейнгардт валялся в пустой комнате на полу. Он обхватил руками голову, пытаясь защитить самую драгоценную часть своего тела от бомб, града камней, словом, от всего того, что небеса низвергали на землю с единственной целью — погубить рейхскомиссара.

Милада стояла, замороженная зловещей красотой этой катастрофы. Она распахнула окно настежь и всей грудью вдыхала терпкий воздух. Она плакала и смеялась, смеялась и плакала. Её губы бормотали неясные слова. Кто-то сильный, более сильный, чем этот человек в чёрном мундире, валявшийся на полу, более сильный, чем все те, кого этот чёрный мундир представлял, сказал своё веское слово. И на её долю выпало счастье услышать переключку между дробным звуком выстрелов и громовым раскатом, раздавшимся у реки.

— Слушайте, вы! Рейхскомиссар! — она старалась перекрыть следовавшие один за другим взрывы. — Где же ваша сила? Где ваше величие? Заложники расстреляны. Но люди, которые убили их, попрятались по углам. Они боятся встречи с миллионами Яношек, недостижимых для вас. А ведь это только первый лёгкий толчок. Настанет время, когда земля разверзнется у вас под ногами, и вы исчезнете без следа.

Рейхскомиссар был слишком занят собой, чтобы вслушиваться в её слова.

Наконец взрывы прекратились, по коридорам забегали люди, затрещали телефоны, послышались громкие голоса. Рейхскомиссар неуклюже встал с пола и улыбнулся глупой, виноватой улыбкой. Он стряхнул пыль с брюк, поднял фуражку и спросил:

— Что вы сказали, милочка?

Ответа не последовало. Он ошалело посмотрел по сторонам. Милада скрылась.

Менкеберг гнал машину с необычной скоростью и, подъезжая к Карлову мосту, дал долгий гудок.

— Прекратить этот вой!— крикнул Рейнгардт.

— Нельзя,— грубо ответил Менкеберг.— Тогда не доберёмся до Градчан, набережная вся оцеплена.

Рейнгардт откинулся на спинку сиденья и зажал уши. Разве можно спокойно думать под такой вой? Всё словно сговорилось против него. Воспользовавшись суматохой, Милада просто-напросто ушла из здания гестапо. Он сейчас же дал распоряжение об аресте, с описанием её наружности, но надежд на поимку у него почти не было. Друзья, конечно, припрячут её.

Потом к нему поступили первые сведения о результатах взрыва,—пришлось отдать этому всё своё время и внимание.

Все три баржи с вооружением, стоявшие у причала, погибли. От охраны не осталось ни малейших следов, и ничего удивительного—наверно, разнесло на куски. Боеприпасы, ценностью в миллионы марок, уничтожены. Город злорадствует и ликует.

Рейхскомиссар прекрасно представлял себе, в каком настроении он застанет Гейдриха. И сказать ему тоже нечего, кроме того, что его люди

шарят по всему городу, что расследование преступления начато, но результатов никаких ещё не дало.

Подскакивая на булыжной мостовой, огромная машина въехала в Градчаны и остановилась у подъезда замка. Рейнгардт медленно вышел из неё, не обращая внимания на салюты часовых.

Широкая лестница, ведущая в кабинет протектора, казалась ему с каждой ступенькой всё круче и круче. Он остановился передохнуть и собраться с мыслями. Но голова у него была тяжёлая и работала плохо.

Его пришлось окликнуть несколько раз, прежде чем он расслышал своё имя. Навстречу ему по лестнице бежал адъютант.

— Рейхскомиссар Рейнгардт! — накинулся он на него. — Сколько прикажете вас ждать?

— Простите, — сказал Рейнгардт. — Этот взрыв... — Ему пришлось чуть не бежать за адъютантом. Потом дверь в кабинет Гейдриха распахнулась, и рейхскомиссара впустили к протектору.

Как и в тот раз, Гейдрих стоял у окна, но сегодня он сразу повернулся к Рейнгардту и сказал:

— У меня здесь лежат два документа, на одном из которых требуется ваша подпись, — это рапорт об отставке. Другой документ — приказ о вашем переводе в дивизию СС „Германия“, находящуюся сейчас на Восточном фронте. Подпишите вот здесь.

Гейдрих швырнул листок на стол. Рейнгардт боязливо взял его и прочёл следующее:

„Не справившись с порученной мне задачей по охране интересов Германии и фюрера в Праге...“

Руки у Рейнгардта похолодели. Листок вы-

скользнул у него из пальцев и, порхая, опустился на пол.

Гейдрих снова подошёл к окну. Он смотрел на Прагу и думал о деле Глазенапа, которое, как он подозревал, имело какое-то отношение к взрыву. Он думал о Гиммлере в Берлине и о самом фюрере, который в припадке бешенства может сделать с человеком всё что угодно. Надо найти козла отпущения. И протектор решил, что лучшим кандидатом на эту роль будет самовлюблённый карьерист Рейнгардт.

Переброска на фронт. Эта мысль сверлила рейхскомиссару мозг. Он не мог думать ни о чём другом. Всё остальное — заложники, Глазенап, Милада, диверсия на радио, взрыв — вылетело у него из головы. Сейчас важно было только одно: ему, Рейнгардту, человеку не первой молодости и не такому уж славному вояке, придётся оставить свой кабинет, придётся выйти навстречу этим чудовищам — танкам. Танки страшны. Они безошибочно выбирают цель и лезут на тебя всей своей тяжестью, выставив вперёд дула пулемётов, жерла пушек. Танки всюду, куда ни повернёшься...

— За что? — в отчаянии крикнул Рейнгардт. — Я служил верой и правдой. Я делал всё, что мог. Эти неудачи произошли не по моей вине. Ведь те, другие, тоже сильны... вы прекрасно это знаете, ваше превосходительство!

Гейдрих сказал, глядя в окно, — стоит ли поворачиваться лицом к поверженному рейхскомиссару: — Как? Вы сомневаетесь в правильности принятого мною решения?

— Нет, нет! — спохватился Рейнгардт. — Что вы! Но почему на фронт? Я не заслужил такого наказания.

Протектор вернулся к столу. — Придётся разъ-

яснить вам всю серьезность вашего провала,— сказал он, садясь в кресло.— Нам было важно как можно деликатнее разделаться с Прейсингером — ведь правда? Вы ухитрились сделать так, что некоторые элементы, воспользовавшись вашим попустительством, провозгласили по радио с правительственной станции, что дело Глазенапа, в котором был замешан Прейсингер, грубая фальшивка. Согласитесь сами, что должностное лицо, виновное во всём этом, должно понести суровое наказание.

Рейнгардт молчал.

— Значит, вы согласны со мной?— продолжал Гейдрих.— Но если я не накажу вас, то берлинские друзья господина Прейсингера взвалят всю ответственность на меня. Неужели же я стану рисковать своим положением для того, чтобы выгородить такого идиота, как вы?

На это Рейнгардт ничего не мог ответить.

— В довершение всего,— снова заговорил Гейдрих,— сегодня утром произошёл взрыв, в результате которого погибло ценное государственное имущество. На мой взгляд, между этой диверсией и делом Глазенапа существует какая-то связь. Но даже если я ошибаюсь, всё равно, за охрану барж отвечали вы. И вы не оправдали нашего доверия... Как видите, рейхскомиссар, выбора у меня нет.

— Но почему же на фронт?— отбивался Рейнгардт.

— Вы трус,— сказал Гейдрих,— но другого я от вас и не ждал. У меня есть все основания для такого перевода. Я не желаю иметь живых врагов. А в том, что отныне вы будете принадлежать к их числу, сомневаться не приходится.

Рейнгардт встал. С последними словами Гейд-

риха голова у него заработала с прежней чёткостью. Этот длинноносый человек и он — враги.

— Слушаю, ваше превосходительство! — Рейнгардт отвесил протектору поклон и поднял листок с пола. Потом взял ручку и прямыми крупными буквами расписался внизу страницы. — Разрешите сказать вам на прощание несколько слов?

— Я вас слушаю, — ответил Гейдрих, принимая от него бумагу.

— К моему несчастью, мне пришлось столкнуться с некоторыми людьми, не страдающими трусостью. У меня было всё — огромный полицейский аппарат, средства связи, вооружение, солдаты. У тех не было ничего, кроме упорства, готовности пожертвовать собой — пойти даже на смерть — и хитрости. Я имел возможность убедиться, что таких людей много, гораздо больше, чем мы предполагаем. Нам с ними не справиться.

— Я потерпел неудачу и не отрицаю этого. Меня ждёт страшная смерть. Но поверьте мне, ваше превосходительство, что такую же неудачу потерпит и мой преемник и вы сами, а конец ваш будет ещё страшнее.

— Довольно! — Гейдрих указал ему на дверь.

Рейхскомиссар Рейнгардт вытянулся во фронт. Серебряные пуговицы и нашивки у него на мундире казались потускневшими. Он поднял руку, но протектор рывкнул, не дав ему сказать даже „хайль Гитлер“:

— Вон отсюда!

Рейнгардт повернулся и бросился наутёк, обливаясь холодным потом.

Л. 53 г.

Редактор *Р. Гальперина*

Подп. к печ. 1/III-44 г. А2708

10¹/₂ печ. лист. 13,95 уч.-авт. л.

Тираж 15 000. Цена 8 руб.

6-я тип. треста „Полиграфкнига“
при СНК РСФСР
Москва, 1-й Самотечный, 17.

Л. 33 г.

56

8 руб.

